

P 2005
173K2

E 822



Ильяс Есенберлин

ПОДКА, ПЕРЕПЛЫВАЮЩАЯ ОКЕАН

ИЛЬЯС ЕСЕНБЕРЛИН



ЛОДКА, ПЕРЕПЛЫВАЮЩАЯ ОКЕАН

Роман

Авторизованный перевод с казахского Ю. О. Домбровского

АЛМАТЫ — 2001

821.161.1-3(524)

ББК 84 Каз. 7—44

Е 82 2

ЛОДКА

ПЕРЕПЛЫВАЮЩАЯ ОКЕАН

Есенберлин И.

Е 82 Лодка, переплывающая океан:

Роман/Авторизованный пер. с каз. Ю. Домбровского.— Алматы: ОФ «И. Есенберлина», 2001.— 280 с.

ISBN № 9965-01-605-4

Роман

Авторизованный перевод с казахского Ю. Домбровского

к/р

ББК 84 Каз. 7—44

57939

аб

КАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҰЛТТЫҚ АКАДЕМИЯЛЫҚ КІТАПХАНАСЫ
НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
КІТАПХАНА

Е 4702250201
00(05)-00

ISBN 9965-01-605-4

АЛМАТЫ — 2001

© Есенберлин И., 2001



Есть старая пословица что, выдающиеся люди рождаются для счастья своего народа или для его беды. Димаш Ахметович родился для счастья своего народа, он бесконечно дорог для каждого из нас. Особенно он дорог тем, кто часто оказывается на краю пропасти и чья жизнь висит на волоске. Его главными качествами являются

человеколюбие, справедливость, высокая нравственность, объективность, глубокое понимание сути дела. Удивительная мудрость всегда отличала его. Он своими делами заслужил искреннюю любовь народа, его чистое имя всегда останется в памяти благодарных потомков.

Ильяс Есенберлин.

Ильяс Есенберлин имеет особое место в казахской литературе, навсегда останется в памяти народа. Я издавна знал Илекена, как человека несуетливого и основательного во всем. Меня привлекала его врожденная скромность, простота и мягкость в общении. Я всегда восхищался внутренней культурой Илекена, чистотой его души.



Ильяс Есенберлин — это чистый, глубокий источник для своего народа, и его имя бессмертно, а слово писателя-творца никогда не померкнет.

Динмухамед Кунаев.

Уже долгое время ответственные товарищи из ЦК КПК преследуют меня, как писателя... Прошу Вас способствовать тому, чтобы был положен конец этой непрерывной травле, мешающей мне жить и работать.

(Из письма Кунаеву Д. А. от И. Есенберлина.
7 августа 1973 г.)

Писатель И. Есенберлин в течении пяти лет периодически обращался с жалобами. Автору неоднократно указывалось, что в романе «Лодка, переплывающая океан» искажена духовная жизнь и деятельность крупных государственных работников, представителей творческой интеллигенции. В силу своей некомпетентности И. Есенберлин принизил образ главного героя до уровня обывательских суждений.

(Из записки Отдела ЦК Коммунистической Партии Казахстана
27 декабря 1978 г.)

Когда я писал книгу «Лодка, переплывающая океан», я прежде всего хотел достоверно описать историю своего времени, жизнь людей. Я хотел чтобы мировоззрение такого государственного деятеля, как Динмухамед Кунаев, о его конкретных делах узнал народ. А если эти дела хорошие, то в чем дело? Ссылаясь на то, что прототипы моих литературных героев руководители государства и поэтому задерживать книгу — просто глупо. Суть моей книги заключается в описании жизни моих героев, не приукрашивая, а такими какие они есть на самом деле. Но что же из этого? Разве по таким признакам можно делать упреки? Другое дело, если бы я искажал факты из конъюнктурных соображений. Этого же нет в книге.

(Из дневника И. Есенберлина
7 июня 1980 г.)

ПРЕДИСЛОВИЕ

Есть произведения, которым уготована легкая литературная судьба, и писатель еще при жизни получает их оценки современниками. Про роман Ильяса Есенберлина «Лодка, переплывающая океан», этого сказать нельзя. Во многом автобиографичный, роман был написан на одном дыхании в конце 60-х годов, а дальше... Роман не издавался почти тридцать лет. Автору он стоил последних десяти лет жизни, полных непонимания со стороны цензуры, бесконечных переделок, исправлений, обид и унижений.

Владея энциклопедическими знаниями и пером, написав ряд исторических масштабных произведений, охватывающих целые эпохальные пласты своего народа, он с головой уходил в далекое прошлое, пропускал через сердце судьбы своих героев, вживался в их образы, сопереживая их жизнь. Это давало ему возможность осмысливать современность и, может быть поэтому так глубоко, ярко, прозорливо и человечно был написан этот последний роман, который, как у каждого родителя несчастливое дитя, становится любимым ребенком, так и у писателя произведение, которое принесло ему столько горечи, ожиданий и надежд, становится делом всей жизни. Он должен был во что бы то ни стало издать этот роман. Но разве пропустила бы цензура это произведение, бросившее вызов силам зла, ставшее реквиемом казахской интеллигенции, уничтожаемой с 30-х годов? Переплетая судьбу героя с современностью 60-70-х годов, И. Есенберлин смотрел на действительность через призму веков, осмысливая прошлое, без которого нет и настоящего.

Цензура писала: «Откуда у автора «черная информация», составляющая партийную и государственную тайну? Автор ставит вопрос: несет ли счастье народу освоение целины, строительство новых промышленных районов и дает искаженную картину современной истории Казахстана. Ставит вопрос о необходимости реабилитации алаш-ординских деятелей Магжана Жумабаева, Ахмета Байтурсынова». Вопросы, на которые тогда никто бы не осмелился ответить. В многочисленных письмах И. Есенберлин на замечания цензуры отвечал: «В моем романе написана правда. Только Правда!»

Десятки переработанных вариантов романа оставлены им.

В этом, 1994 году ассоциация писателей, кинематографистов и журналистов РК «Эдельвейс» наградила посмертно И. Есенберлина дипломом лауреата литературной премии имени Юрия Домбровского за лучшую неизданную книгу.

И сегодня мы, читатель, дарим тебе возможность самому оценить этот роман в его первоначальном варианте без цензурных исправлений и в переводе его единомышленника и друга Юрия Домбровского. Роман, который должен был увидеть свет в 1972 году.

Олжас СУЛЕЙМЕНОВ.

ПРОЛОГ

В Доме литераторов только что окончилось утреннее заседание Пленума Союза писателей, и все потянулись вниз, в ресторан, в многочисленные фойе и кафетерии. В конференц-зале помещалось семьсот человек, ресторан же едва вмещал двести, и поэтому все столики, и простые, и банкетные, и такие за которые сразу могла усесться большая компания, были заняты. Не хватало мест и в кафетериях. Толпились около стоек, сидели в баре на высоких стульях, пили пиво на террасе. Около же огромного белого самовара в бильярдной стояла целая очередь. Писатель Айбол запоздал и спустился в ресторан, когда свободных мест уже не осталось. Ему страшно хотелось пить — стояли невозможно жаркие августовские дни, но он не знал, как ему пробиться к стойке. Разве выйти на улицу к автоматам? А есть на этой улице автоматы? Он остановился, соображая, и тут вдруг услышал свою фамилию. Он обернулся. Очевидно, его окликали уже несколько раз, потому что проходящая с подносом молоденькая официантка сказала ему: «Вон, вон в том углу». Он посмотрел в тот угол. Около самой лестницы, ведущей на антресоли, привстав над столиком, ему улыбался и махал рукой критик журналист и работник издательства Петр Коротков. Это был невысокий, плотный, но уже начинающий полнеть человек с курчавыми короткими волосами и розовым гладким лицом. «Сюда, сюда! — кричал Коротков и показывал на пустое место рядом Я тебя давно жду, вот видишь, два места сохранил». Айбол подошел и поздоровался. «Еле-еле отстоял, видишь, что творится. И каждый говорит: мне бы только присесть! На пять минут!»

— Ох, хорошо, вздохнул Айбол, усаживаясь, — лимонад! А у меня горло пересохло.

— Вот бери чистый стакан и пей. Да, Ануар сегодня долго говорил. Долго и дельно. Даже из регламента вышел. Я аплодировал ему, он молодец!

— А я и прилетел сюда, чтобы послушать его, сказал Айбол, наливая второй стакан, — слушай, Петр, скажи, что это за зал, где мы сидим — какие-то крылатые драконы, змеи, рожи и все из мореного дуба, ручная работа. Что это такое? Похоже на немецкую готику, но какую-то уж очень странную. Что здесь раньше то было?

Петр пожал плечами.

— Говорит, масонские ложи. Помнишь, у Пастернака в «Спектрском»: «Когда-то дом был ложею масонской, лет сто назад он перешел в казну». Кажется, это про наше здание. Да, здесь были явно какие-то собрания, видишь, дубовая лестница наверх? А там ложи? Я тоже когда-то интересовался этим, но никто не знает. Вот придет Егор, спросим.

— Как Егор? — Айбол схватил Петра за руку. — Да что ты его видел? Он придет сюда?

— Утром я его видел. Зашел в ленинскую библиотеку, сел в зале перидики, сижу, читаю, вдруг кто-то меня трогает за плечо. Оглянулся — он! «Откуда ты, прелестное дитя?» — Да вот, прилетел на пленум». — «А Ай-

бол?» — «Он тоже со мной прилетел». — «Когда?» — «Часа в три». — Так слушай, поймай его и скажи, чтобы ждал меня в ресторане, я обязательно приду часа в четыре». Вот я тебя и ищу, поэтому и к началу запоздал.

— Ну спасибо, — Айбол с размаху налил себе еще полстакана, но пить не стал, только пригубил. — Очень он мне нужен.

— Ты заказывать что-нибудь собираешься? — спросил Петр. — А то сейчас подойдет официантка и надо будет сделать заказ. Иначе не дозовешься. Вон сколько народу!

— Да подождем уж Егора, — ответил Айбол рассеяно, думая о чем-то своем, — уже четыре доходит у меня, понимаешь, с ним разговор есть!

— Не секретный?

Айбол улыбнулся и пожал плечами.

— Да как сказать? Нет, сейчас уже не секретный. Видишь ли, обратного хода мне все равно нет, книгу-то я написал.

— Книгу? Здорово, — удивился Петр, — значит, ты все это время сидел, писал и молчал? И большая?

— Страниц четыреста. Написал, а потом сам же делал подстрочник. Так что наверное с год провозился.

— И молчал? Значит, ты хочешь, чтобы Егор тебя перевел? Айбол пожал плечами.

— Ну прежде всего я хотел бы, чтобы он прочитал. Я сказал ему об этом. Он, конечно, согласился. О дальнейшем мы пока не говорили да и как говорить, если у меня в руках еще ничего не было. Вот две недели назад кончил подстрочник, послал ему авиа. Он позвонил мне и сказал, что уезжает в Дом творчества и берет роман с собой, уж там будет читать.

— И прочитал?

— Да, наверное. В этом он человек слова. Но в Москве его не оказалось. Звонил в Дом творчества, его и там нет, ну ты знаешь, его всегда ведь ветер носит. Решил искать уж после пленума. И вот видишь, он сам нашел тебя.

Петр внимательно посмотрел на Айбола и помолчал.

— Я не помешаю вам? — спросил он осторожно.

— Да нет, конечно, — рассеяно махнул рукой Айбол. — Только вот не знаю, что он мне скажет. — Он молчал, поиграл вилкой. — Видишь ли, Петр, я написал странный роман, то есть не то что странный, а необычный для нас. Вот в чем вся заковырка.

— Опять исторический? — спросил Петр заинтересованно. Три предыдущих романа Айбола печатались в журналах, где Петр был заместителем редактора.

— Если хочешь, да. Даже сугубо исторический. Но история-то современная. Так что можно сказать, что я написал историю моего современника.

— То есть себя самого?

— В том-то и дело, что нет. Мой современник — большой партийный руководитель. Я его знаю лично. Люблю, понимаю, много с ним разговаривал — вот и написал.

— Здорово,— ошалело сказал Петр,— это что же, история его жизни? Айбол подумал.

— Ну не совсем. Биографией его я не занимаюсь. Когда родился, на ком женился, где учился — все это интересует меня только попутно. Я пишу о его работе. То есть то, что я видел и знаю.

Подошла официантка, выложила на стол блокнот и спросила: «Что будем заказывать?»

— Значит так,— сказал Айбол обдумывая что-то,— бутылку армянского коньяка с лимоном...

— Ты же не пьешь,— удивился Петр.

— Вы за меня выпьете,— улыбнулся Айбол,— на сегодня там,— он показал на потолок,— все уже кончено, а завтрашнее заседание только вечером, так что тебе это не повредит. А скажет он мне, наверное, вещи не-радостные. Так вот, чтобы смягчить этот удар, и я заказываю ему коньяк. Он ведь человек в этом отношении очень щепетильный. Бойтся причинить другим боль. Вот ему для смелости и резкости удара, а тебе для компании,— так.

— Да, вот так,— продолжал он, когда официантка отошла,— я написал роман. Мой герой в чем-то схож с мирабом. Знаете, кто такой мираб? Так вот, хороший мираб сразу видит, где какие заторы в арыках, и несколькими ударами кетменя очищает, освобождает воду и вот — струя снова журчит себе в нужном направлении. Так и мой герой. Нет-нет, я не возвышаю его, никакой исключительности, никакого монумента. Но вот что у него не отнимешь: это то, что он чуточку зорче других и раньше других, хоть на день, хоть на час, но раньше замечает задержки в нашем движении — разве это возвышение, возвеличивание? Я просто рассказываю о нем, о его делах, а уж читатель сам разберется. Какой он. Я назвал его условным именем — Акылбеком Ахметжановым. Но от правды я нигде не отхожу, хотя смотрю на все глазами писателя, то есть под некоторым условным углом зрения, а иногда кое-что и обобщаю. Вторым лицом является его собеседник-писатель, судьба которого отчасти сходна с моей. Ведь кроме самого героя в романе должен еще быть, так сказать, и воспринимающий его субъект. Так вот я таким выбрал писателя, через судьбу которого я показываю становление казахской литературы в наше время и участие в нем и моего главного героя.— Айбол посмотрел на Петра и засмеялся. А писатель этот не я, но есть в нем, конечно, кое-что и от меня, и от тебя, и от Егора. Да и образ Акылбека собирательный, можно сказать, что это тип нового партийного руководителя, но события, в которых участвует мой герой, подлинные. Понимаешь? Ну ничего не понимаешь, конечно, я говорю сумбурно.

— Да нет, понимаю, понимаю,— загадочно улыбнулся критик.— Значит, ты так примерно все и изложил Егору. Ну что же он тебе ответил.— Сказал, как обычно: «Ура, старик! Присылай скорей подстрочник! Я горю желанием сесть сразу же за перевод», так?

— О, если бы так, — вздохнул Айбол, — к сожалению нет. Он сказал: в том, что ты мне рассказываешь сейчас есть две трудности — первая, у нас в стране не пишут романы о ныне здравствующих и работающих политических деятелях. Правда: деятели эти иногда сами пишут и публикуют свои мемуары, но опять-таки мемуары, и только много лет спустя. Это не Запад, там такие книги рвут из рук. А мы люди скромные и скупые на рассказ о себе. А сейчас, после культа, эта тема и совсем стала неудобной. Так что... хватит ли у тебя сил преодолеть все эти барьеры инерции, традиции, суеверия, лицемерия, ложной стыдливости и просто страха? И, во-вторых, раз это художественное произведение, что-то вроде романа, то тебе не обойтись без рассказа о личной жизни своего героя. А это невозможно по многим причинам. Так значит, что же у тебя получится? Что-то вроде биографии из серии «Жизнь замечательных людей»? Может, ты и написал это? Тогда другое дело. Но человек-то жив и работает. Так какая же сейчас биография?

— И что ты ему на это ответил? — спросил Петр.

— Я сказал, что нет, это точно роман. Вот прошу, чтобы он прочитал подстрочник. Он, конечно: согласился. Я послал и вот..:

— И вот я тут. И даже довольно давно, — послышался голос сзади.

Оба обернулись. Высокий черноволосый человек стоял сзади у деревянной колонны с драконом и смотрел на них.

— Егор? — кинулся к нему Айбол.

Черноволосый поднял обе руки.

— Сдаюсь, — сказал он громко, — прочитал твой подстрочник и снимаю оба своих недоумения. Я буду переводить твой роман. Даже так: сажусь за него с завтрашнего дня, потому что сегодня я вижу... — он кивнул на бутылку коньяка.

— Друг ты мой дорогой! — бросился к нему Айбол, — как же я тебе благодарен! Я ведь так боялся, что ты убьешь меня сходу! Ты ведь первый, кому я показал свою рукопись.

Черноволосый пододвинул стул, он достал его по дороге и стоял, держа его за спинку.

— Стой, поднимаю тост за твой роман, — сказал черноволосый и сел за стол. — Здоров. Петр! Что ж, как говорил Пушкин, «наполним бокалы и сдвинем их разом! Да здравствуют музы, да здравствует разум!» Петр, налей Айболу лимонада, пусть он чокнется тоже.

Они встали.

— За твою рукопись, Айбол. Все будет хорошо, друзья! Ведь эти пушкинские строчки кончаются так: «Ты, солнце святое, гори!» Заглянет и на нашу улицу солнце, друзья! Обязательно даже заглянет — вот увидите! Надо только не трусить и работать, и не очень думать обо всем остальном. Тогда и все остальное придет. Это так! Ну, за твоего героя, Айбол!

Итак, мы начинаем рассказ с того дня, как его будит внезапно телефонный звонок...

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Телефон звонил долго, настойчиво, но когда, наконец, Айбол поднял трубку (он как пришел в шесть часов из Госкомитета по кинематографии с просмотра казахского художественного фильма, так сразу и завалился на гостиничный диван), на том конце провода никого не оказалось. Стоял только какой-то невнятный шум, да далеко переговаривались отдельные голоса. «Значит, и в Москве ошибаются,— подумал он, подходя к зеркалу и приглаживая гребенкой густые, черные, но уже седеющие волосы, впрочем, хорошо, что разбудили! Надо сейчас же заказать разговор с Алма-Атой. Я же обещал Дамиле звонить каждый день. Черт! Опять не купил талон! Хотя тут это, кажется, делается без талонов. А Раушанка? Позор! Так запыхался, что забыл даже список, а как раз в вестибюле торговал киоск и что-то там было интересное — стояла очередь. Эх, старость не радость!». Ему еще не было и пятидесяти двух, но он считал себя стариком. «В мои годы люди уже кончают, а я...» — он был серьезно недоволен собой.

За окном стояли мягкие зимние сумерки. Он поглядел на часы. «Восемь часов! Книжные магазины закрываются здесь в семь! Опоздал! Но все равно позвонить надо... Как это тут делается? «Но только он подошел к телефону, как зазвонил снова. Молодой женский упругий голос попросил позвать писателя Айбола. Ах, это он и есть! Хорошо, пусть не опускает трубку, сейчас с ним будут говорить, секундочку! — и сейчас же он услышал хриплый одышливый голос.

— Здравствуйте, Айбол,— сказал этот голос по-казахски, и Айбол,— по-казахски же ответил:

— Здравствуйте. С кем имею?...

— Не узнаете? — горько усмехнулась трубка.— Да, узнать меня, конечно, трудно. Я уже звонил вам, да трубка вот свалилась...

Неизвестный почему-то явно не спешил назвать свою фамилию. И голос был, пожалуй, знакомый.

— Так я вас слушаю,— сказал Айбол по-русски.

— Одну минуточку,— очевидно, на том конце провода перевели дыхание.— Амиржан говорит. Амиржан Азирбаев.

— Амиржан? — теперь трубка чуть не вывалилась уж из рук Айбола,— а я ведь сам хотел зайти к вам, да вот...

— Все дела? — снова усмехнулась трубка.— Да, дела, дела! Так, вот зайти. Адрес знаешь? Так зайти, зайти. Когда можешь? Утром не можешь? Да, дела, дела. Ну а часа в четыре можешь? Ну вот в четыре и зайти. Буду ждать.

Айбол отошел от телефона с каким-то смутным чувством, как будто он узнал о катастрофе, внезапно свалившейся на голову знакомого, хотя и не очень близкого человека. Амиржана Азирбаева он знал хорошо. Это

был один из ведущих энергетиков Казахстана. Начал он с поста не такого уж значительного, был рядовым инженером теплоэлектростанции, а под конец стал первым заместителем министра СССР. Их было немало в то время, вот таких молодых и энергичных работников. Но он и его товарищ, горный инженер Акылбек Ахмеджанов выделялись среди них. Конечно же, в военные годы и от этих молодых людей во многом зависели энергетика и отдельные отрасли промышленности Казахстана. Все спорилось у них, а уж они были требовательны к себе и к другим, и не было для этих людей преступленья хуже, чем лень, разгильдяйство или нечеткость в работе. Зато всякий работающий мог смело рассчитывать на их помощь. Если что действительно надо — смело стучись в кабинет, там всегда светло, звонят телефоны, бегают и что-то записывают секретарши — тебя выслушают и помогут. В то время оба они — Акылбек и Амиржан — работали в одном здании, хотя занимали разные должности. Они понимали друг друга с полуслова. И если один говорил по телефону другому «не заскочишь ли ко мне?» или: «ты на месте? Так я сейчас зайду к тебе», то другой уже угадывал в чем дело. Оба они были рослые, сильные, красивые, но особенно красив был Амиржан. Он был весь какой-то стальной, голубовато-холодного отлива, начиная от седеющей закинутой назад гривы и блеска карих больших глаз. Таким его помнил Айбол в военные и первые послевоенные годы. А потом с ним что-то приключилось непонятное. Не то он поверил в чем-то очень важном тому, кому вообще не следовало верить, а тот его подвел, не то он что-то завалил — в общем, его сначала сильно проработали на активе города, и понизили в должности, а затем он как-то совсем исчез с горизонта. И вынырнул в Москве. Работал там и иногда в печати появлялись его статьи, посвященные энергетике Казахстана. Хорошие, дельные, прекрасно аргументированные, хотя и суховатые статьи — цифры, места и даты. (Айбол сам был горным инженером, работал в печати и уважал этот деловой, конкретный, без всяких выкрутасов и украшательств язык). Статьи статьями, но кажется, карьера у Амиржана складывалась не больно удачно. Таково было ощущение у писателя Айбола. А впрочем, он очень-то над этим не задумывался. Ведь друзья они все-таки никогда не были, а в последнее время у Айбола у самого голова шла кругом. И если бы не жена — грустная, чуткая романтическая Дамиля — он бы, пожалуй, вообще потерял голову.

Итак, с Амиржаном что-то случилось неладное, голос у него был больной, прерывающийся.

Когда Айбол уже собирался спать, зашел товарищ из посредства республики, и Айбол рассказал ему о звонке.

— Да, состояние у него, должно быть, неважное, — сказал товарищ. — Преступного за ним ничего, конечно, нет, но допустил, допустил! Там после его ухода обнаружили большие неполадки, перебор, что-то он подписал

не тому, кому нужно, ну то да се. Прокуратура теперь работает. Нехорошо вышло.

— Но ведь сам-то он ни причем.— сказал Айбол.

— Он притом, что допустил,— вздохнул товарищ.— Конечно, никакой уголовщины там нет, это само собой, но морально, но партийно?...

И сразу же заговорил о другом. Он был искусствовед и все эти дела его не больно трогали. Так что стучась в дверь Амиржана Айбол не ждал ничего хорошего.

Но то, что он увидел, по-настоящему напугало его. Перед ним на кровати, опираясь на подушку сидел человек в пижаме, с желтым морщинистым лицом, костлявыми непомерно большими кистями рук, свешивающимися вдоль кресла, и с совершенно белыми волосами. Никто бы не узнал в этом немощном старце прежнего красавца Амиржана. Сбоку стоял столик с какими-то пузырьками. Увидев больного, Айбол забыл все — и свое малое знакомство с ним, и темные слухи, ходящие вокруг его имени, и свои собственные беды и неурядицы, и просто ринулся к нему. Он хотел обнять его, спросить, да что же такое с ним случилось, но больной выставил вперед желтую ладонь, и он остановился.

— Нет, нельзя! — сказал он.— Врачи запрещают. Шайтан его знает, может он и заразный, рак-то... Слышал? Говорят, он вирусный. Ладно, мне сейчас все равно. Вот выпросился из больницы сюда умирать. Жена должна скоро прилететь из Алма-Аты. А меня самого вызвали вчера туда... Вот посмотри-ка штуку на столе...

Они как-то само собой перешли на ты. На столе, придавленная пузатым пузырьком с желтыми пиллюлями, лежала бумажка.

«Вы вызываетесь в г. Алма-Ату для допроса в качестве обвиняемого к следователю по важнейшим делам республиканской прокуратуры юристу 2 класса (стояла фамилия), на 10 часов утра (стояла дата), по адресу (стоял адрес).

Следователь по важнейшим делам республиканской прокуратуры — (росчерк). Последствия неявки. В случае неявки без уважительных причин обвиняемый на основании ст. 147 УПК РСФСР может быть подвергнут приводу».

Бумажка, конечно, была страшноватая. Страшноватая по своему бездушию и по своей официальной застегнутости на все металлические пуговицы безукоризненного прокурорского мундира Статья УПК Казахской ССР была перечеркнута и стояла статья РСФСР — 147.

— Это рукой Курбатова, прокурора республики перечеркнуто,— сказал Азирбаев,— неудобно казахстанскую-то, я ведь все-таки в Москве! Подлец! Сколько раз я с ним в преферанс играл. Он мне до сих пор сотню не отдал.

— А почему ты думаешь, что это он? — осторожно спросил Айбол.

— А кто же еще? Разве юрист второго ранга до этого сам додумается? А потом вместе с ним и другая бумажка пришла. Постой, постой, где же они ее положили? А, вот она, на подоконнике. Как они мне ее зачитали, так значит и... Прочти-ка.

На бланке прокуратуры республики было начертано четким мелким шрифтом, что Амиржан Азирбаев привлекается к уголовной ответственности по делу о преступном планировании в области градостроительства и растранировании фондируемых материалов (статьи опять-таки не было) и поэтому вызывается для допроса и дачи показаний. В случае невыезда будут применены соответствующие меры принуждения. Вызов согласован с соответствующим ответственным лицом.

— С Ахмеджановым? — спросил Айбол ошалело.

— Нет, наверно, повыше...

— А Акылбек знает, что с тобой?

— Большой махнул рукой.

— Знает. Все знает. Вот мне обидно, что все знает и не может помочь, — он сделал было резкое движение, но сейчас же поморщился от боли и отодвинулся на спинку кресла. А Айбол смотрел на него с глубоким страданием. В ушах его стояло только, что сказанное Амиржаном: «Все он знает и не может помочь». Вдруг Айбола охватило какое-то сомнение, правда, смутное, но больное...

— Да, обидно, очень обидно, — убито согласился Айбол, — разреши, я позвоню прокурору, объясню...

— Кому? Вот этому самому Курбатову? А что ему звонить, прохвосту! Он отлично все знает. И что я не доглядел, тоже знает. Но, видишь ли, ему нужна масштабность. Фамилия ему нужна! Что там какие-то прорабы и бригадиры?.. Нет, я вот самого Амиржана Азирбаева на скамью подсудимых усажу! Вот как! Я такую речь закачу! Ну как же — реклама! Высокая бдительность! В газетах его речь, а возможно и портреты. Ладно, мне на него сейчас наплевать. Вот что он от меня получит! — большой вдруг очень ловко сделал шиш и рассмеялся. — Вот! Теперь он для меня ничто! У меня сейчас другой хозяин — смерть! С ней-то не больно поспоришь! Но друзья, друзья! Ведь они же знают, на краю чего я стою! А не малые посты занимают. Как же ни один из них не сказал этому подлецу: стой! Не смей! — Ведь тот же бы сразу поджал хвост, так нет, смолчали! А они знают, что такое для меня их слово. Знают, что они своими руками подталкивают меня в яму. Особенно мне обидно... есть там мой один друг... Нет, нет, не Акылбек, есть другой. — большой оживился, и у него даже глаза заблестели по-прежнему. — с которым тоже всем делился, с которым бок о бок проработал тоже немало лет! Вот ведь что обидно! — он замолчал, и Айбол увидел, как по его щекам поползли слезы. Писатель не переносил даже детских слез, а тут плакал сильный, постоянно сдержанный, холодно-

тый мужчина. Он опять ринулся было к нему, но опять больной тем же движением руки остановил его. Потом вынул из кармана пиджама платок и тщательно вытер щеки.

— А он знает, в каком ты состоянии? — спросил Айбол, — может...

— Да! Может. — Глаза больного зло блеснули. — Да ничего тут не может! Просто он... А-а и говорить-то не хочется! — И он закрыл глаза, показывая, что разговор исчерпан.

«Да не ладно, не ладно, только не пойму, что произошло-то. Неужели все его друзья бессильны? А Акылбек?» Айбол, конечно не знал, а в действительности дело обстояло так: за некоторое время до этого разговора, в кабинете Черняева — Первого в то время человека по должности в Казахстане собрались трое: хозяин кабинета — человек деятельный, энергичный, на всякие решения и расправы быстрый, главный прокурор и Акылбек Ахметжанов. Его-то Черняев вызвал не по прямой нужде, а просто потому, что накануне тот же прокурор принес ему темный юркий слушок: Азирбаев и Ахметжанов два сапога пара, одновременно учились в Москве, вместе кончили институт и вместе вернулись в Казахстан, так понятно отчего у Азирбаева — когда его назначили (и опять таки кто назначил-то?) председателем Госкомитета так разошлись руки, и отчего он на все плевал. Дружок мол, не подведет, дружок не даст в обиду, а в случае чего и выручит. Вот и получилось... — и тут прокурор пожимал плечами и улыбался.

Все это, конечно, было совсем не так. Что творилось в Госкомитете от Акылбека Ахметжановича так же было скрыто, как и ото всех остальных. А Ахметжанов Азирбаева ни в коем случае не оправдывал. Наоборот, для него не было сомнения, что он виноват, там не доглядел, там подмахнул бумагу не глядя, поверив на слово людям, которым верить никак не стоило, а жулики его доверием воспользовались очень широко. Как оказалось потом, в Госкомитете во время его руководства «работала» шайка мошенников. Они торговали строго лимитированными товарами, гребли деньги чуть не лопатами и делили барыши. Транжирили лес, кровельное железо и многие другие дефицитные материалы. Взятки брались и деньгами, и подарками. Такой подарок и очень дорогой (машину) в день своего юбилея принял от подчиненных и председатель Госкомитета. Ну, конечно, этого никак не следовало делать, но все-таки от простой бестактности, — а Азирбаев ее, конечно, допустил — до преступления дистанция огромного размера! Так Акылбек прямо и сказал прокурору, когда тот кончил свой доклад и положил на стол обвинительное заключение. Прокурор покосился на Черняева. А Черняев сидел и не сводил глаз с Ахметжанова. И тогда прокурор ответил Акылбеку сам:

— Так что же вы думаете, мы нарочно создаем обвинительные материалы, и проступки превращаем в преступления? Но вот «Победа» Азирбаева за номером... (прокурор достал из кармана блокнот) стоит сейчас в

Москве в гараже поспредства, а это его собственная машина, подаренная ему ворами и купленная на деньги, украденные у государства. Что Азирбаев не знал, что люди, получающие в месяц сто-сто восемьдесят рублей, просто не могут делать такие подарки? По-моему знал — и отлично! Вы с этим не согласны?

— Да, вы с этим не согласны? — поддакнул Черняев.

— Ну, положим, соглашусь, — ответил Ахметжанов, — что Азирбаев поступил легкомысленно. Но ведь нельзя забывать обстановку. Подарок был преподнесен официально, под аплодисменты зала. Все об этом знали. Так взятки не даются. Их суют из рук в руки в темном углу. Да и государственная стоимость этой машины по тем временам не так велика. Могли же коллективно сложиться. Так поступали казахи по традиции испокон веков, когда средств одного не хватало. Мог и Амиржан об этом вспомнить. Во всяком случае, делать из одной ошибки столь далеко идущие выводы я бы не стал.

— Ну почему одной? — добродушно усмехнулся прокурор, — поищем, покопаемся с ним еще, потолкуем, авось найдем что-нибудь еще.

— А вдруг не найдете? Откуда у вас такая непоколебимая железная уверенность, что вы имеете дело с преступником? Вот уж у меня ее нет совсем. Одна ошибка не обязательно влечет драгую.

— Товарищ Ахметжанов, — нахмурился Черняев, — называйте же, пожалуйста, вещи своими именами, речь идет не об ошибке, а о преступлении. За ошибки выговаривают, за преступления карают. На Азирбаева имеются показания всех арестованных.

— Всех? Ну тем более нужна крайняя осторожность, — повернулся к нему Акылбек, — и прокурор знает, что в таких случаях сидящие за решеткой стараются оговорить как можно больше людей на воле, и чем выше стоит человек, тем больше они на него льют грязи.

— А мы, выходит, такие уж простачки — дурачки, ничего не понимаем и всем, что скажут, верим? — прокурор изобразил на своем лице крайнюю степень негодования. Ну, знаете, товарищ Ахметжанов.

«Шайтан тебе товарищ, скотина», — быстро подумал Акылбек и сказал:

— Я знаю только одно. Но зато уж твердо. Человек, который всю жизнь прожил и проработал честно, не залезет ни с того, ни с сего в грязь. Просто незачем ему это. Он и так получал достаточно.

И тут прокурор вдруг слабенько улыбнулся и даже слегка помусолил пальцами, так делают, когда считают купюры.

— А раз большие приходы, так и большие расходы, — пропел он, — денежка к денежке всегда льнет. Они такие нехорошие денежки-то. Их сколько ни дай, а все будет мало! Вот ведь как!

«Ну и шут гороховый!» — подумал Акылбек и ему стало горячо от злости.

— Это так у жуликов, — сказал он спокойно.

— Да мы ведь и говорим о жулике,— крикнул из-за стола Черняев,— и нечего тут...

Акылбек повернулся к нему.

— В вас говорят узко личные мотивы,— сказал он спокойно и уж прямо в лоб (Азирбаев раньше неоднократно и очень дельно выступал против Черняева, и поэтому первый, кто ему подставил ножку, был именно Черняев). Одним словом, я никак не верю в преступность Азирбаева.

— А ведь это в вас, товарищ Ахметжанов, говорят чисто родственные чувства,— зло улыбнулся Черняев,— ну, конечно, вы однокашники, единокровцы...

Ахметжанова заколотило.

— Я был бы очень благодарен,— сказал он тихо, если бы вы предельно уточнили мне, что вы под этими словами «однокашник», «единокровец» понимаете?

Он знал, что Черняев хотел, но не посмел высказать яснее. Страшное это слово произнесено не было. Оно било наповал, а Черняев на такой удар пока не решался.

— Надо будет — уточню,— сказал он с явной угрозой, но уже спадая с тона,— но не тут, а там, где сочту это нужным. Ну, а вы,— он поднял глаза на прокурора,— действуйте. Действуйте, как считаете нужным! Нужно вызывать — вызывайте! Нужно привлечь — привлекайте! Все это в ваших руках. Вы прокурор, значит должны выполнять советские законы.

Прокурор поклонился, собрал бумаги и вышел...

Ничего этого Айбол не знал, поэтому он продолжал думать об Акылбеке, но Азирбаев перебил его мысли...

— Мой заместитель уже звонил моему другому товарищу,— устало сказал больной,— но он не взял трубку. Говорят, его нет. А где же он? Ему отсюда телеграфировали, опять не ответил. Ну, хоть бы отбил: иди к черту, я знать тебя не хочу! А то ничего, ничего! Вот что мне всего обиднее. Ни-че-го!

— Так боится? — вырвалось у Айбола.

Больной усмехнулся.

— А что ему бояться? Моя вина — мой ответ. А если никакой вины нет, тогда что? А он знает, что точно нет. Да ладно, скучно все это...

Вдруг Айболу очень захотелось узнать кто он, этот товарищ Амиржана:

Больной словно почувствовал его вопрос:

— Не стоит знать...— покачал головой,— не хочу произносить его имя. Обидно!

Вошла медсестра с каким-то подносом, горячей спиртовкой, шприцами и прекратила свидание.

— А через десять дней Амиржан умер. И эта смерть легла таким грузом на душу писателя Айбола, что узнав о ней, он почувствовал себя настоящим больным. По телефону он отказался от билета на оперу, кото-

рую давно мечтал послушать, и весь день сидел в номере и думал. И думал не об умершем, а о его друге, который даже не ответил на телеграмму умирающего. Как это могло быть? — думал он и не находил ответа.

А собственно говоря, ответ может быть был, и даже очень простой. И в конце концов самый правильный. Этот ответ сразу же приходил в голову. «Своя рубашка ближе к телу», или еще короче и понятнее — ну, а кто ему Амиржан: сват, брат? Было время, когда и от родных братьев отказывались, а тут...виноват, не виноват, а прошляпил ведь...

Все это было так, и все-таки ни разум, ни сердце Айбола не мирились с таким все объясняющим коротким и разумным ответом. Нет, тут было что-то не так. Тут было что-то сложнее. Айбол хорошо знал Акылбека. Тому некого и нечего было бояться, и он действительно никого не боялся. Но тогда что же?

Начал Акылбек рано, и сразу как-то очень хорошо пошел. Какую бы он должность не занимал, работал с азартом, энергично, как тогда выражались, с огоньком, и его сразу же заметили. И был он еще человечен, терпим, знал свое хозяйство назубок, много читал, внес какие-то рацпредложения.— о нем написала областная газета, перепечатала республиканская — и сразу заметили его. Быстрый рост способных молодых людей в то время было закономерным явлением. Всего прошло 20-25 лет, как пришла в степь Советская власть. Время и бурный подъем народного хозяйства диктовали свой темп и на передний край выдвигались способные, энергичные работники. Так поднялся и Ахметжанов. Именно тогда у него появились первые завистники. «Ну что ж,— говорили они с кривой усмешечкой.— Ну повезло! Ну просто повезло — и все! Знаете, казахи говорят: чем желаний с гору, лучше с палец счастья! И какое ему счастье выпало! Сколько места освободилось! А ведь работать-то кому-то надо! Тут уж любого возьмешь!». Что ж, может быть, и так (стояло жаркое и душное лето 1938 года), но взяли-то ведь все-таки не любого, а именно Акылбека. Удачник? Да, конечно, удачник, но кое-кому и удачи ни к чему,— так думал Айбол и был, конечно, прав. Правда, все это на первый взгляд, достается ему просто, без надсады, даже как-будто само собой, хотя кто-кто, а Айбол понимал, сколько сил, ума, таланта и бессонных ночей все это стоило. Но росла республика, рос с ней вместе и Ахметжанов. Айбол помнит свой разговор на этот счет с одним пожилым инженером, который почему-то сразу невзлюбил этого, как он говорил, молодого выскочку. «Милый друг,— говорил инженер, взяв писателя за пуговицу и глядя ему в лицо умными насмешливыми глазами,— милый друг Айбол! Наше сегодняшнее хозяйство — это образцово отрегулированный, четко работающий механизм. Понятно тебе это? Ты любого посади на место руководителя, и любой справится. Если, конечно, он не пьяница, не самодур, и не полный олух. А Ахметжанов, я согласен, очень грамотный инженер. Очень

грамотный! Очень умный и много читающий! Но это и все! И все, дорогой мой! Посади вместо него меня, тебя, любого из нас, и дело пойдет точно так же! И дома будут строиться не хуже, и балерины будут танцевать так же, и певцы петь теми же самыми голосами. Тем же самым — я тебя уверяю! Потому что время великих инженеров — таких гениальных одиночек и покорителей природы отошло. И не вернется. Не человек работает, а система. Система держит, система двигает, система не даст упасть. Доходит до тебя это? Нет незаменимых людей, дорогой! Уже нет!»

Инженер горячился, махал руками, говорил громче, чем нужно (они стояли в фойе театра во время антракта), и спорить Айбол не стал. Тем более, что в принципе он был согласен с любым его утверждением. Но отойдя подумал и другое — ну да, конечно, время гениальных одиночек отошло, и поэтому незаменимых нет, и Ахметжанов тоже не гений. Но он тот человек, куда бы его не передвинули или назначили — оказывающийся всегда на месте. Вот он строит дома, города, огромные промышленные объекты и другие, верно, тоже строят, — но что поделывать? Города, стройкой которых руководит инженер золотопромышленник Ахметжанов, оказываются построены удобнее, практичнее и даже выглядят красивее, чем стройки, курированные другими руководителями.

Ахметжанов стоит над картой и говорит:

— Нет, Дом культуры вы, по-моему, зря загнали в этот угол, его место вот тут, в центре. А вот мясопромышленный комбинат я отнес бы вот примерно... — он еще смотрит, ищет, поводит палочкой и, наконец, решает: — вот сюда, смотрите, тут — и железная дорога близко, и жилищные массивы далеко, а подсобные хозяйства — вот они, рядом.

И строители тоже смотрят и соглашаются: да, так действительно будет лучше. И потом жизнь доказывает, что так оно и есть. Конечно, знания его в этих разнообразных областях непрофессиональные — агрономы, архитекторы, строители — в специальных вопросах разбираются лучше его. Но он схватывает главное — рассматривает проблему в целостности во всех его аспектах и многочисленных взаимодействиях, то есть мыслит по государственному, а это дано далеко, далеко не каждому. Говорят, не кресло красит человека, а человек кресло, и это, конечно, стопроцентная истина. Навряд ли кто может больше украсить кресло Акылбека Ахметжанова, чем он сам. И эта истина была для Айбола тоже стопроцентной. И потом характер! Характер руководителя! Ведь тоже не мелочь. «Или это мелочь, которая может оказаться решающей». Айбол всегда помнил эти слова Ленина. Акылбек был тверд и мягок одновременно, а это удается не многим!

«Он как варежка: мнешь ее — она мнется, а отойдешь, поглядишь — она все та же». Так говорили о нем товарищи, кто по доброму, а кто с усмешечкой. И это тоже была правда. Он был незлобив, кроток, и легко

сносил шуточки, поддразнивания, покальвания, а зачастую даже оскорбления (ведь все случается во время споров!). Но уж если был уверен в чем-то, то стоял на этом железно, непоколебимо, и так естественно, что люди чувствовали: иначе он действительно не может.

Короче говоря, это был человек большой доброй души, такта и обаяния. Это был настоящий коммунист. Так по крайней мере представлял себе настоящих коммунистов писатель Айбол.

И вдруг Айбол подумал о человеке, о котором говорил умирающий Амиржан! И такое грубое несправедливое, почти варварское! Отказаться говорить с умирающим! Велеть сказать, что его нет! Не ответить на телеграмму. Не вмешиваться, когда вызывают на суд полумертвеца! Заведомо зная к тому же, что тот по комнате пройти не может. И все это ради карьериста, подонка, который (тут писатель был вполне согласен с умирающим) и доброго слова не стоит! А вот Акылбек не допустил бы такого! Не допустил бы! Но...ведь он тоже находился в Алма-Ате?..

Айболу приходилось также иметь дело с прокурором Курбатовым и он хорошо знал, что это за птица. Не мог не знать этого и Ахметжан. Нет, все это надо обязательно выяснить! Поэтому на другой же день после возвращения в Алма-Ату Айбол позвонил и пошел в приемную Ахметжанова.

— Он вас скоро примет, — сказала ему секретарша, низкорослая добрая пожилая татарка, которую Айбол знал уже лет двадцать. — Когда я доложила, что вы звонили, он сказал: «Хорошо! Пусть идет!».

— Ну спасибо, — Айбол улыбнулся, ему показалось, что он услышал подлинный голос Ахметжанова, и это его сразу успокоило.

— А кто у него сейчас?...

— Да там... Его старый товарищ — председатель колхоза Гаврилов — секретарша улыбнулась, посетитель этот был ей, видимо, по душе, но она и с Айболом были старые друзья. — Вот сейчас позовет, тогда и доложу о вас, — сказала она, — иначе...

— А что?

— Нервничает что-то в последнее время...

Это была крупная вольность. Лицо секретарши вдруг замкнулось и похолодело, здесь не полагается задавать лишних вопросов — что нужно тебе и так скажут.

— Да-а, — сказал Айбол. — Да-а-а!

Прошло минут десять, и вдруг из кабинета раздался звонок лихорадочный, дребезжащий, чем-то (и это чувство вспыхнуло сразу и потом так и не оставляло Айбола) похожий на голос Амиржана. Секретарша вскочила и бросилась в кабинет. Потом выскочила опять, схватила стакан, достала откуда-то пузырек, что-то накапала и снова вошла в кабинет. Пузырек остался на столе. Айбол посмотрел. Это был валокордин. «Да, дела, — подумал он. Тот умер, а этот...»

Из кабинета снова вышла секретарша, уже спокойная, сдержанная, точная, подняла телефонную трубку, набрала какой-то номер.

— Александра Ивановна,— сказала она,— а мы опять по вашу душу. Да, да! Опять! Уже дала. Спасибо. Жду,— она положила трубку, вздохнула.— Сейчас приедет врач. Наверное, отвезем в больницу. Он не хочет туда, но... Видите, что получается.

— Что-нибудь серьезное? — спросил Айбол.

— Она усмехнулась.

— Сердце! Врачи утешают, говорят: невроз. Но что в конце концов врачи? Вот у меня брат в прошлом году умер, так врачи...— она махнула рукой.— А он так хотел вас видеть...

— Кланяйтесь,— сказал Айбол, вставая,— кланяйтесь и желайте от меня скорейшего выздоровления. Я буду звонить.

Кусепова Айбол знал только понаслышке. Говорили, что это неплохой работник. Энергичный, толковый, неутомимый и ни перед чем никогда не останавливающийся, но самое главное для него не дело, а начальство, как оно посмотрит на его работу. Существо же его трогает мало. То есть это человек, откровенно делающий карьеру. Впрочем, все, что поручали, он исполнял и так, что доделывать потом уж не приходилось. За это его и ценили. И Ахметжанов, которому Кусепов подчинялся, продвигал его все выше и выше.

— На него можно положиться,— говорил он друзьям, когда они недоумевали, почему он так приблизил к себе этого столь по существу неинтересного человека,— ты понимаешь, мы все какие-то стихийные гуманисты. Того пожалеешь, у того войдешь в его особые обстоятельства, а работа от этого страдает. Кусепов же — камень. Разве такого разжалобишь? У него всегда на первом месте дело, а не человек. Я так не могу.

Ахметжанов говорил вполне искренне, но писатель Айбол слушал его и молчал. Он слышал: все обстояло совсем иначе. Кусепов волей обстоятельств просто взлетел на гребне волны бурных событий периода «культу личности». Она-то и вознесла его на ту высоту, о которой он раньше и мечтать-то не смел. Другое дело, что он оказался на редкость цепким и сумел достаточно долго на ней продержаться. В житейской гибкости и сноровке ему никто никогда и не отказывал. Но ведь это цепкость — и все, что у него есть. Только это и больше ничего.

Как-то один приятель Айбола журналист, кстати, написавший по заданию редакции о Кусепове большую статью, объяснил это Айболу все очень ясно:

— Я был у самой его, так сказать, точки восхождения, — сказал этот приятель. — В то время первым секретарем Туркестанского райкома партии был Аккозы Ызбанов, а соседнего с ним Сузакского — Мухамедьяров. Ну что про них сказать? Настоящие коммунисты, опытные партийные работ-

ники с немалым стажем. Это знаешь немало. Когда настала пора, обоих их выдвинули депутатами Верховного Совета Первого созыва. Сначала все шло как следует. Развесили предвыборные плакаты, появились портреты с биографией, проводились собрания и предвыборные беседы, и вдруг, примерно за неделю до голосования неожиданно все это полетело. Сняли плакаты, скинули портреты, и агитаторы стали называть совсем иные фамилии. Так вместо Ызбанова появился Кусепов, вместо Мухамедьярова — Уштауов. Никто о них ничего толком не знал. Кроме того, пожалуй, что оба они даже не районные работники, а всего-навсего участковые специалисты. Ну Уштауов, правда, кончил сельскохозяйственный институт, а вот Кусепов только-только сошел со студенческой скамьи. Он учился в Талгарской школе механизации и мелиорации. Вины их в этом, конечно, не было, но и заслуг их тоже никто что-то не примечал. Вот что означал 37 год в Казахстане. Но как говорят старые казахи — что одному несчастье — то другому на счастье. И покатали эти оба молодца как по хорошо укатанной дороге — везде им зеленая улица. Через три месяца Кусепов был уже начальником облуправления Водхоза. А Уштауов вообще заделался руководителем всего сельского хозяйства области. Дальше — больше. Кусепов — областью руководит, а Уштауов — уже в министерском кресле сидит. Ну, конечно, чины большие, а знания и опыта нет.

Тут как раз подошла война. Кусепова призвали. Вернулся он с орденами. Ну что ж? За то, что хорошо воевал — спасибо ему. Но одно дело война, а другое — руководство государством. Государственных способностей у него никогда не было, правда, тут он спохватился, а может кто и посоветовал поступить в Высшую Партийную школу. Но вот беда, школу-то он кончил, а диплом так и не получил. Значит и тут у него что-то было неладно. Но все равно как был он руководителем, так и остался. А как он руководил, ты сам видел. Вот и вся его тебе история. Дали бы ему подходящее место, может и правда вышел бы толк, а так... и рассказчик махнул рукой. — Да ответил Айбол задумчиво, — есть же русская пословица «Залетела ворона в высокие хоромы!» Залетела и ничего не понимает. Каркает, шарахается, то туда, то сюда и когда-нибудь разобьется, иначе не бывает.

Так оно, конечно, и случилось.

Но Кусепов доказал и другое.

Он съел Ахметжанова.

Был его подчиненным, а поднялся на ступеньку выше его.

Проявил здоровое понимание ситуации.

Но надо отдать ему должное — как человек умный, он сумел соблюсти все правила приличия: не зазнавался, не стал разговаривать со своим бывшим покровителем и начальником свысока, даже делал вид, что внимательно выслушивает его мнение: стоит и кивает головой, да, да, конечно! Словом, каким был, таким и остался. Но в то же время сразу переселился в

его кабинет, и дощечку Акылбека снял, а свою повесил. И что делается за этой дверью, уж не знал никто.

Сотрудников же собрал на летучку и сделал короткое и конкретное сообщение. Раньше, при Ахметжанове, было так, сказал он, при нем, Кусепове, все будет иначе. В коллективе замечается расхлябанность, необходимо подтянуться! Кое-кто уходит на обеденный перерыв и задерживается — это недопустимо, так больше не будет! А вообще он всех благодарит и просит при нем работать так же добросовестно и дружно, как и при его предшественнике. Вот все, вы свободны, товарищи!

Кусепов понимал, что ни по интеллекту, ни по образованию, ни по широте охвата он, окончивший в молодости только районную сельскохозяйственную школу механизации, с Ахмеджановым равняться не может. Но ведь он и не хотел равняться. Он только хотел работать и быть на ступеньку выше своего бывшего покровителя. Вот и все, что он хотел, и ни капли больше.

И еще он приметил другое: Ахметжанов доверчив.

Его можно сбить с толку. Натравить, например, на него его бывших друзей. Если знать характер Акылбека, то это даже не так уж трудно. Просто исказить какие-то его поручения, не так передать его слова, сделать вид, что ты не так понял его устный приказ, — и вот уж человек выходит из кабинета расстроенный и обиженный. Его подвели, он так верил Акылбеку, а тот... Кроме того, Ахметжанов от своих работников требовал инициативы, творчества, собственных решений, а от посредственностей отделывался вежливо, мягко, но неуклонно. Кусепов же все строил на посредственностях, на исполнительных и молчаливых середнячках. Таким, конечно, Ахметжанов был опасен, зато Кусепов то их устраивал вполне.

Ненависть Кусепова к Ахметжанову исходила, собственно говоря, из самых простых, можно сказать, шкурных оснований. Кусепов мало знал, мало читал и, хотя вряд ли, поэтому ему приходилось слышать высказывания Чингизхана о вожде и массе, но он следовал этим правилам свято. «Помни, — сказал великий Чингизхан своему знаменитому сподвижнику багадuru Субэтею, — характер народа и душа его зависят от предводителя. Если стаю собак возглавляет тигр, то и эти собаки со временем становятся тиграми. Но если простая дворняга вдруг делается вожаком тигриной стаи, то и тигры превратятся в дворняг». Кусепов не знал, да и верно никогда не думал о том, кто же он — дворняга или тигр? — но от своего аппарата он требовал исключительной покорности и верности. Он должен быть их идеалом, примером для подражания, выше и мудрее его и человека нет, — так должны думать о нем его подчиненные. И таких он выискивал, вытаскивал, приближал к себе. Следовал он и другому золотому правилу того же Чингисхана, — «Хочешь быть самым мудрым, собери вокруг себя людей глупее себя», — так учил великий хан своего сына Жа-

гатая. А что Ахметжанов умнее, мудрее, шире, образованнее, да и просто талантливее его, Кусепов чувствовал очень ясно. И он завидовал своему сопернику. Поэтому мелкая вначале неприязнь постепенно обратилась в тоскливую, но упорную ненависть. Иначе, конечно, и быть не могло. Шестое чувство не обманывало Кусепова. Говорят же казахи,— завидуют тому, чего нет у тебя в дому.

Вот тут и подвернулось как раз дело Азирбаева. Инициативный, горячий, вспыльчивый, весь кипящий в трудах и заботах инженер Азирбаев, столь похожий и не похожий на своего мягкого уравновешенного друга, верно, где-то что-то недоглядел и кому-то поверил больше, чем следовало. После нескольких разговоров с другими инженерами, бывшими коллегами по работе, писателю Айболу это было совершенно ясно. Ясно было, к сожалению, еще и вот что: тень от его проступка, если так можно выразиться, падала и на Ахметжанова. Вдруг обнаружилось, что растранижировались и шли налево немалые фондовые ценности, что кто-то получил за них деньги и не перечислением, а наличными, что работники покупали себе легковые машины, а начальству подносили дорогие подарки и устраивали юбилеи. Все это было, было! А сам-то Азирбаев? Одни говорят, что он не принимал даже букетов цветов от этих людей! Другие утверждают, в день своего пятидесятилетия он получил от благодарного коллектива машину «Победу». Что говорить? Странное, конечно, подношение, не надо было его брать, а Азирбаев взял и поставил себе в гараж. Взятка? Просто глупость? Ну это ведь кто как посмотрит. Айбол думал, что Азирбаев просто верил тем людям, которых сам нашел, воспитал и поставил на место. Верил, правда, чрезмерно, даже неразумно — но разве это все-таки преступление? Ведь эти люди работали неплохо, нет они даже попросту очень хорошо работали — так какое у него было основание им не верить? Ну хорошо, халатность, попустительство, «идиотская болезнь благодушия», как говорили когда-то. Все это так, и все-таки разве бывает справедливость без гуманности и разве сводят счеты с умирающим? Этого писатель Айбол понять и принять не хотел и не принимал. Скоро он узнал и другое: на мертвого свалили все растраты, недочеты, приписки. Был суд, и жулики дружным хором во всем обвиняли своего умершего начальника. А тот, конечно, оправдаться не мог. Но если с него ответа уж не спросишь, то с тех, кто его поставил на это место и закрывал глаза на сигналы, спросить можно и нужно.

Таков и был тот крючок, который Кусепов закинул на своего бывшего начальника.

Через несколько дней Айбол узнал подробнее, что случилось. Дело в том, что с Азирбаевым когда-то работал еще один человек — не менее ответственный и опытный, чем сам Азирбаев, но то, что прошло мимо глаз Амиржана, не заметил /или сделал вид, что не заметил/ и он. Хотя

никакого отношения не имеет к птице соловью, назовем этого человека /никакой дальнейшей роли в нашем повествовании он играть не будет/ Соловьевым. Так вот, этого Соловьева сняли с должности, посадили на скамью подсудимых и вместе с другими жуликами и ротозеями судили и осудили. Имя Азирбаева тогда — а произошло это два года назад — даже не упоминалось, но первая легкая тень упала на него именно в это время. Соловьев был человеком пожилым, больным и во время чтения приговора с ним случился сердечный приступ. С суда его отправили прямо в тюремную больницу. А потом из тюремной — в лагерную, там он и отбывал срок. Все это произвело очень тяжелое впечатление. Конечно, никто не сомневался, в том числе и Ахметжанов, что такое-то наказание Соловьев заслужил. Но тут вышел на арену советский закон, тот гуманный закон, который учитывает прошлое и настоящее человека, и если считает он еще нужен советскому строю, может простить ему проступки и порою даже преступления. А Соловьев в прошлом был заслуженный человек, а сейчас находился в тяжелом состоянии здоровья, и суд освободил его из тюрьмы. Вот тут-то недруги и взялись за Ахметжанова. И как еще взялись! Ведь все это произошло при нем! Только он, он освободил жулика! Хотел показать доброту! Правда, суд освободил его на твердом и законном основании — поэтому все это было только мышьяная возня, превращенье мухи в слона, но когда этим делом занимаются опытные и прожженные интриганы, то слоны у них все-таки получаются. И начерно сформулированное против Ахметжанова обвинение звучало на первых порах так: засоренье аппарата, развал работы, попустительство. Но чтобы получилось именно попустительство, не хватало еще одного документа. И вот один из товарищей прокурора, встретившись однажды с писателем на улице, нарисовал ему такую сочную картину.

В кабинете Кусепова собрались четверо — сам хозяин, затем двое руководящих работников рангом поменьше Кусепова, один из них хотя занимал довольно большой пост, не принимал активного участие в разговоре, сидел сумрачный, сосредоточенно молчал. Второй — местное светило идеологического фронта доктор философии Айгаков. Четвертым был Курбатов, прокурор сегодня почему-то особенно беспощадный, резкий. Подсудимым был — молодой человек в темных роговых очках, председатель облсуда Айкынбаев. Это он освободил преступника, и вот трое допрашивали его на каком же основании он это сделал.

— Ну, заставили же тебя, заставили? — спрашивал Кусепов. — Ну, что тут еще крутить и вертеть? Заставили — и все! Мы же отлично это знаем. Но кто, кто. Имя, имя?

— Кто ошибается и просит прощения, того обыкновенно и прощают, — сказал философ. — Знаете русскую пословицу: повинную голову... Но упорствующий и скрывающий что-то от партии, уже преступник. А преступнику в партии не место.

— Его место в том же самом лагере, из которого он выпустил преступника.— поддакнул Курбатов.— Вот так!

— Именно, именно так! — подтвердил Кусепов.

Айкынбаев молчал. Молчал и товарищ, занимающий большой пост.

— Ну, так мы ждем,— напомнил философ.— Имя, имя!

Председатель суда молчал.

— Ведь у вас было прямое указание, так?

— Так.— сказал председатель,— действительно было указание.

— Чье же?

Председатель суда пожал плечами. Он был как-то странно спокоен.

— Какое же указание мне мог дать кто-то? Ведь вы знаете: судья независим и подчиняется только Закону. Закону, а не человеку! Вот я и получил указание Закона.

— Закона? — фыркнул Курбатов.

— Да, именно закона! Было ходатайство администрации и заключение врачебной комиссии, для меня это было достаточное основание, а кроме того, прошлые заслуги и преклонный возраст...

— Ну, это вы бросьте — заслуги, преклонный возраст! — грубо усмехнулся Курбатов.— Все это учитывалось, когда выносили приговор. Поэтому-то он и получил по-божески, а то бы так загремел! А вот вы подменяете собой суд. Потом по закону вы могли освободить преступника только после половины срока, а он не отбыл еще и четверти! Безобразие! Судья праведный!

Айкынбаев улыбнулся.

— А чего вы смеетесь,— вскинулся на него Курбатов.— Ничего смешного нет. Судья, а законы не знаете. Анекдот же!

— Анекдот-то, анекдот, конечно,— согласился судья,— но не я в нем повинен. Вот то, что вы, хотя являетесь прокурором, а не знаете советских законов — это уж точно анекдот, только, к сожалению, не смешной. А освободил я больного именно согласно советскому закону. Только не по статье 53 УК РСФСР — тут действительно требуется отбыть половину, а по 362 УПК, как заболевшего тяжким недугом, препятствующим отбытию наказания. И не сам освободил, а через суд по представлению лагерного начальства и заключению врачебной комиссии. Подписал же это решение весь состав суда, так что ваши претензии лично ко мне, мягко говоря, неосновательны.

— Э, да что с ним говорить, снять с работы, да гнать из партии, вот и все! — решил вдруг Кусепов.

— Да, я был бы за это,— сказал Курбатов,— жаль, что не имею права голосовать.

— А я “за”,— мрачно кивнул головой философ.— Крючоктворов нам не надо. Ишь, благодетель нашелся!

Все трое одновременно посмотрели на мрачного человека, словно требовали и его поддержки. Но тот сидел и молчал. Вдруг он шевельнулся, будто хотел что-то сказать, но взглянув на Кусепова, также неожиданно остыл. А затем все же неохотно поднял руку “за”.

— Так вот,— Кусепов сурово взглянул на судью.— За профанацию советских законов и злоупотребление властью мы постановляем освободить вас от работы и отобрать у вас партийный билет. Вот чего вы добились. Вы довольны? Ваш партбилет!

— О нет,— покачал головой судья.— Я не от вас его получал и не вам его отдам. Решение ваше дикое, и оно никогда не пройдет. До свидания. Я пошел работать.

Он слегка склонил голову и вышел. Наступила неприятная пауза.

— Да, распустили их, распустили! — покачал головой философ.

— Ничего, подтянем! — мрачно пообещал Курбатов.— А этот ферт сейчас к своему покровителю небось побежал жаловаться.

— А вот я сейчас порадую Ахмеджанова,— усмехнулся Кусепов и поднял трубку.

Как-то глуповато недоуменно смотрел на него Айгаков.

— Какое значение имеет, что Ахметжанов не давал указание? Не давал, так мог и дать. Дело было при нем. Вот возьму и скажу ему, что вы дали указание Бекету Айкынбаеву об освобождении Соловьева. Скажу, что знаю кое-что и о доброй тетушке, которая колдует преступнику! Пусть обрадуется, сообщу, что мы у этого Бекета отобрали партбилет!

Но Ахметжанов не отвечал.

И все-таки на том совещании, когда сместили Акылбека, понизили в должности, нашелся человек, который выступил в его защиту. Лет десять спустя появилась его книга — раздумье, в ней он писал: “Мне шестьдесят пятый год. Наступила пора оглянуться на пройденный путь, осмыслить его, что сделано, и то, что либо упустил, либо сделал не так, как хотелось”. На том совещании он просто и проникновенно обратился к залу: “Почему? Скажите — за что мы так не справедливы по отношению к Ахметжанову?” Зал напряженно безмолвствовал, готовый вот-вот взорваться. А ответственный товарищ, который прибыл из Москвы и которому был адресован вопрос, сделал вид, что не расслышал этих слов.

Тот человек, что поднял голос в защиту Акылбека, сидел сейчас в его кабинете и жаловался:

— Полив для нашего колхоза — основа основ,— он возглавлял прославленный колхоз в Талды-Курганской области.— Я и приехал в комитет потолковать насчет мелиорации. Иду к председателю комитета по делам ирригации и мелиорации и вдруг узнаю: его только-только сняли, а нового не успели назначить. У меня разговор серьезный, без председателя вести не стоит. Ладно, думаю, после. Дай-ка загляну в министерства, где

были наши заявки. Приехал в одно — там то же самое... Говорят, на одном заседании сняли председателя комитета, двух министров, да плюс еще двум дали “строгача”. Что это? Требовательность возросла? Или положено так: раз уж новая метла — мести по-новому?

— Не знаю. На том заседании не был,— Акылбеку тоже многое неясно.— Помнится, Кусепов работал в водхозе, так что он и председатель комитета по мелиорации — коллеги. Возможно, столкнулись когда-то на узкой дорожке и кто-то кому-то насолил, а? Иначе откуда такая злость? Комитет работает неплохо, да и у председателя репутация как будто на высоте.

— Но сводить личные счеты... Это же низко! — возмутился председатель колхоза.

— Может быть. Но все мы люди, человеки. Стать выше личной обиды не так - то просто. А ну как этот председатель критиковал Кусепова когда-то или дал ему нагоняй. Или... Мало ли что? Работа есть работа. И вот встал Кусепов у власти и рассчитался с обидчиком. Не этично? Да. Но — объяснимо. А вот почему сняли министра Нуржанова? Мотивировали вроде бы тем, что он не справлялся с работой. Но где же ему справляться? Ведь он министром всего лишь год. Он и развернуться не успел. А человек он молодой, энергичный. И выдвигали его, прекрасно сознавая, что он еще не все умеет делать, но у него же есть задатки, чтобы стать со временем толковым министром. Так дайте человеку время! Дайте возможность проявить себя!.. Ведь и ответственность, и объем работы — они кого угодно могут ошеломить поначалу.

— Вот оно что...— покачал головой председатель.— Выходит, валим с больной головы на здоровую. И виноваты не министры, а тот кто их снял?

— По-видимому, так,— все это было невесело.— Знаете, недавно мне пришлось столкнуться с одним любопытным явлением. Дело было в командировке, в Северном Казахстане. Идет бюро райкома. Чихвостят одного агронома, совсем еще молодого. Председатель колхоза к нему с претензией: приехал, мол, из института, с дипломом и вместо того, чтобы выращивать сто центнеров кукурузы с гектара, целый день шатается по полю, а вечерами сидит над книгами. Учиться надо было в институте, а тут надо работать. Ну, агроном и не возражает. Все, говорит, правильно. Одного товарищ председатель не учел: учиться-то учился, но все больше осваивал теорию. А тут, знаете ли, суровая практика — она с теорией не очень-то в ладу. Потому и засел снова за книжки, чтобы теорию с практикой согласовать, чтоб урожай хороший вырастить не на полях конспектов, а вот на этих — колхозных полях. Вы уж погодите меня бить по рукам. Дайте хоть немного приноровиться, примеряться. А председатель ему: ты и так приноровился — дал такой низкий урожай, какого никогда в

колхозе не случилось. И что ты мне прикажешь желать, говорит председатель, ждать чтоб и в будущем году ты опять приноровился и повторил свое нынешнее достижение? Нет, говорит председатель, давай-ка я подобру-поздорову сниму тебя с работы. А то, неровен час, райком снимет с работы меня самого. Во как! “Давай-ка я сниму тебя с работы, а то снимут меня”! И между прочим, он прав: райком действительно снял бы председателя, не сними он агронома. Но понимаете, в чем перекося: председатель уволил агронома не потому, что не сумел тот вырастить хороший урожай, а потому, что не уволил он агронома, уволили бы его, председателя. Понимаете? Боязнь лишиться своего председательского кресла.

Ахметжанов в недоумении развел руками:

— Откуда это? Ведь человек-то наш, советский, а словно куркуль несчастный дрожит за собственную шкуру? Трясется, как бы не потерять свою должность?.. А отец того председателя, не щадя своей жизни, может, шел в первых рядах конногвардейцев в октябре семнадцатого. За общее дело!.. Да и сам председатель — чего уж там! — фронтовик, наверное. Тоже смотрел в глаза смерти, защищая не шкуру свою, а всю нашу Родину, весь наш народ. Это вчера. А сегодня — сегодня он снимет с работы парня, лишь бы не сняли с работы его самого. Не вяжется одно с другим. Не вяжется!

— Вы задели больное место,— поморщился собеседник Акылбека.— Когда я сталкиваюсь с подобными людьми, как ваш председатель, я тоже задаю себе этот проклятый вопрос: откуда они берутся?

— Ну, и откуда же?

— Однозначно не скажешь. Проще простого было бы списать все это за счет культа личности. Но ведь и мы с вами жили, работали в то же самое время. По логике вещей я должен руками и ногами держаться за свой председательский пост, жить в страхе, что потеряю его. А я не боюсь. И вы, уверен, не боитесь.

Ахметжанов усмехнулся:

— Не будем столь категоричны. Мы тоже люди, и ничто человеческое нам не чуждо. Другое дело — нравственная сторона вопроса. Случалось, конечно, что у нас культивировали на почве классово-борьбы жестокую бдительность, недоверие, подозрительность, а это соседствовало с карьеризмом. Но объективности ради мы должны признать, что даже в те не-добрые моменты в нас воспитывали и патриотизм, и трудолюбие, и коллективизм. Я не оговорился — в нас воспитывали. Ведь мы формировались как личности в тот непростой период. И вы и я — мы с вами хотим сохранить свое доброе имя, мы хотим соответствовать занимаемой должности. Ничего плохого тут я не вижу. Правда, мы стараемся лучше работать — чтобы соответствовать... Ну да, работать так, чтобы от этого выигрывало наше общее дело, а не только мы сами. Понимаете? Во-первых, наше об-

щее дело, во-вторых, мы сами. Кусепов и Айгаков тоже соблюдают эти принципы. Но они поменяли их местами, и то, что у нас с вами “во-первых”, у них — “во-вторых”. Почему они сняли министра автомобильного транспорта? Да, поначалу у него дела шли неважно. Но не только поэтому. Вы присмотритесь к министру — энергичный, напористый, прямой. Кусепов почуял в нем потенциального противника. Кусепов смекнул: министр не станет ломать перед ним шапку. А раз так, то не лучше ли его убрать с дороги? Этично это или нет, Кусепов не думал о таких мелочах: того, кто умней и способней меня, — того в бараний рог. И здесь любые средства хороши.

— Но так он всех нас забодает!

— Ну уж — всех! — повел плечом Ахметжанов. — Время другое. И требования к руководителям не те, при которых могли бы процветать Кусеповы. Вот он снял министра — несправедливо снял, а я вчера внес в вышестоящие органы свой протест.

— Протест? — председатель от избытка чувств даже пристукнул по столу ладонью, — Нет, но вы... молодец! Спасибо, — сказал он искренне. А потом принялся размышлять: — В общем-то, не заявили бы вы своего протеста, никто бы вас не осудил. Формально вы не ответственны за снятие министра и могли бы промолчать. Формально... А противное, черт побери, словечко! Вот ведь и ответственность тоже бывает разная. Бывает человек отвечает перед собственной совестью, а бывает... Мы с вами, наверное, не из тех, кто поступает формально. Мы, в отличие от Кусеповых, сделаны из другого теста, хоть и замешаны вроде на одних и тех же дрожжах.

— Формально, формально... — в задумчивости повторил злополучное словечко Акылбек. — А откуда он берется — формализм? Если человек думает над тем, что делает, он ради проформы не станет принимать решений.

— Вот и расставили точки над “и”. Формализм от мертвечины. А вы, товарищ Ахметжанов, человек живой. И всегда оставайтесь таким, а уж мы постараемся держать на вас равнение. Живое тянется к живому. В этом, я думаю, секрет вашей популярности. Да, да — вас знают, вас любят. Кстати не только взрослые, но и... дети.

Акылбек рассмеялся:

— Вот уж не знал, что я настолько популярен.

— А вы не смейтесь. Послушайте, что я расскажу.

Акылбек покрутил головой:

— Что-то интересное, должно быть.

— Рустимова, я думаю, вам представлять не надо. Вы сами его выдвинули министром год назад. И правильно сделали. Да, он молод, но молодость, знаете ли, извинительный недостаток. А главное — опыт аксакалов всегда желательно подкреплять дерзанием молодежи.

— Естественно. Мы должны заботиться о своей смене. Правда, тут важно не переборщить. Хотя... пока осечек не было. Но... — Акылбек не мог

понять, куда клонит его собеседник.— По-моему, вы хотели рассказать о чем-то другом?

— Вот я и рассказываю. В этом году я отдыхал с Рустемовым в Крыму. А у Рустемова есть дочка, семиклассница.— он рано женился, потому и дочь у него такая большая. Как-то мы с ним разговорились об авторитетах подлинных и мнимых, о том, из чего мы исходим, оценивая людей, было упомянуто ваше имя. Рустемов и говорит: я, мол, Акылбека Ахметжановича уважаю и люблю, но хотелось мне узнать, как относится к нему моя дочь. Прямо об этом не спросишь, нужен деликатный подход. Помог случай. Однажды зимой, говорит Рустемов, сидим мы у телевизора. А надо сказать, морозы стояли отменные, и в городе свирепствовал грипп. Я все надоедал дочери, говорит Рустемов, чтобы она теплее одевалась, не то — простудится... По телевизору показывали хронику. Это было, когда из Польши приехал Герек. И вот показывают вас и Герека — с группой сопровождающих лиц вы подошли к мемориалу Славы. Герек снял шапку, положил цветы к подножию мемориала. То же самое должны были сделать и вы. Дочь моя, говорит Рустемов, так и впилась глазами в экран. Вот Ахметжанов положил цветы, вот он поднес руку к своей ушанке... И вдруг дочь крикнула: “Не снимайте шапку, агатай! Простудитесь... И на меня, говорит Рустемов, оглянулась, да с такой тревогой — чтобы я удержал Ахметжанова, не дал ему снять шапку...

Акылбек сидел смущенный и притихший.

— Спасибо за рассказ, — сказал он негромко. И сделал попытку отшутиться: — Не пойти ли мне в Деда Морозы?..

Председатель колхоза ушел, но Акылбек долго еще сидел, смущенный и, наверное, счастливый. Такое о себе не часто услышишь.

Телефонный разговор ворвался в его мысли. Звонок резкий, тревожный. Акылбек торопливо снял трубку:

— Я вас слушаю.

— Печальная весть, Акылбек Ахметжанович,— глухо донеслось из трубки.— Только что скончался бывший министр Нуржанов... Инфаркт...

Смысл этих слов как-то не сразу дошел до Ахметжанова, а когда он понял, что случилось и мелькнула мысль: “Почему я все время опаздываю?.. Опять опоздал. А человек был хороший...” — и появилась острая, сжимающая сердце боль, она была внезапной и вынести ее не было сил, он стал оседать с телефонной трубкой в правой руке, успев левой нажать на кнопку.

Именно в этот момент ему и позвонил Кусепов, звонил насчет Айкынбаева, но Ахметжанов не отвечал, слышны были только какие-то приглушенные голоса. И Кусепов почувствовал что-то неладное, пошел узнать сам. Тут его и увидел Айбол. Не успел еще уйти.

— Ахметжанов у себя? — спросил Кусепов.

— Что-то с сердцем... Вызвали врача,— ответила секретарша.

— А-а — сказал Кусепов и молча повернулся назад.

Секретарша неприязненно посмотрела ему вслед.

— Такие вот у нас дела! — вздохнула она, — Да!

— Ладно, — утешил ее писатель, — не первая зима на волка, и не из таких переделок выходили. Знаете, русские говорят: “Бог не выдаст, свинья не съест”.

— Да, хорошо, если бы так, — улыbnулась секретарша.

Но лицо ее все равно оставалось печальным. Она хорошо знала, какой страшный зверь эта обыкновенная серая понурая свинья.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Ахметжанов не лег в больницу и на этот раз, но ему навязали бюллетень, медсестру, старого сердитого врача и какие-то процедуры, которых он терпеть не мог. С медсестрой они договорились скоро. Она приезжала и уезжала, не пробыв и пяти минут; со старым врачом оказалось все сложнее. Он ничего не слушал, заставлял лежать на спине, не читать и не волноваться.

Собственно говоря, что же произошло, — думал он, снова вставая после ухода старого врача. — Раньше ведь коммунисты республики верили мне, поддерживали во всех вопросах. А теперь? Неужели все послушают Кусепова? И почему я говорю — Кусепов? Ведь он не один. Теперь с ним почти все мои бывшие друзья, товарищи. В чем дело? Неужели я вел себя неправильно или допустил какие-либо серьезные ошибки? Но в таком случае на них указывали бы другие коммунисты. Нет, все было правильно. Ах был бы сейчас рядом хороший друг, с кем бы посоветоваться... Только вот поможет ли друг тут советом? У этого Кусепова просто болезнь какая-то: ничего не оставлять от прежнего — ни людей, ни порядков. На самом деле, может быть, все это от какой-то болезни? Нет никакой болезни не было у Кусепова. Все это от рождения. Рожденного горбатым — и могила не исправит. Тем более люди. И Акылбек видел немало таких.

— Ну что ж, — подумал он медленно кружась по комнате, — в общем-то все правильно! Все правильнее правильного! Раз он — Кусепов, то должны быть и Кусеповы, иначе и быть не может. Так положено. Но ведь что за дьявольщина, все меня считают счастливым, удачником, “тебе, говорят, брат, видно бабушка колдует!” “Ты в сорочке, говорят, родился!” Эх, милые! А у меня ведь было, было... Только, пожалуй, на реке Баканас я и был вполне счастлив.

И улыбаясь, он вспомнил эту медлительную мутную речонку и берега голубого Балхаша, куда она впадала. В этом месте прошли его первые годы. Было там пустынно и глухо, рос саксаул да баялыш, черная полынь да верблюжья колючка. Зато простора, хоть отбавляй! В годы его детства и юности — вошли уже и вершины Алатау, и снежный блеск ледников, и

красавица Алма-Ата с ее быстрыми арыками и царственно величавыми аллеями тополей. Был он в те годы весел и беззаботен, как и все его товарищи гонял голубей и играл в асыки. Так же как и они постоянно ходил с синяками и царапинами-то с яблони свалился, то ногу в футбол зашибли. А собака-то, собака с ведром! — вспомнил он и невольно засмеялся. Дело было такое: у соседа-уйгура справляли свадьбу. Старика за злость и скупость никто не любил. Но в этот день за низеньким заплотом было очень весело и шумно. Не переставая гремел бубен и заливался курнай — тонкоголосый музыкальный инструмент. Гостей собралось столько, что они не помещались в избе. Вышли в сад. Там среди яблонь лежали ковры и справлялся той.

— Погоди, мы ему устроим сейчас той по-своему. — пообещал закадычный друг Акылбека, его сверстник ЫКлас, тоже уйгур, и притащил за ошейник старого смиренного дворового пса.

— Это зачем? — удивился Акылбек.

— У вас там ведро без дна валяется, тащи, — деловито приказал ЫКлас вместо ответа. И через минуту пес с привязанным к хвосту ведром взвизгнув от неожиданности, сорвался с места и грохоча, лая и воя, сделал сначала круг по двору, потом выскочил на улицу, наполнил шумом несколько кварталов и прибежал обратно. Гости вскочили с места и не понимая в чем дело, подбежали к воротам. Акылбек еще долго внутренне подхохотывал, вспоминая этот той и все, что его сопровождало.

— Впрочем, свинство было, конечно, порядочное, — говорил он, рассказывая об этом случае. — Пса-то мы за что обидели? Но вот поди же, не приходило нам это в голову. В школе я уже не позволял себе ничего подобного, как-то сразу повзрослел.

В Алма-Ате он кончил девятилетку и сдал экзамены в Московский институт цветных металлов и золота. Окончил его. Дальше путь его был ясен, прост и прямолинеен. Возвратившись в Казахстан, он работал сначала сменным инженером крупного рудника, через три месяца заместителем, а потом главным инженером. Рудник этот снабжал рудой большой медеплавильный завод и был одним из важнейших промышленных объектов страны. В то же тревожное лето, когда он приехал на этот рудник, его избрали комсоргом. И тут он впервые почувствовал, что кроме таких, как он и его товарищи, существуют еще и люди, подобные этому Кусепову. Был арестован директор комбината, старый партиец Иванов и через несколько дней люди в формах пришли за другом Акылбека. Арестовали за "связь с Ивановым". Правда, он провел в камере всего одни сутки — ни к делу, приписанному директору, ни к нему самому он никакого отношения не имел. И это выяснилось после первого же допроса. Много позже реабилитировали и самого Иванова. Все дело оказалось высосанным из пальца.

Но вот этот день и ночь, когда за железной решеткой на тюремных нарах находился его самый близкий товарищ. Акылбек запомнил на всю жизнь. Всю ночь не сомкнул глаза, остро переживая за безвинного друга. И на всю жизнь возненавидел клеветников. Для него не было большего врага, чем они. Ведь если такой человек проберется к власти, он все вокруг себя загадит, всякую веру убьет.

— Ну после этой ночи твоего товарища, кажется у тебя все шло гладко? — говорили ему друзья. Он улыбался и пожимал плечами.

— Ну как на это смотреть. С внешней стороны будто бы и так. Но на самом-то деле — ох какие это были трудные годы. За полтора года до войны я получил повышение и стал директором Лениногорского рудоуправления. Там и застала меня война.

Добывался у нас свинец, значит самый нужный и боевой металл. Снабжали им всю армию. Работали днем и ночью. Спроси меня, когда я спал и отдыхал — не помню. Помню только одно: вырвешься, придешь в кабинет, завалишься на диван, закроешь глаза и сразу же вскакиваешь — звонят телефоны — вызывает Москва или Алма-Ата. Значит, прощай отдых. Так вот и работали.

И вот я второй раз встретился со своим Кусеповым. Руководил я тогда уже нашей Академией наук, и был у нас секретарем парторганизации некий Ефимов. Говорили про него — принципиальный человек, крепкий партиец, больше я про него в ту пору ничего не знал. Но скоро познакомился — да еще как! Только что мы выпустили тогда однотомник истории казахского народа. Первое-то издание прошло как-то без особого крика, благополучно, а вот второе взяли в оборот. Начался шум, собрания, комиссии, некоторых наших авторов обвинили в национализме. Вот Ефимов и показал тут всю свою принципиальность. Заработал! И у меня от этой его работы создалось такое впечатление, что для него просто перестало существовать слово "казах" — только "националист", только алашординец! Пантюркист! Или что-нибудь подобное.

Если он, например, узнает, что ты спел когда-нибудь на вечеринке казахскую старинную песню "Елим-ай", т. е. "О, страдающий мой народ", то и разговаривать нечего — ты распоясавшийся националист и все. А если была у твоего отца хата с садиком, то ты сын кулака или лучше сказать, "байский отпрыск". Если же твой брат еще к тому же по складам разбирает арабский шрифт да по старой памяти помнит несколько строчек из Корана или какую-нибудь надгробную молитву — это значит — ты сверх всего — родственник мулы. И не смей возражать — для него все это бесспорно! Вот так он костил и костил вокруг, а когда я пришел в Академию, то и до меня стал добираться. И вышло по нему (ума не приложу, откуда он взял такое сведение), что я — скрытый националист и окружаю себя такими же националистами, как я сам. Это за то, что я после прихода

в Академию сразу, одновременно, принял несколько талантливых молодых казахских парней в разные секторы. И, бац, на меня письмо в директивные органы! Бац! — в органы госбезопасности. Ну что ж? Там письмо получают, прочтут и пошлют к нам в Казахстан на проверку. Проверяют. Сразу оказывается все выдумкой, кажется надо бы одуматься — но нет, не таков Ефимов. Он действует по древней пословице — клеветайте, клеветайте — что-нибудь да останется!

Пока шло дело обо мне лично, я еще помалкивал, только отвечал на многочисленные запросы. Но как он взялся за моих молодых научных работников, тут уж я молчать не стал. Пришел в горком партии и объяснил — так и так мой парторг срывает работу, создаются нездоровые настроения. Прошу проверить — кто же такой он сам? В горкоме создали проверочную комиссию. Она заработала. И вот настал день последнего крупного разговора — о том кто сколько стоит.

Акылбек и до сих пор помнит этот день. Собрание в горкоме проводил второй секретарь.

Это был невысокий коренастый человек с хорошим открытым лицом и грудью, увешанной боевыми орденами. Он неподвижно сидел один за столом президиума. Прочие члены горкома и приглашенные занимали места по другой стороне залы, так сказать, в публике. Народу собралось порядочно. Когда Акылбек вошел, а с ним еще несколько человек из Президиума Академии, пришлось внести несколько стульев.

— Нет, вы сюда, пожалуйста,— сказал председатель и указал Акылбеку на мягкий диван, справа от стола президиума.

Акылбек сел и огляделся. Большинство присутствующих он знал, здесь были все его заместители и среди них начальник подсобного хозяйства Академии.

— Он-то причем? — подумал Акылбек.

Вошел Ефимов. Выглядел он очень солидно. Высокий, довольно упитанный лысоватый спокойный человек, в мощных роговых очках. Вот только голубые глаза за толстыми стеклами бегали и казались тоже стеклянными, настолько в них не было никакого выражения, кроме застывшей привычной настороженности. Он вошел и постояв немножко, направился в первый ряд, где сидели другие члены бюро горкома.

— Нет, пожалуйста, вот сюда,— сказал председатель и показал на одинокий стул между первым рядом и столом президиума.

По неписаной традиции это было обычное место для человека, чье дело разбиралось на бюро горкома. Напускное спокойствие слетело с лица Ефимова, он как-то сразу весь ощетинился.

— Это зачем же я туда сяду,— сказал он брыкливо. Ефимов был членом бюро горкома.— Вот же мое место...— и кивнул на пустой стул в первом ряду.

— Нет, сюда, сюда, прошу, — слегка повысил голос председатель и снова кивнул на одинокий стул.

Больше Ефимов возражать не стал. Он пожал плечами и сел.

— Прошу вас, — обратился председатель к докладчице, третьему секретарю горкома.

Это была довольно молодая казашка, председательница комиссии по разбору дела Ефимова. Говорила она медленно, спокойно, заглядывая в лист бумаги, называла факты, числа и фамилии. Так она сказала, что по мнению комиссии парторбота в Академии находится на очень низком уровне, не устраиваются регулярно собрания, хромает политучеба, молодые ученые оказываются втянутыми в нескончаемые свары и склоки. А главная причина всего одна — у парторга нет ни морального, ни партийного авторитета. Недавно, например, на собрании его освистали, и товарищу Ефимову пришлось покинуть зал. Дальше, как говорится, идти уже некуда.

Докладчица села, и после нее стали выступать члены бюро. Все они говорили об одном и том же — секретарь парткома не имеет нужных качеств, чтобы руководить таким большим разнородным коллективом. Партийная работа в загоне. Надо принимать какие-то решительные меры. Акылбек слушал и думал, что хоть все это и правильно, но все-таки разговор идет совсем не на том уровне, какой требуется. Ну хорошо — там секретарь оказался не на должной высоте, тут он что-то прохлопал, в другом не дотянул — все это в конце концов можно отнести к рабочим неувязкам. Ничего непоправимого не произошло.

И к тому же только тот не ошибается, кто ничего не делает. Сейчас возьмут слово сторонники парторга, приведут иные факты и все повиснет в воздухе. Да и сам Ефимов не кажется уж очень расстроенным. Только слушает и сокрушенно кивает головой. А потом — при чем тут начальник подсобного хозяйства? Что он понимает в работе Академии? Выступило еще несколько человек и наконец дали слово Ефимову. И с первых же его слов Акылбек понял, что он имеет дело с опытным демагогом, побывавшим и не в таких переделках. Он ничего не отрицал, со всем соглашался и только ссылался на то, что ученые — это совершенно особый мир, с которым до сих пор ему иметь дело не приходилось.

Здесь обыкновенные мерки никак не подходят. Нужен индивидуальный подход, и вот если бы ему помогло во всем разобраться руководство Академии... Но он ждал этой помощи три года и ничего не дождался.

Руководящие работники заняты своими делами и реальной поддержки от них не дождешься.

— И тем не менее я вовсе не снимаю с себя индивидуальную ответственность, — сказал Ефимов, заключая свое слово. — Да, верно, был недостаточно настойчив, не умел настаивать, не во все двери стучался. Сейчас это мне совершенно ясно. Даю слово коммуниста, что в самое короткое

время все неполадки будут изжиты. Но только я прошу горком — пусть президиум Академии тоже не отстраняется от работы, не чужие же мы в конце концов, люди!

— Хорошо сказано,— поднял голову один из присутствующих и сделал такое движение, словно собирается хлопнуть в ладоши.— Да, надо, надо подтянуться, товарищ Ефимов, и мы вам верим: вы с этим справитесь.

“Не то, не то,— подумал досадливо Акылбек. Совсем не о том пошел разговор. Его на этих мелочах не поймаешь. Нужно бить по главному”.

— Ну что ж, поживем — увидим,— коротко развел руками председательствующий.— А вот теперь скажите нам о поросятах.

Ефимова сразу передернуло. Все напускное спокойствие слетело с его лица.

— О каких...— начал он и запнулся, видимо этого он никак не ожидал. У него с этой стороны ничего не было подготовлено.

— О тех самых, каких вы регулярно забирали из подсобного хозяйства, а деньги не платили,— объяснил председатель.

Он достал из портфеля большую хозяйственную книгу, листнул ее, открыл и положил на стол.

— Вот тут все ваши заказы отмечены. И на каждом ваша расписка. Сорок поросят вы забрали за три года. Это выходит больше, чем по одному поросенку в месяц. Вот тут и цена подбита: каждый поросенок стоит пятьдесят рублей, итого — две тысячи. Товарищ Петров, так я говорю?

— Так точно,— ответил начальник подсобного хозяйства. Две тысячи, как одна копейка на одних поросятах.

— А всего сколько?

— А всего — четыре тысячи с рублями. Мы все подсчитали, там бумажка лежит.

— А вы расскажите нам подробнее,— нахмурился председатель.

— А подробней так: наше подсобное хозяйство является как бы подмогой ученым в продуктах. У нас есть сады, огороды, бахчи и разводим мелкий скот — овец и свиней. Сажаем картофель, выращиваем арбузы, дыни, помидоры. Ну собираем еще яблоки, урюк и сливы. Все это отпускается нашим сотрудникам по спискам в дни праздника или в других нужных случаях. Конечно, только за наличный расчет. Каждая такая покупка у нас отражается в бухгалтерских книгах. Конечно, в списках и парторг значится. Он у нас не редкий гость. Его у нас каждый работник знал. Приезжал на машине, забирал продукты и уезжал.

— А деньги платил?

— Сначала говорил “потом”. Потом тоже не платил. Он не любил платить.

— Не любил? — сверкнул глазами председатель.

— Ох, как не любил. Сначала мы пытались ему намекнуть, так он даже с лица менялся. “Я распишусь, а деньги вам завезут”. Ну и расписывался.

На этом мы все-таки настояли. Вот одни расписки и остались в книгах, а в кассе ни копейки.

Зал молчал.

— Пусть уплатит,— сказал кто-то из задних рядов.

— Уплатить-то он уплатит, в этом сомневаться не приходится,— поднялся председательствующий,— но вот что дальше нам с таким партторгом делать? Я думаю все нам ясно. Мое предложение такое — чтобы и в дальнейшем в казне не было убытков, освободить товарища Ефимова от его поста. Он кстати и с работой-то плохо управляется. Да вклеить ему строгий выговор, чтоб не запускал руку, куда не следует. Другие предложения есть? — В то время коммунисты очень строго относились к таким поступкам. Зал молчал.— Тогда голосуем. Значит, принято единогласно.

...Расходились так же молча. Только один из членов горкома спросил у Акылбека:

— Так как же Ефимов называл тех твоих молодых ученых, которые много увлекались историей своего народа?

— Националистами,— усмехнулся тот.

— Ну а как мы его теперь назовем? Поросятник что ли?

— Бери выше — поросятник ненаучно, поросятинист, вот это будет как раз по его.

И оба засмеялись.

— Да, сказал приятель, выслушав Акылбека, в самом деле, поросятинист. А я вот что сейчас вспомнил, во время войны — ребята бегали по городу и пели:

“Немец — фашист, колбаса,
Съел корову без хвоста.
А с ней сорок поросят,
Одни хвостики висят”.

Вот видишь, тут даже цифры сходятся.— Сорок! Разве только что твой не немец — фашист.

— А такие и хуже бывают,— нахмурился Акылбек. Они, брат, тихой сапой действуют. Пока их увидишь да ухватишь за шиворот, они столько тебе наломают. Столько людей подведут!

И закусил губу. Этих людей он ненавидел упорной немногословной тяжелой ненавистью.

Да, Акылбек видел и таких. Но Кусепов был на голову выше их и более современен. Он умело сочетал демагогию с карьеризмом. Принципиальность с мелочностью. За это не любил его Ахметжанов. А не за то, что тот занял его место и поднялся на ступеньку выше. Нет, вовсе нет.

— Вот,— подумал Акылбек,— этими мелочами, дорогие товарищи, и отличается администратор от руководителя, а вождь от вожака. Истинному руководителю любить и верить людям — это так же просто и легко, как дышать, но если в тебе нет этой веры, то взять тебе ее неоткуда.

Это Акылбек знал все с юных лет, и даже не то, что знал, — это слово сюда не подходит, — а жил этим, находился в этом состоянии — всегда оказать нужную и посильную помощь или услугу нуждающимся в ней.

И тут он вспомнил один разговор с Шакеном Аймановым — зашел как-то о пределах допустимого и недопустимого в искусстве, что можно и что нельзя, и тут Шакен рассказал о том, как снимался фильм “Ленин в Октябре”. Надежда Константиновна Крупская была против него. Она просто не представляла себе, что Ленина можно сыграть. Нарисовать — да, ввести в повесть или роман — может быть, но сыграть актеру... нет, в это она не верила.

И вот картину все-таки сняли, и Надежда Константиновна пришла на просмотр и увидела артиста Щукина в этой роли. Она была поражена, потрясена, потому что поняла — настоящее искусство может все. И когда уже позже Надежду Константиновну попросили проконсультировать следующую картину этого цикла “Ленин в 1918 году”, она согласилась без всяких колебаний. И однажды во время съемок режиссер Михаил Ильич Ромм задал ей вопрос, который видимо, давно занимал его: “Скажите, Надежда Константиновна, а что собственно толкнуло Владимира Ильича в революцию?” — подтекст был, конечно, такой — как он дворянин, сын крупного чиновника, человек в общем-то вполне обеспеченный, мог оказаться в стане гонимых и отреченных. И не только он, — но и брат его. В чем тут дело? Надежда Константиновна ответила: “Владимир Ильич очень любил людей”. Вот и все. Но вряд ли можно было привести соображение более убедительное. Чтобы уже в ранней юности определить, с кем ты, надо прежде всего просто любить людей. Остальное — и опыт, и знания, и политика, и философия — все это придет. Приложится. Но вначале всего стоит вот это: “Он очень любил людей”.

А доброта на целине рождала подвиг.

Недаром Киров еще в 1934 году обратил внимание на эти безбрежные просторы на востоке. Но осилили целину только в 1954 году.

И началось то неслыханное народное движение, которое можно было бы, пожалуй, сравнить только с великим переселением народов.

Шли, шли и шли. Ехали, ехали и ехали.

Ехали молодые, ехали старые, ехали одиночки, ехали целыми семьями.

Палаточные городки, бараки, легкие времянки — все это выросло за несколько часов, за одну ночь, местное население не оказывалось в стороне. Оно помогало всем, чем могло. Но беда была в том, что по указанию. Его, очевидно следуя поговорке, что новая метла чище дерет, предшественник Андрея Ивановича Светлова стал менять руководство центральных областей новыми товарищами, направленными к нам на целину. Да и как менять! Начисто! Не осталось ни одного первого секретаря райкома партии или директора мало-мальски крупного совхоза, если они

были местными кадрами. Так в Кокчетавской области, из всех прежних руководителей остались на своих местах только зав. ОблФО и зав. ОблОНО. Остальные все слетели. Позже то же самое проделал ведающий югом республики Кусепов, потом пришлось переделывать сначала.

Многое тогда случалось на целине — и хорошего, порою и плохого — но в целом это был один из величайших подвигов Человека и Человечества за все время его существования.

Но только ли мужество было источником вдохновения на целине?

Ахметжанов часто думал об этом.

На свой вопрос он получил ответ от самих целинников.

Однажды он был в Ленинградском районе на Кокчетавщине, районе чисто целинном, причем созданном руками ленинградцев.

Ахметжанов приехал в один из совхозов. Совхоз был знаменит тем, что в нем проживали представители двадцати национальностей. Сам директор был русский, а женат на немке, парторг казах, жена у него русская. Главный агроном украинец, женатый на грузинке. Главный инженер оказался эстонцем, породнился он с казашкой. Люди в этом совхозе так смешались, что по этническому составу нельзя было определить, к какой национальности они принадлежат.

Так, наверное, и создается единый советский народ.

И работали они хорошо, дружно.

Весна в том году была поздняя, затяжная. Шли проливные дожди, часто переходившие в снег, в град. Только к десятым числам июня установилась погода. Целинникам предстояло за короткий срок закончить посев. И они закончили его, работая по восемнадцать часов в сутки. В этом совхозе Ахметжанов впервые услышал то особое слово, которое многое ему объяснило. На его вопрос: “Что же вам помогает так работать?” — молодой бригадир, улыбаясь, ответил: “Целинный характер”. И уловив вопросительный взгляд Акылбека разъяснил: “Это особый характер, рожденный на целине. В нем твердость и мужество, но не в обычных понятиях. Тут нечто большее, и присущее оно только целиннику. Мужество плюс... как бы это сказать? Как у спортсменов: умри, но своего добейся”.

Ахметжанов задумчиво смотрел на механизатора. Тот все разъяснял ему:

— Вот сейчас поезжайте в соседний совхоз. И вы увидите там результаты, что и у нас, но достигли их там совсем по другому. Желание у нас у всех одно — больше дать хлеба Родине, а выполняем мы его по разному. Ну вот у каждого человека свой характер, своя статья. И у каждой бригады тоже...

Приехав в соседний совхоз, Ахметжанов увидел действительно нечто новенькое. Лучший механизатор уже заканчивал сев. У него была самая большая выработка по работе. Когда Ахметжанов и те, кто его сопровождал, приехали, механизатор сидел в стороне от борозды и обедал. А трактор его, грохоча на всю степь, продолжал работать. На недоуменный взгляд гостя механизатор улыбнулся и объяснил:

— Наверное, вы думаете: на моем тракторе сейчас работает мой напарник или помощник? Нет, конечно. На один трактор два человека — слишком большая роскошь. Пока я обедаю, чтобы трактор не простаивал, на нем работает моя жена. Она в моей бригаде учетчица, только что принесла обед...

На следующий день, возвращаясь в район, Ахметжанов снова заехал на полевой стан вчерашней бригады. Интересно было узнать, как там механизатор: сдержал свое обещание, заканчивает сев?

Как раз было время обеда. Механизатор сидел и обедал. А жена его, худенькая женщина, ходила по полю и мерила распаханную землю. Но трактор, как и вчера, работал.

Уловив недоуменный взгляд Ахметжанова, механизатор снова улыбнулся:

— А, сейчас на моем тракторе работает сын, пятиклассник. Ведь жена моя учетчица. Видите она занята. На помощь и пришел сын. Я его еще зимой научил водить трактор...

Так вот он каков “целинный характер”. В соседней бригаде люди добились своего, работая по восемнадцать часов, а здесь бригадир достиг самой высокой выработки, совершенно ликвидировав простой механизаторов. Для этого научил не только учетчицу — жену водить трактор, а даже пятиклассника сына.

В следующем совхозе Ахметжанов опять был удивлен, но уже совсем другим.

Это был казахский овцеводческий совхоз “Айсары”. Он имел сорок три тысячи голов овец, почти две тысячи лошадей. Здесь тоже занимались земледелием. Большие площади были заняты под кормовые культуры. Акылбек несколько раз слышал, что в этом совхозе не хватает механизаторов. И бывает некоторые механизмы весной простаивают. Но то, что он увидел на полях, его поразило. Строгой линией, ряд за рядом, шли огромные трактора К-88, заполняя все поля.

Ахмеджанов стоял и любовался увиденным.

— А мне говорили, что у Вас не хватает механизаторов... — бросил он рядом с ним стоящему директору совхоза.

Молодой обветренный казах — директор улыбнулся.

— В общем-то правильно говорили, — ответил он. — Но это было раньше: не хватало механизаторов. А сейчас мы вышли из положения. Знаете как? Школьницы — девятиклассницы пришли нам на помощь. Они изъявили желание научиться работать на тракторах и всю зиму, в свободное от учебы время, провели на курсах механизаторов. И вот сейчас на полях они-то и работают, эти наши девятиклассницы.

— Ну и ну — сказал Ахметжанов. — Неужели вот эти огромные К-88... Да за их штурвал не всякий мужчина сядет! Неужели девятиклассницы?

— Они самые,— спокойно ответил директор,— некоторым девушкам только-только исполнилось пятнадцать лет...

А вечером он увидел их, этих школьниц. Было их одиннадцать. Они стояли у крыльца совхозной конторы, все как на подбор загорелые, коренастые, крепенькие, все с букетами, и уж так они азартно махали цветами, уж так старательно приветствовали Ахметжанова, что он разубался невольно.

В этот вечер его поразило и другое. У крыльца конторы стояла еще одна группа, дети. Их тоже было одиннадцать, мал мала меньше — и девочки и мальчики вперемешку. А впереди них пожилая женщина — казашка, мать — героиня... Когда он дошел до нее, она поздоровалась и сразу же стушевалась, но все же сказала:

— У меня к вам большая просьба...

Акылбек приостановился:

— Слушаю вас.

— Я мать — героиня,— тихо сказала женщина.— Вот они мои будущие строители коммунизма,— она повела рукою, указывая на стоящих позади нее малышей.— Сама я чувствую себя прекрасно...

А вот директор...

— Что директор? — Ахметжанов повернулся к директору.

А тот поспешил ответить:

— Она у нас лучшая доярка. Не каждая женщина умеет доить овец. Не мало делала для нас. Ей дано это редкое умение. Но... одиннадцать детей!... Вот мы и решили — пора ей отдохнуть...

— А я решила иначе,— осмелела женщина.— Не все мои дети умеют ухаживать за овцами и доить их, а я хочу, чтоб умели. У меня, конечно, все есть. И я, конечно, могу идти на пенсию. Но я еще могу и хочу работать. Мне надо полностью передать своим детям то, что я умею и знаю.

Она озорно, по-девичьи улыбнулась:

— Пусть директор не гонит меня с работы, а то ему не сдобровать.

И со смехом показала на своих детей:

Вон какие у меня защитники. Ведь не один и не два, а больше дюжины.

Ахметжанову в тот день было радостно и весело. Он понимал, что с таким народом можно достичь желанной цели.

И тут Акылбек вспомнил другое, случившиеся с ним самим. Однажды они с товарищем Светловым посетили дальний казахский аул на целине. В домах и юртах никого не было, им сказали, что сегодня старая учительница хоронит своего единственного сына, и все у нее. Его зарезали из-за угла. Акылбек посочувствовал горю матери, произнес несколько фраз, подходящих к этому случаю, и тут вдруг Андрей Иванович перебил его: “ А ну-ка, зайдем туда”. И они зашли. В юрте было не повернуться — весь аул пришел сюда, и все сидели молча. На почетном месте сидел белобородый

старец. Юноша лежал наискосок слева. Его прекрасное лицо казалось абсолютно белым, как будто высеченным из камня, но и абсолютно спокойным. Ни боль, ни страдания не отразились на нем. Очевидно, нож попал прямо в сердце. Мать сидела около гроба. Она была тоже вся белая — белое лицо, белые волосы, белый платок, и она гладила руки юноши, сложенные на груди, — просто проводила по ним ладонями, медленно и ровно. Со стороны могло показаться, даже бесчувственно. А губы все время шептали что-то. Когда вошли гости, и в юрте произошло движение — их сейчас же усадили рядом с аксакалом, — мать даже не повернула головы. Акылбек, по казахскому обычаю, произнес несколько слов соболезнования. Мать продолжала ровно и бесчувственно гладить руки сына. В юрте стояла тяжелая давящая тишина. Акылбек сказал свое и сел. Его спутник молчал. Надо было идти, но что-то их удерживало около этого гроба. Чувствовалось, что не все еще выполнено. Не хватает чего-то еще очень важного. И тогда, разряжая эту давящую тишину, кто-то сказал:

— А мы-то радовались, когда приехали эти люди, думали, они нам счастье принесли, вот... — и кивнул на гроб — вот оно, мол, это счастье-то.

И тогда в тишине раздался голос аксакала:

— Не вали все в одну кучу, целина одно, а бандитский нож — совсем другое. Сами коммунисты того совхоза не дали убежать бандиту. Приняли все меры. А целина еще многим принесет счастье.

— Эх, аксакал, — покачал головой тот же человек, и теперь Акылбек увидел его — это был пожилой казах с бурым, обветренным лицом чабана. — Кому-то, может, и будет счастье, а матери что остается? Муж погиб в Белоруссии, а сына убили здесь возле дома. Того убил фашист, а этого сосед зарезал. А ведь тоже приехал, сукин сын, как целинник. Что бы мы с тобой ни получили дальше от этой целины, а разве это может искупить горе матери? Да что ей все счастье мира перед этой смертью? Ведь любовь матери...

— Стой, — негромко, но как-то очень грозно приказал аксакал, — вот ты сказал это слово — любовь матери, а ты знаешь, что это такое? Ничего ты не знаешь. Много есть любовей на свете, а вот эта — да! Самая наибольшая из всех! Что перед ней любовь парня к девушке. Вот я тебе расскажу старую казахскую сказку. Говорят, она есть и у других народов, но в первый раз я ее услышал семьдесят лет тому назад в этой степи и от своей матери. Так вот... — Он помолчал, подумал, слова как будто не сразу приходили ему на память, так вот один бедняк — джигит влюбился в ханскую дочку. Парень был красивый, и ханша тоже красивая. А сердца у них были, наверное, одинаковые — змеинные. Вот ханша и говорит джигиту: “Ты бедняк, я ханская дочка, но я буду твоей, если ты докажешь свою любовь”. “Да разве я не доказал уже?” — спрашивает джигит. “Нет, такую любовь, какую мне надо, ты еще не доказал. Ты любишь свою мать?” “Люблю”, — отвечает джигит. “Так вот пойдись к себе в юрту, убей свою мать и принеси

мне ее сердце. Но смотри не опоздай, я жду тебя всего час. Если солнце зайдет — все пропало. Беги же!” Джигит побежал, и когда мать выбежала его встречать, сразу с размаху всадил ей в сердце нож. Потом рассек ей грудь, вырезал сердце — оно все кровоточило — завернул в лопух и побежал к ханше. Ведь у него был всего час! А время идет, а бежать далеко! Он несется со всех ног и все время смотрит на солнце. Ах, низко оно, низко, не успею, не успею! Зацепился ногой за камень и упал. И сердце вылетело из лопуха. Встал, бросился к нему джигит, а оно уже замирает и с последним трепетом спрашивает: “Сынок, ты не ушибся?”

Аксакал помолчал, как бы сам оглушенный силой этого рассказа и окончил так: “Вот что такое любовь матери. Ничем мы не можем помочь нашей дорогой Рабиге, разве принести к этому гробу еще и свою скорбь. Вот для этого мы и пришли сюда, и два больших начальника тоже пришли поэтому же”.

Два больших начальника по-прежнему сидели молча и неподвижно. И тогда старуха повернула голову и сказала им ровно, тихо и почти спокойно: — Спасибо, что пришли, дорогие...

Через несколько месяцев на заседании бюро обсуждалось личное дело одного негодяя, принесшего в свое время много горя и зла людям, и Андрей Иванович, человек, как знал Акылбек, очень добрый и щедрый по натуре, вдруг настоял на самой жестокой из возможных мер. После конца заседания Акылбек Ахметжанович спросил его, почему он пошел как будто против обычных для него правил. И тот ответил ему:

— Понимаешь, я прошел с начала до конца всю войну, видел тысячи смертей, присутствовал при таком горе, которое никакими словами не выразишь. И вот клянусь всем этим, здесь не станут убивать из-за угла, ни ножом, ни клеветой, ни доносом! Не дам разгул убийцам! Нет, не дам! Я помню руки матери и сказку аксакала,— и взглянул в глаза Акылбека, произнес: — и вы... тоже вспоминайте-ка их почаще.

— И еще, вспомнил Акылбек, ходя по комнате и бесцельно двигая мебель,— во время этой же поездки был другой случай: в одном отдаленном поселке они опять натолкнулись на похороны. Вернее, не на похороны, они уже прошли, а на разговоры про них. Повесился семидесятилетний старик. Причины неизвестны. Записки не оставил. “Ну что же,— сказал председатель поселкового Совета, рассказывая этот случай,— пожил свое старичок, пора, и честь знать,— ведь семьдесят лет! Это сумма!

И даже что-то почти смешное послышалось в его голосе. Первый тогда ничего ему не ответил. Но когда они остались вдвоем, вдруг сказал Акылбеку:

— Не идет у меня из головы этот случай. Ведь как раз все обстоит наоборот, совсем не так, как говорил этот бравый председатель. Это понятно — он сам еще не стар. А я вот знаю: молодому куда легче покончить с

собой, чем старику, у него тормоза меньше — он ни смерти, ни жизни как следует не знает, но когда на себя накладывает руки семидесятилетний старик, это что-то уж очень серьезное. Ведь старик каждый прожитый день ценит на вес золота, у него их так немного осталось. Заинтересуйтесь, пожалуйста, этим случаем, Акылбек! Здесь дело далеко не так просто!”

Так оно потом оказалось.

Ночь явно шла на убыль, светлели занавески на окнах. Акылбек подошел к окну, уже стали видны горы. Где-то далеко залаяла собака, ей сразу ответили несколько других, одна ближе, другие дальше. “Теперь их осталось мало, — подумал он, — а раньше перекликались все дворы. Над всем городом стоял лай. И еще пели петухи. Впрочем, они и сейчас поют на рассвете, интересно кто их и зачем держит? Да, все это уже прошлое: собака на цепи, петухи на насесте, домишки в три окна, палисадники с яблоней, высокое крыльцо и над ним окно с резным подоконником — все это отходит, отходит как вам это ни дорого, писатель Айбол. И мне вот тоже жалко, но что поделаешь? Город этот строили семиреченские казаки, купцы и чиновники, а перестраивают его столичные архитекторы — они люди серьезные, их резными подоконниками не возьмешь. Они на них и в музее посмотрят. Ах, как время быстро летит! Кажется, Сакен Сейфуллин сравнивал его с экспрессом? Действительно, время — экспресс. Если казах пятьдесят лет тому назад пас скот, теперь он имеет дело с атомной энергией, водит реактивные самолеты, покоряет пустыню. Да, правда, все это делалось при помощи великого русского народа. Русский народ не раз помогал и руководящими кадрами. Правда, не все они были золото. Для примера возьмем Черняева, ничего плохого не хочется говорить об умершем; но не долго он удержался на этом месте. Черняев хотя имел громкий голос и сильный характер, но не имел высокого полета мысли и интуиции, столь необходимых для большого руководителя. По существу он был работником областного масштаба. А здесь Республика. Не только размахи, но и свои особенности. Все это было ему не по плечу. Зачем худому быку большие рога? А потом пришла и моя очередь. На пленуме, где меня утверждали, говорил старый коммунист — казах: “Это уравновешенный, принципиальный, энергичный и добрый человек. У него широкий кругозор и большой опыт. Короче, это настоящий партийный руководитель”. Такого мнения были почти все коммунисты республики. “Ну, поздравляю Вас, в этот раз полностью выдержан ленинский принцип назначения кадров, — сказал Светлов мне потом, приехавший на этот пленум. — Делайте все, что считаете нужным. Вам никто теперь не помеха”. Правда, я получил республику окрепшую, с довольно высокими экономическими показателями. А новые времена требовали новых успехов. Надо было работать засучив рукава. И мы работали.

Так вот — и разве он не был одним из тех, кто стоял возле первых бо-розд, проведенных здесь? У него даже сохранилась фотография тех лет.

Он, Светлов, рассматривает комья земли, поднятые первым плугом. И на первой палатке, разбитой в степи и стоящей сейчас в музее, тоже сохранился его автограф. Да и разве одна целина на его счету? А Казахская Магнитка? А цветная металлургия на востоке республики? А Каратаусский фосфорный комбинат? А Экибастузские гиганты? А мощные ГЭСы Иртыша и Ульбы? Разве в их создание не вложена и частица его труда и вдохновения?

Да, вот главное — вдохновение. Без него-то ведь ничего не создашь. Нет вдохновения — и лопата падает из рук строителя, и кузнец бросает свой молот, тушит горн и уходит куда глаза глядят — лишь бы не работать. Потому что тогда работа становится непосильной обузой, непереносимой тяжестью! Как несправедливо то, что обыватели наделили вдохновением художника, артиста, поэта и начисто отказали в нем агроному и инженеру! А ведь куда легче творить на сцене под гром аплодисментов, чем ночью в тиши кабинета. А самые лучшие, самые смелые мысли приходят даже и не в кабинете, а в поезде, у остановки автобуса, в вое ветра над безлюдной степью, когда вздымается пыль в небе и кувыркаются ажурные шары перекати-поля. Он знает: одна из самых важных мыслей о том, как спасти город от селя, осушить огромный Туюксуйский резервуар, повисший над городом на высоте три тысячи метров — пришла ему в голову именно в поле. Он стоял тогда один, совершенно один в степи, смотрел на желтое тяжелое недоброе небо и вдруг словно что-то щелкнуло у него в голове, и пришло решение, то самое, которое он до того бесплодно искал в течение года. И было оно такое ясное, и до того простое, что он записал его тут же, на трех страничках растрепанного блокнота, рядом с телефонами и адресами.

Да, по совести сказать, не было ни одного такого предприятия в республике, в осуществлении которого он так или иначе не участвовал. И вот сейчас ему приходится читать эти скользкие намеки, выносить эту подлую фигуру умолчания, отлично понятую всеми, кому только ее надлежит понимать. Да, коротка у людей память и немощна их благодарность, и то и другое мало тянет на весах истории. Их всех перевешивают более тяжелые грузы — успех, деньги, карьера, слава. Существуют, конечно, и другие веса — правильные, точные, только вот беда — по ним нас будут взвешивать и судить не современники, а потомки, которых мы даже и представить-то как следует не умеем!..

Ну что ж! Подождем!

Уметь ждать — это поистине великое дело. Умнее этого, как видно, ничего уж не придумаешь. Так будем же ждать! — так думал Акылбек Ахметжанов, ходя в пижаме по кабинету и вздрагивая от каждого звонка; старого доктора он боялся по-настоящему.

То, что его уважают Акылбек Ахметжанович знал. Но то, что его любят, он по-настоящему почувствовал впервые. Это случилось на том же

собрании, когда его понизили в должности. Если не брать в расчет “деятели” вроде Кусепова, Баранова, Айтакова и иже с ними, которым удалось воспользоваться непостоянством Его Самого, абсолютное большинство коммунистов было недовольно этим смещением. Их сочувственные взгляды, хмурые замкнутые лица... Он благодарен был за такую молчаливую поддержку.

Ахметжанов знал, что на его счету немало добрых дел, но в заслугу себе это не ставил. Помогать людям в меру сил и возможностей считал своим человеческим долгом, даже служебной обязанностью. А благодарности, особого признания — о них не думал. И вот, когда заболел, его удивила, озадачила даже встревоженность многих людей, простых, ему незнакомых. Да что он сделал такого выдающегося, чтоб за него переживали, волновались?.. А люди-то помнят добро и отвечают на него добром. Вот ведь как получается.

Его взгляд снова задержался на большущем букете роз, они пламенили на письменном столе и были воплощенной радостью. Да нет же, нет — как можно, глядя на это благоухающее живое пламя предаваться мрачным мыслям. Он стал думать о девушках с фабрики книги, они принесли эти розы, когда узнали, что Ахметжанов болен.

Он улыбнулся. Как это все произошло?.. Я уже говорил, что у Акылбека был друг — друг детства, уйгурский мальчишка Ыклас. Жили в одном дворе. Господи, какими они были заядлыми голубятниками!.. А “казаки-разбойники”? Они валтузили друг друга почти всерьез. Ыклас был гибкий, ловкий, его не поймать. Он таким и вырос — за ним, бывало, не угонишься. Да вдобавок стал он стройным, кудри жгучие — в общем, трагедия институтских девчонок. Они ведь, Ыклас и Акылбек, после школы набрались храбрости и двинули в Москву — поступать в институты. Правда в разные. Но пять лет вдали от дома они держались друг за дружку. Затем, как водится, пути их разошлись. Ыклас получил диплом инженера — полиграфиста, его направили не в Казахстан — в соседнюю республику. Акылбек стал инженером цветной металлургии, вернулся домой в Казахстан. Сначала они переписывались. Но грянула война, по своему распорядилась их судьбами. Ыклас к тому времени возглавлял крупный полиграфкомбинат. Успел жениться, обзавестись детьми. Потом ушел на фронт. И как в воду канул. Ни слуху, ни духу. Пропавший без вести. И лишь когда война кончилась и мирные годы взяли крутой разбег, Ахметжанов уже занимал руководящую должность, а жизнь шла своим чередом, до Акылбека дошел слух, что якобы Ыклас объявился. Что он калека, без руки. Он якобы три года был в плену, все думали, что он погиб, жена вышла замуж, а дети умерли. Вернулся он при орденах и вроде бы с почетом, но где тут вынести столько бед сразу. Запил горькую, опустился. И снова — как в воду канул. Ну, а разыскивать его и предаваться воспоминаниям Акылбеку было право, недосуг.

Лет десять назад он побывал в той, соседней республике. Сам по себе он теперь ездил редко, все больше возглавлял делегации. И вот им показывали достопримечательность столицы, новые жилые массивы, возникшие здесь после землетрясения. И, конечно же, повели на знаменитый южный рынок, тоже отстроенный заново. Случайность, а может быть, судьба — в людном месте, возле магазина, он вдруг увидел однорукого, тот сидел в тени здорового дуба. Неопрятный, в каком-то рванье, он сидел скрючившись, опустив низко голову, которую венчала седая грива курчавых волос. Лица не было видно, да и не в этом суть. Лежала перед ним его шапка, и в шапку ту бросали медяки, а и случалось серебро бросали. Обыкновенный нищий. Редко, но и теперь случается в большом столичном городе. Да и какое дело ему, Акылбеку, лицу официальному, почетному гостю, до какого-то нищего. Тут надо деликатно промолчать, пройти мимо. А если уж обращено внимание, то бросить рубль — другой в шапку. Другой бы так и поступил, но Акылбек? Делегация шла дальше и уходила от этого места, и Акылбек уходил. Но в душе его что-то вдруг сдвинулось, оборвалось, и повинувшись безотчетному порыву, он круто повернул назад.

— Ыклас! Ты?..

Человек поднял голову, мутными неузнающими глазами посмотрел на Акылбека, но тотчас же в зрачках его затеплился огонек памяти. Затеплился и погас.

— Я это,— сказал он. И махнул рукой.— Я, а то кто же...

И этот равнодушный взмах рукой был страшнее всего. О чем думал, что чувствовал в ту минуту Акылбек? Есть мгновения в жизни, которые лучше не помнить. Но если ты их пережил, от них никуда не уйдешь. Благоразумнее всего было бы не узнавать Ыкласа. Ну оскорбиться про себя, однако виду не подавать, пройти мимо. Благоразумнее, и легче, и подлее. Акылбеку было не по себе, но пускать слюни и сокрушаться — какой в этом смысл? Надо было что-то предпринять, и Акылбек думал — что. О том, что он лицо высокопоставленное и что какая-никакая связь с этим бродяжкой может бросить на него тень, он в расчет не брал. Он никогда не брал в расчет таких соображений.

Увидев, что высокий гость задержался у нищего, сопровождающий группы — это был мэр города, подошел к Акылбеку. Он был сердит, глазами искал милиционера, чтобы убрать, устранить досадную помеху.

— У меня к вам просьба,— сказал Акылбек и кивком указал на Ыкласа: — Вот этого товарища надо бы доставить в баню, переодеть — я оплачу расходы. А вечером пусть его приведут в гостиницу. Вы можете дать... такое распоряжение?

У Ыкласа был вполне респектабельный вид, когда они встретились вечером. Они засиделись до поздна. И надо ли говорить, о чем шла беседа, как она проходила и какой имела результат? Ыклас остался ночевать у

Акылбека, а наутро улетел вместе с ним в Алма-Ату. Потом — консультации с врачами, лечение, возвращение в жизнь.

В прошлом году Акылбеку позвонили, пригласили осмотреть новую фабрику книги. Звонил один из ведущих полиграфистов республики. Он волновался, потому что фабрика книги была его детищем, делала первые свои шаги. Этим человеком был Ыклас.

Акылбек приехал на фабрику не один, а, так сказать, с сопровождающими лицами. Он по-хозяйски, уверенно шел просторными цехами, задерживался у новейших печатных машин, линотипов, чтобы выслушать пояснения полиграфистов. Машины были, конечно, превосходные, но Акылбек, оглядывая механизмы, по давней привычке своей всматривался в человеческие лица. Его поразило, что в некоторых цехах работали одни только девушки. Причем, необычно много было казашек и уйгурок, чего не скажешь о других фабриках города. Он задержался в наборном цехе, засмотрелся на линотиписток. И это дочери бывших безграмотных кочевников! А ведь они отливают строки книг. Работа, в общем-то, не из легких, физически она, может быть, не тяжела, но монотонна. Однако его поразило, что даже здесь, стоя у машин, девушки вносят в работу грациозность. Их скупые движения певучи, пластичны. Впрочем, так было издревле: во время долгих кочевок они вот также раскачивались плавно в седлах и пели соловьиными голосами протяжные песни. Ему показалось, что девушки за линотипами тоже напевают, чуть слышно, про себя.

Он не сдержался, прошел к одной из них — она работала как-то особенно непринужденно у станка.

— Калкам, откуда ты приехала? — спросил он у нее. Она смутилась, такой высокий гость обратил на нее внимание, но все же тихо ответила:

— Из Саратова.

— Как... из Саратова? — удивился Акылбек. Что-то заставило его подойти к другой девушке со смешливыми карими глазами.

— А ты откуда?

— Из Саратова, — улыбнулась она.

Ыклас шел рядом с Акылбеком. Он тоже усмехнулся:

— Да ты не удивляйся. Не только в Саратове — в Омске, Челябинске много казахов. Они еще до революции попали туда. По разным причинам. Хотя и в тридцать втором году тоже... Ну, здесь понятно. И вот мы кинули клич, они отозвались — приехали. На землю отцов...

Оно держалось в нем стойко, это благостное чувство удивления и благодарности, что молодость есть и требует вечно, что мы передаем, как эстафету, ей все лучшее, что вызревает в нас за время жизни. Он после перемены собрал всех девушек в красном уголке и уж не на ходу, без спешки стал расспрашивать их о работе и не скучают ли они по дому, что их тревожит, чего недостает. Они, преодолев неловкость, разговорились, и ста-

ло ясно, что им здесь нравится, и специальность по душе, и что они хотят работать и учиться, и все бы хорошо, одно лишь плохо — нет у них квартир, живут, кто где пристроился, а это и накладно, и хлопотно, и никакого уюта.

Акылбек тут же дал указание одному из своих заместителей: немедленно построить общежитие для девушек. Да получше — гостиничного типа, с удобствами. Тот, было, начал возражать, что нет, мол, средств, что титульный список строительных объектов на этот год уже утвержден и т. д. и т. п., но Ахметжанов оборвал его:

— Снимите с любого объекта. Вам ясно? Но чтобы ровно через год девушки вселились в общежитие.

Ахметжанов умел настоять на своем. Неделью назад девушки справили новоселье. А ведь о нем не забыли — запомнили, видать, ту встречу. И вот случайно прознав, что он болен, вчера явились к его дому, через охрану передали розы и записку. Ликующим и ясным почерком были выведены слова: “Спасибо за общежитие. Это не комнаты — чудо!.. Не болейте. Ради нас всех — не болейте. И ради нас всех выздоравливайте. Да поскорее.”

Он смотрел на розы, на записку, они размягчали его вконец, и ожило то давнее чувство удивления и благодарности, что молодость есть и пребудет, и он был счастлив, что сумел хоть как-то вмешаться в судьбу этих девушек, светлую и чистую судьбу, сумел добавить еще немного света и тепла.

Может быть, оттого, что у Акылбека раннее детство прошло в ауле, а в тяжелые годы войны по служебным делам часто бывал в колхозах, он слишком хорошо знал, как и чем живет казахская женщина. У него к ней было особое отношение. За ее невероятную терпеливость к нуждам. Может быть, поэтому если женщине нужна была помощь, он готов был пойти на все, и никакие доводы разума не могли остановить его. Он готов был простить им все: и слабость, и чисто бабью бестолковость, которой они грешат порой в делах практических, хозяйственных, и безрассудную их слепоту, когда речь заходит о детях. Ну, матери они, и это свято. И надо любить их, жалеть и щадить.

Память тут же подбросила ему недавний случай, когда его отношение к женщине — в который уж раз! — было подвергнуто нелегкому экзамену.

На стыке двух больших районов создан третий. Акылбек выехал туда посмотреть, как идут дела поначалу. Естественно, районное начальство старалось все показать в лучшем свете. Но Акылбек понимал, что за показным благополучием уйма недоделок, которые неизбежны в такой вот организационный период. И понимая это, он был все же доволен увиденным. “Неплохо, неплохо говорил он себе. Для начала очень даже неплохо!” Его благосклонность передалась и другим. Словом, все шло, как надо, и настроение было у всех приподнятое, деловое. Тут-то и произошла до-

садная заминка, когда в бочку меда успели-таки сунуть ложку дегтя. И, конечно же, сделала это женщина.

Около клуба — Акылбек и все остальные направлялись его осмотреть — перед Ахметжановым, как из-под земли возникла остроносая женщина, кожа да кости, немолодая, однако довольно хорошо одетая по-городскому и настроенная весьма решительно.

— Вы Ахметжанов? — в ее голосе был явный вызов.

— Да, я вас слушаю.

— Так вот, — начала она почти прокурорским тоном, — скажите мне: Почему здесь нет никакого порядка и куда, спрашивается, смотрят местные власти?..

— Минуточку, — попросил ее Акылбек. — Давайте конкретнее: чем вы недовольны?

— А собственно — чем мы должны быть довольны? — ораторствовала она, видать не впервой. — Мы приехали сюда по приглашению вот этих товарищей, — она пренебрежительно кивнула на районное начальство. — Нам, знаете ли, наобещали золотые горы, а тут элементарных условий нет.

И она принялась перечислять то, чего и быть не может на первых порах во вновь организованном районе: ни тебе хорошей бани, ни приличной парикмахерской, ни универмага, ни кафе. И спрашивается: где дома городского типа, которые были обещаны? Ну и так далее, все в том же духе, о чем Ахметжанов знал или догадывался и без ее подсказки. В конце концов, дело тут не в претензиях, которые были предъявлены, тон, упрекающий и недовольный, испортил Акылбеку настроение. Лица у районного начальства вытянулись — торжественность как ветром сдуло.

— Не все сразу, матушка, — сказал Акылбек спокойно, никак не выказывая своего настроения. — Вас понял. Меры примем. Порядок наведем.

И пошел дальше, в клуб. За ним молча прошли остальные. Все словно аршин проглотили. Акылбек, сделав кое-какие замечания по оформлению клуба, решил посмотреть ближайшую овцеферму.

Вереница машин, окружив одинокую чабанскую юрту, замерла у подножья сопки. Рядом, у костра, копошилась старуха — казашка. Лицо ее было обветренным, в глубоких морщинах. Одежонка на ней не ахти какая добротная, хотя и опрятная, чистая. Тут же вертелись девочка и мальчик лет шести-семи, в поношенных майках и трусиках. Старуха поздоровалась — степенно, вежливо и, по казахскому обычаю, пригласила всех в юрту.

Обстановка в юрте тоже не блистала новизной, по всему было видно, что живут здесь люди более чем скромного достатка. Все объяснялось просто: последние два года в тутошних местах сено не уродилось, зимы были затяжными, холодными, и с заработками у чабанов было плоховато.

— Ну, апа, как поживаете? На что жалуетесь? — Акылбек пригубил пиалу айрана, поданного старухой, и готов был выслушать ее упреки и стенания.

— На что ж нам жаловаться? Разве что на бога, что дождика вовремя не пошлет.— она вздохнула, и вдруг лицо ее просияло.— Да что ты милый: все у нас есть — и хлеб, и молоко. Лишь бы вам бог дал здоровья и сил. Хорошо будет у вас, у наших соколов, и мы за вами не пропадем.

И отлегло от души. Будто солнце из-за тучи выглянуло.

— За добрые слова спасибо, апатай*, — он осторожно пожал ее иссохшую руку. И когда уже сели в машину, он с любовью и гордостью сказал: — До чего же вы славные, милые мои старушки!..

И сейчас, вымеряя шагами комнату, бросая взгляд на вязанку букета, на записку от девушек с фабрики книги и как бы слыша голос той старухи, он отмахнулся от невзгод. “Вот еще, что придумал — болеть. Нельзя мне болеть. Жить надо. Работать. Ради этих девчонок, наивных и светлых. Ради старухи - матери, она не устанет ждать у одинокой юрты добрых, счастливых времен”.

На работу Ахметжанов вышел через неделю, и сразу же у него состоялся крупный разговор с Кусеповым. Акылбек знал, что этого разговора не избежать. Все внутри у него кипело, ибо он считал Кусепова морально виновным в смерти министра Нуржанова. Кроме того, он знал, что и Кусепов ждет встречи с ним. Дело было в том, что несмотря на свое болезненное состояние, он дал указание хоронить покойного за счет государства, причем, как министра, скончавшегося на своем посту. Таким решением Кусепов явно остался недоволен, однако указания Акылбека не отменил, а лишь сказал, чтобы делали все по указанию Ахметжанова, а он сам потребует от него объяснений. Акылбек знал, что это лишь повод.

Встреча состоялась. Как только Ахметжанов почувствовал себя лучше, он сразу же пришел в кабинет Кусепова. Тот встретил Акылбека с улыбкой. После обычных холодных любезностей, как бывает между неприязненно относящимися друг к другу, Кусепов перешел к упрекам.

— Мы все щедры за счет государства,— сказал он нахмурившись.— Мне говорили о пышных похоронах бывшего министра Нуржанова за счет государства.

— Почему пышные? — чуть удивился Ахметжанов.— На его похороны выделено столько же, сколько мы выделяем обычно на любые похороны членов правительства.

— Но ведь он уже не был членом правительства. Это, наверное, сделано для того, чтобы сказать — вот какого человека сняли?

— Вы так думаете? Если бы не его смерть, он оставался бы членом правительства. Но какое это теперь имеет значение? Тысяча рублей, которая затрачена на его похороны всегда найдется. А вот его же самого уже никогда не найдем. Признаюсь, лично от Вас я не ожидал такого разговора.

— Это почему же? Если государственные средства...

А п а т а й * -- ласковое обращение к пожилой женщине.

— Бросьте! — почти крикнул Ахметжанов. — Умер наш товарищ, с которым только вчера мы работали вместе. Неужели Вы не чувствуете свою моральную ответственность за его смерть? Или хотите прикрыться словами о каких-то рублях? Это похоже на то, как вор кричит “Держи вора!”.

Кусепов побледнел:

— Вы что считаете меня убийцей этого... бывшего министра? — сказал он чуть дрогнувшим голосом, опять-таки подчеркивая слово “бывшего”.

— По крайней мере считаю, что Вы несете нравственную ответственность за эту смерть! — Ахметжанов побледнел. — Ненавижу людей, которые зная, что виноваты, даже не переживают! Вы, наверное, думаете, что сняло его за плохую работу руководство, причем, мол, я? Если отвечать за каждого снятого министра, так жизни не хватит, да? Формально, юридически Вы правы. За эту смерть никто Вас не привлечет к суду. Но ведь существует моральная ответственность.

Кусепов начал злиться:

— Есть, по-моему, справка врачей, что он был болен и раньше.

— Когда Вы ее получили? — снова перебил его Ахметжанов. — Значит почувствовали свою вину? Это уже неплохо, хотя и отгораживаетесь справкой. Значит, где-то в глубине души Вы все же почувствовали свою вину? Это уже нечто человеческое.

— Прекратите, Ахметжанов, никто не виноват в его смерти — сказал Кусепов задыхаясь. — Если отвечать за каждого снятого, то знаете...

— Повторяю, Вы юридически не виноваты, — как-то медленно заговорил Ахметжанов. — А перед своей совестью? Вот Вы говорите, что у него было больное сердце, и он не пережил снятие, выказал слабость. Давайте разберемся. Юристы говорят, что преступники сознательно совершающие преступления, при вынесении приговора, как правило, от сердечного приступа не умирают. Внезапно умирают те, кто неправильно осужден и не совершал преступления... Не так ли случилось и с министром Нуржановым? Человек был молодой, энергичный, знающий и старательный. --- Ссылаясь на какие-то недостатки, его вдруг снимают с работы. Может быть, он не так переживал, что потерял министерский пост, как несправедливость такого решения?

— Что же Вы предлагаете? Из-за боязни, что люди будут переживать, мы не должны снимать их с работы, когда они явно не справляются с ней?

— Снимайте, если справедливо! Но ведь Вы не за то же его сняли! Вы просто боялись, он уже начал выступать против Вашего стиля работы. Вы боялись его неумемной энергии, может быть даже считали возможным претендентом на свое место. А Вы должны были радоваться, что есть такой человек. Вот что меня больше возмущает! Если же всем нам думать так, как думаете Вы, то и Вам бы сегодня не сидеть в этом кресле! Если сидите, то руководите. А допустили ошибку, подумайте о том, чтобы больше ее не

повторять. Вы же даже не хотите признавать, что погубили человека, где же Ваша совесть? Вы всему учились: работать и требовать от других, только одному не научились — уметь нести нравственную ответственность за свои поступки! Раз сила в руках, то Вам больше ничего не нужно. Это страшнее всего!

Я вот лежал больной и переживал за Вас. Все думал, как я мог не заметить этого Вашего качества. Вы ведь рядом со мной работали. Понимаете, я переживал за Вас. Мне было больно, что начинаю терять своего вчерашнего товарища, возможно даже друга! Вы, наверное, думаете, что я злюсь за то, что Вы заняли мое место? Нет, вовсе нет! Я злюсь, какой человек занял мое место! Мстительный, мелочный, думающий больше о своем кресле. Мне Вы жалки как человек, и как руководитель!..

Ахметжанов ушел. Кусепов сидел оплеванный, злой. Он где-то в глубине души понимал, что Ахметжанов прав. Но признавать это и тем более перестраиваться он не думал. Этому мешал и его характер, и кресло, на которое он незаслуженно сел, и то, что Ахметжанов прав. И теперь он решил, что с Ахметжановым так просто бороться нельзя. Надо его уничтожить, причем, уничтожить так, чтобы он даже пикнуть не смел...

Ахметжанов вернулся в кабинет и удивился, как непривычно пуста и скучна стала его приемная. Сидело всего два или три человека. Он взглянул на секретаршу. Она развела руками.

— Звонил кто-нибудь? — спросил он.

— Никто не звонил.

— Да, — сказал Ахметжанов. — Все точно по Абаю. Помните, “плохой друг, как тень — днем не отвяжешься, ночью не сыщешь”. Ну, что ж, будем людьми без теней. Так оно, пожалуй, и спокойнее. Приглашайте, кто есть..

Одним из трех посетителей был некий Кысыккозов, зав. отделом республиканской газеты. Ахметжанов знал его и не особенно ценил. Как-то так случилось, что он втащил Акылбека в одну довольно-таки скверную историю, то есть чуть не поссорил его с несколькими хорошими людьми. Потом оказалось, что все не так, что люди эти ни при чем, а Ахметжанов даже не смог перед ними извиниться., потому что и Кысыккозова винить тоже было не за что, он ничего не придумал, даже фактов и то не искажил, только чуточку их сдвинул и осветил по-своему, то есть дело было не в словах, а в акценте, а к акценту разве придерешься? Впрочем, Ахметжанов и не хотел придраться, потому что считал, что он сам виноват во всем. Так вот этот самый Кысыккозов, зайдя к нему в кабинет поздоровался, уселся поудобнее, вынул из портфеля свежий номер партийного журнала. ткнул ногтем в отчеркнутый красным карандашом абзац большой статьи “По ленинскому пути интернационализма” и спросил:

— Читали? Нравится?

Абзац же был такой: “Особенно опасен национализм, когда он прикрываясь как будто бы совершенно деловыми государственными, эконо-

мическими, этническими и другими соображениями, вступает не с открытым забралом, а пробирается в нашу жизнь с, так сказать, черного хода. К великому сожалению, это встречается не так уж редко. И отпор дать такому национализму намного труднее. Ведь прежде всего его надо заметить. Какие страсти, например, заварились вокруг очень ясного и простого вопроса о передачи части земли Казахской ССР соседней республике. Что тут только не было пущено в ход: и глухая древность, и животрепещущая современность, и лингвистика, и география, и этнография, и советское хозяйство, и даже (вы вдумайтесь в это!) — дружба народов! Дошло дело чуть ли не до референдума. Акылбек нахмурился, главным противником этой передачи был именно он. А автор продолжал: "...при решении такого вопроса проявляется национальная ограниченность. Люди, страдающие "национальной" болезнью, как правило, бывают политически близорукими. Для них значение имеет не то, что выгодно обществу, государству, а то, чтобы никому ничего не "отдавать", сохранить, так сказать свой "национальный престиж". Среди этих людей встречаются, к сожалению, и коммунисты, полагающие, что таким образом они выражают волю своего народа".

Ахметжанов взглянул на фамилию автора статьи, закрыл журнал и сказал:

— Оставь мне, я посмотрю.

Он повернулся к столу, весь ушел в какие-то бумаги и уже не видел редактора. Кысыккозов повертелся и вышел. А Ахметжанов как только закрылась за ним дверь, потянулся к пузырьку с валидолом.

Ну что тут поделаешь? "Услужливый дурак опаснее врага", и этот неумный человек тоже пришел оказать услугу, предостеречь и информировать о надвигающейся опасности, если не знал этого. Говорят же казахи, когда дурак принимается за дело, то у коровы пятая нога отрастает. И еще говорят они, когда человеку не везет — то и тысячи друзей ему мало, и один враг много... Мой мудрый маленький народ, все-то ты понимаешь и знаешь! Да, Акылбек Ахметжанович, плохи твои дела — закаркали над тобой вороны. Ничего тут не поделаешь! Люди мы культурные, на дуэль не вызываем, в лицо друг другу не плюем. А ведь так хочется иногда... Очень даже хочется! И поделиться не с кем, потому что "знакомых уйма, друга нет". Нет, нет, у меня есть настоящие друзья — товарищи. Он улыбнулся. Акылбек вспомнил тот день, когда его перевели вот сюда. Нет, нет, не гром аплодисментов в зале, когда называл его заместитель, приехавший из Москвы фамилию Акылбека... Бесспорно, и рукоплескания показывали, что он не одинок, что на его стороне республиканский партийный актив. А то было за день до собрания... Не зря казахи говорят: не доверяй свою тайну другу, ведь у твоего друга тоже есть свой друг. Видимо, Кусепов сказал кому-нибудь из своих друзей, что вчера в Москве его утверди-

ли на место Ахметжанова. А тот друг... Словом, не успел приехать заместитель Его Самого из Москвы, а новость уже разлетелась по городу. За час до собрания к Акылбеку пришли несколько авторитетных старых коммунистов и секретарей областных комитетов партии. Один из них, к голо-су которого прислушивались многие коммунисты, сказал: “Мы пришли к тебе посоветоваться. Хотим выступить и сказать, что мы не согласны с заменой. Коммунисты республики хорошо знают тебя. Я уверен, что поддержат нас”. Ахметжанов знал — был точно такой же случай в одной из союзных республик, и партийный актив не дал расправиться с руководящим работником, не угодным Ему Самому. Такое же могло произойти и здесь. Наверняка произошло бы. В этом был уверен и Акылбек: он знал, что его любят коммунисты республики. Но он не пошел на это дело. Акылбек горячо поблагодарил делегацию, просил не выступать. Как коммунист, он посчитал своим долгом святое уважение к демократическому централизму и подчинение авторитету центральных органов, хотя его смещение исходило только от Него, только по желанию его. Он сказал друзьям, что не надо противопоставлять республику вышестоящим властям: придет время и если его смещение ошибка, партия сама исправит ее.

Акылбек снова улыбнулся. Как приятно сознавать, что имеешь столько друзей — товарищей, которые в трудные для тебя минуты могут рисковать ради тебя!.. Что касается сегодняшнего дня так это же случайность. Да и не обязательно, чтобы каждый день в твоей приемной толпились люди. Акылбек в третий раз улыбнулся. Если сказать правду, то кроме всего, есть же у него еще один настоящий друг, есть! “ Вот приеду домой, сброшу пиджак, надену старую куртку с протертыми обшлагами, подойду к Зуре и скажу: “ Друг ты мой хороший, знаешь, какой подарок мне преподнесли сегодня?.. ” Ладно, будем работать. Кто там еще в приемной? Зовите, принимаю!

Вошел Гаврилов. Он был весь пронизанный солнцем, загорелый, обветренный. Весна только начиналась, а он выглядел, словно лето провел в поле,— явный признак того, что председатель колхоза с самого начала полевых работ находился в степи.

— Вы ли это, Петр Афанасьевич? Проходите, проходите. Вот кого мне сейчас не хватало,— говорил Ахметжанов, пожимая протянутую руку гостя и предлагая ему кресло против своего стола.

Приходу Гаврилова он искренне обрадовался. У каждого человека, какой бы пост он ни занимал — маленький или большой, бывают минуты, когда ему не хочется оставаться одному, бывают такие минуты, наверное, когда он будет рад любому живому существу. А уж если старый знакомый или приятель — то подавно.

Гаврилов был давнишним товарищем Ахметжанова. Правда, председатель колхоза жил в довольно далеком от столицы районе, но тем не ме-

нее старых знакомых притягивал какой-то общий магнит, и они встречались часто. Ахметжанов каждый год ездил в этот колхоз и при каждой встрече долго говорили о делах колхоза...

— Да, вот пригласил Кусепов, спрашивал о состоянии и перспективе колхоза... Но он сегодня какой-то хмурый, сказал бы даже злой...— сказал Гаврилов, присаживаясь на кожаное кресло.

“Неплохо, неплохо, подумал Ахметжанов, что он стал приглашать председателей колхозов. Лучше бы, конечно, самому поехать туда, и на месте ознакомится, но на первых порах и это неплохо. Когда руководитель интересуется состоянием колхозов — это уже что-то означает. Что же касается, что у него хмурое настроение, радоваться ему, конечно, нечего. После моего разговора настроение его, наверное, испортилось. Пускай! Это ему на пользу. А то человек начинает черт знает что творить.”

— Молча выслушал он все мое объяснение. Сделал отметку у себя блокноте. Обещал помочь,— говорил тем временем председатель колхоза — Конечно, в свою очередь, и я пригласил его в наш колхоз.

— А он что, обещал приехать?

— Обещал, обещал,— сказал Гаврилов,— только сказал перед уборкой притом, дескать, если ваш колхоз будет выполнять госпоставку и примет встречный план. А я, грешным делом, подумал — чтобы мы потом сказали: “Приезд товарища Кусепова нам так помог, его личное вмешательство дало колхозу возможность перевыполнить план”, ну и ляпнул: “Вы уж приезжайте сейчас, а перед уборкой — тоже хорошо, но помогите нам именно сегодня. Если вырастим хороший урожай, то собрать уж как-нибудь сами сможем”.

— А он что? — засмеялся Ахметжанов.

— А он нахмурился и спрашивает меня: “Давно работаете председателем”. Я говорю — больше десяти лет. А он еще больше нахмурился. “Не засиделись ли?” говорит он. А я “сам я пока этого не чувствую, говорю, тем более колхоз наш с каждым годом идет в гору. Даю понять, что нет причины меня снимать. А он наверно сам почувствовал, что сказал лишнее, сразу же изменил тон, нет, нет говорит, я имел в виду другое. Если вам надоела эта работа, можем сделать вас председателем райсовета или секретарем райкома, так что никто не думает, что вы плохо работаете. А я ему: мне моя работа надоест не может, люблю ее, знаете. А что касается должности председателя райсовета или секретаря райкома, спасибо, говорю, за намерение, я на такой масштаб не подхожу. Мой диапазон — колхоз, а не район.

“Все же Кусепов не забыл выступление Петра Афанасьевича на том Форуме, когда он спрашивал: “За что переводим Ахметжанова?”. Ах, Кусепов! Кусепов! Старается сместить всех тех, кто, по его мнению, поддерживает меня!” Но Гаврилову сказал другое:

— Что ж, если он говорит искренне, предложение его дельное. Бесспорно, вы сможете руководить районом.

— Нет,— категорически сказал Гаврилов,— это не по мне, человек должен работать там, где он может принести наибольшую пользу. По сравнению с должностью председателя райсовета должность председателя колхоза маленькая. Но поля-то колхозные, сами знаете, какие большие! На машине их за день не объедешь. А знать надо каждый участок, не просто знать, а досконально — что надо посеять на них и как этот урожай вырастить. Все это делается, если не прямо тобою, то во всяком случае с твоим участием. Я такую работу люблю и умею, а дело председателя райсовета не знаю и не умею.

— Научишься.

— Учиться стоит тому, что тебе по плечу. Я считаю, что вы все зря учили Кусепова до его нынешнего поста. Прямо скажу — это ему не по плечу. Он забыл, когда работал в водхозе, а я однажды был у него. Тогда он был другой. Хорошо помог нам. Посоветовал, что делать. Потому что знал свое дело. А сейчас? И пост большой. И возможности у него большие. А помочь не может. Потому что он не знает, что делать с нашей землей, что посоветовать как поступить с ней в наших условиях. А ведь таких колхозов как наши тысячи...

— И я не знаю, что делать с вашими полями.

— Вот-вот. Вы говорите: “Не знаю”. Значит, вы понимаете — надо поехать, посмотреть, посоветоваться с нами на местах, и со специалистами. А потом будете знать. А он не говорит: “Не знаю”, а приехать собирается только перед уборкой — на готовое. Значит, ему важен результат, а не процесс. Я понимаю — у него республика, вникать в дела каждого колхоза он, конечно, не может, и наверное, не надо. Надо ему, должно быть, смотреть на все это с высоты своего поста, в республиканском масштабе. Пусть все это будет так. Но человек, не щедрый душою, не может стать настоящим руководителем. Да есть еще другое обстоятельство...

— Какое?

— Я с ним говорил целых два часа. Конечно, судить о человеке с одной встречи трудно. Но меня вот что насторожило. Ему не понравилось мое выступление на том форуме о вас. Это тоже, может быть, не обязательно должно всем нравиться. Но он дал мне понять, что я тоже его враг, то есть выходит, все, кто поддерживает вас — его противники. А кто против вас — это его друзья. Значит, противников он должен уничтожить, а друзей — возвысить, окружить себя ими. А ведь, если мы поддерживаем вас, то поддерживаем не потому, что мы с вами личные друзья, а за ваши хорошие дела, партийные, искренние, человеческие отношения. Нет, настоящему руководителю нельзя делить подчиненных на врагов и друзей. На всех надо смотреть как на друзей. Если кто из них ошибается — ис-

правляй, делает проступки — наказывай. Никто же из нас не собирается ему делать зла. Я вот шел к вам и думал — откуда у него такая злость? В частности, к вам, ко мне? Положим, он вас знает, а я - то что? Он же меня совсем не знает! Одно выступление коммуниста - даже пусть ошибочное — не дает же ему это право считать меня врагом ему! И за это ему хотелось бы убраться из моего колхоза! Так могли делать, знаете ли, губернаторы. Шел — опять думал: откуда берутся такие руководители? Просто сами рождаются? Нет, мы их делаем! Где Ленинский принцип воспитания кадров? Критика и самокритика? Вот появился на высоком посту Кусепов, все видят что за человек, но никто ему в глаза не говорит о его недостатках. Наоборот сколько стало у него подхалимов, начиная с самого Айгакова, Баранова! Конечно, такой человек долго не продержится. Но до этого он скольких людей искалечит.

— Мы этого сделать не дадим!

— Кто это мы?

— Вы да я. И другие коммунисты.

— Правильно. Нельзя давать это сделать. Но как?

— Не заговором же. У нас, коммунистов другие методы... Придет время. А сейчас есть поважнее Кусепова дела.

— Спасибо,— сказал Гаврилов как-то внутренне успокоившись.— На душе легче стало. А теперь скажу, зачем я к тебе пришел. Приглашаю в наш колхоз.

— Приеду. Обязательно приеду, притом скоро,— сказал Ахметжанов пожимая протянутую руку Гаврилова.— Я сам уже скучаю по весенней степи. Надо походить и подышать, как говорят, пахотой...

К Зуре подходить ему не пришлось. Она сама подошла к нему. Встала перед ним, когда он сидел в кресле и курил, спросила:

— Ну что там у тебя опять случилось?

— Ровно, ничего,— ответил он и засмеялся.— Откуда ты все это берешь? Она тоже засмеялась и обняла его за плечи.

— Не умеете вы притворяться, товарищ Ахметжанов! Нет, не умеете! Вот смеетесь — рот до ушей, а глаза — точно с похорон. Ну так что там случилось? Но только правду, правду!

— Да, верно, тебя не проведешь,— вздохнул он.— Двадцать пять лет камерального изучения — это стаж! Да нет, правда, ничего особенного. Статья этого идеолога. Ну и меня того... Вот журнал, прочти.

Зура взяла журнал и положила обратно.

Роза недавно приносила этот номер. Вот почему она была такой. Я еще спросила, что у нее случилось. Говорит, ничего. Так в чем же тебя упрекают?

— А в чем казах казах может упрекать? В национализме, конечно!

— Ну, что же он пишет?

— О чем он может писать? Да понятно о чем! Думает, что национальные особенности есть и национальные недостатки, и, если ликвидировать нации, национальности уничтожить, стереть присущие им традиции, то мы скорее придем к коммунизму! Он везде — в навыках, национальных чувствах, привычках, с веками сложившихся обычаях — везде, во всем ищет только национализм. Стараются быстрее, быстрее вытравить в людях, в нас все национальное, что ни на есть, не разбираясь, что хорошо, что плохо. И конечно же, как результат всего этого — перегибы. Вот журнал, читай сама. А чтобы доказать “мой национализм” он приводит Его слова. Вот в этом месте. Акылбек стал читать вслух: “Недавно в беседе с руководящими работниками Казахстана. Он предупреждал, что сначала надо быть коммунистом, а потом представителем своей нации. Тот, кто хочет сначала быть казахом, узбеком, украинцем или русским, а потом уже коммунистом, никогда не станет настоящим коммунистом, настоящим ленинцем”.

— Что он, твой философ, сомневается в твоей партийности? Это же ложь!

— Согласен. Но она, эта-то ложь иногда бывает как смола, смыть ее трудно. Вот Тамерлан думал-думал, да и додумался: сначала приказал резать языки лжецам. Что ж, говорить перестали, зато писать стали. Приказал рубить им руки, стала ложь анонимной, но сделалась она еще больше. Тогда он приказал заливать уши свинцом, — тем кто слушал и выколоть глаза — тем кто читал, — говорят сразу прекратилось. И наступили мир и тишина. Но ведь то Тамерлан! Начало 15 века! Дикие орды! А как нам прикажете делать?

— Да ладно... — она погладила его по волосам. — Значит, этот идеолог обнаружил у тебя этот... Ну, даже язык не поворачивается. А хвостика он случайно у тебя не заметил? Или копыт под башмаками? А? Бедный ты мой! Ладно! Глупость и есть глупость, и нечего об ней говорить. Никто в нее не поверит. И вот твой идеолог ведь тоже не верит. Просто у него совести нет. Слушай, плюнь ты на него! На чужой роток не накинешь платок. Отстанет.

Акылбек засмеялся.

— Это как у дедушки Крылова: “Полают, да отстанут”. Да, мудрый был старик, все понимал, как есть. — Вдруг Акылбек снова нахмурился. “Но ведь Айгаков как репейник в овечьей шерсти — как вопьется, так и не отцепишь. Вот Кысыккозов сказал, что он про меня собирается писать книгу — это будет его докторская диссертация — так что это — в шутку или всерьез? А впрочем, и он даже засмеялся, — пусть себе пишет. Придет время, он сам поймет, какую глупость он сотворил. Ему хуже будет тогда”. — И он повернулся к супруге. — Слушай, а не сварить ты мне настоящего казахского чаю с молоком? Знаешь, крепкого-крепкого, черного-черного, со сливками. Вот что бы я попил сейчас! Но крепкого-крепкого! Понимаешь, самого крепкого!

— Так у нас от гостей французский коньяк остался! — напомнила она.

— Ну вот пусть гости его и допьют. А я коньяк пью в минуты радости и с друзьями, а так, чтобы лечиться им, как говорят некоторые — нет! Это не по мне!

Тут и она засмеялась.

— Так я вас за то и люблю, дорогой товарищ Ахметжанов, подозреваемый в национализме, что вы никогда не лечитесь, а коньяк этот мы сами выпьем... В день нашей серебряной свадьбы. Так? Ладно, пойду готовить тебе чай.

Осталось одно средство — испытанное и действенное — плюнуть на все и работать. И Ахметжанов с головой ушел в работу. А ее то был непочатый край. В долине реки Или, в Капчагайском древнем ущелье (на его склоне сохранилось изображение Будды — тонкое и прекрасное как восточная чернь или гравировка на серебре из убора царевны — жены гуннского царя (хранилось такое в музее археологии) намечалось строительство ГЭС. Эта станция должна была обеспечить энергией все Семиречье. Строительство было огромное, ответственное, его планирование требовало повседневного внимания и даже уезжая в Душанбе на юбилей Таджикской республики (40 лет со дня образования) Ахметжанов каждый день звонил одному из своих первых заместителей и спрашивал, что нового там. И однажды заместитель после обычного доклада сказал ему: "... и еще, кажется мне, вам надо бы срочно вылететь сюда". "А что,— удивился Ахметжанов,— что-нибудь с планировкой, с Капчагаем?". "Нет, нет, там как раз все благополучно. но мой совет — не медлить! Вылетайте сейчас же!"

"Ну опять какая-то мышинная суетня,— подумал Ахметжанов,— кладя трубку и сразу же забыл обо всем. Перед выездом в Душанбе он только что вернулся из длительной и довольно долгой поездки по республике, и воочию увидел, какие огромные преобразования идут по всей древней казахской земле: он был полон бесконечными просторами степей, бескрайними пашнями, шахтами Джекказгана и Караганды — он видел, как двигаются, пыхтят, и ползут стадами железных динозавров землечерпалки и экскаваторы на прокладке канала Иртыш — Караганда. Скоро воды этой могучей седой реки хлынут в сухие карагандинские степи. Он походил по улицам городка горняков Саяка, в бескрайних степях Прибалхашья. Что перед ними были все подсиживания, телефонные звонки заместителей, какие-то неясные предостережения о чем-то? Какой воистину мышинной суетней показалось ему все это вдруг — мелочью просто, не достойной внимания. И отойдя от телефона он постарался поскорее позабыть об этом звонке.

А дело между тем обстояло совсем не просто. Кусепов слетал в Ташкент и вернулся оттуда мрачнее и чернее осенней ночи. Там у него состоялся очень неприятный и решающий разговор с Светловым. Как только

Андрей Иванович стал на место Его, одним из первых же его мероприятий было проведение регионального совещания с руководителями Среднеазиатских республик и Казахстана. Вопросов на повестке дня стояло много, были все они трудные, неотложные, поэтому говорили начистоту, без стеснения, и под конец совещания Светлов пригласил Кусепова к себе на личный разговор.

— Давайте теперь подобьем итоги, — сказал он, выслушав до конца все претензии и жалобы Кусепова. — Из нашего разговора я вижу, что вы сами отлично понимаете, какими разнородными человеческими качествами должен обладать руководитель такого многонационального гиганта, как Казахстан. Неувязки неувязками — но вы не можете не чувствовать, что именно таких качеств руководителя вам не хватает. У вас мало знаний, такта, опыта государственного масштаба, одним словом — умения руководить. Кроме того, вы еще несдержанны, вспыльчивы, обидчивы. Самое важное для вас — обязательно поставить на своем — а будет ли от этого польза, нет ли, — для вас это уже вопрос второстепенный, а в иных случаях и не вопрос вообще. Отсюда и большинство всех недостатков в партийно-хозяйственной работе республики, на которые вы сейчас жаловались. Выход один — вам надо перейти на другую работу.

Кусепов провел ладонью по лицу. Он еще до вылета в Ташкент предполагал возможность такого разговора и как мог, подготовился к нему. Но вот странность, он спросил — не на какую работу вы меня поставите, а кто будет на моем месте?

Ему было просто нестерпимо думать, что Андрей Иванович ему ответит на это: — Ахметжанов.

Кто угодно, только не он! В свое время Кусепов, конечно, сменил Ахметжанова, но то, что Ахметжанов теперь сменил его и наведет свой порядок, поставит своих людей — об этом он даже подумать боялся.

Но не в правилах Андрея Ивановича было бить лежачего.

— Подумаем, поищем, посоветуемся, — ответил он. — Спросим совета у коммунистов республики, авось они и подскажут что-нибудь стоящее, — и встал, показывая, что разговор окончен.

После возвращения в Алма-Ату Кусепов на другой же день собрал в своем кабинете самых близких друзей — Арипова, Айгакова, Ержанова.

— Так вот, товарищи, — сказал он, — вопрос о моем уходе предрешен. Но и это не самое главное. Надо во что бы то ни стало постараться, чтоб меня сменил не Ахметжанов, тогда ведь не только мне, но и вам придется туго.

— А что, его уже называли? — спросил Айгаков.

— К счастью, пока нет, говорилось, что будут искать человека и консультироваться с коммунистами республики. Вот за это нам и нужно ухватиться. Казахстан — республика многонациональная и поэтому нигде идея

дружбы народов не имеет такого решающего значения, как у нас. Отсюда и будем исходить. Национализм у нас еще имеется, изжить его до конца, скажем прямо, мы не сумели. Кроме всего прочего, этому мешали такие личности, как Ахметжанов. Значит лучше всего было бы, чтобы нашего руководителя прислали из Москвы. А кого — им виднее.

— Что ж, пожалуй, в этом рассуждении есть свой резон, — усмехнулся Айгаков.

— И даже очень большой, — поддакнул Ержанов.

— А что же, товарищи, наши-то кадры где? — попробовал вставить свое слово Арипов. Он видимо считал себя самой подходящей кандидатурой. Но на него жалостно посмотрели и он поспешно закивал головой.

— Да-да, вы правы. Москва сейчас на это не пойдет. Но какой же исход?

— Я думаю такой, — глубокомысленно сказал Кусепов. — Руководили республикой мы с Ахметжановым вместе, значит вместе и должны уйти. Мотивировка — укрепление руководства.

— Да уж мотивировку мы найдем, — махнул рукой Айгаков. — Но только действовать надо умно и быстро.

— Так что ты предлагаешь? — спросил Кусепов.

— Немедленно созвать расширенное бюро. Немедленно! Пока ни Ахметжанова, ни Естибаева в Алма-Ате нет. И не теряя времени надо начать подготавливать своих людей и принять соответствующее решение. А там — пусть попробуют переделать.

На том и порешили.

А приехав узнал, что в Алма-Ате бюро по докладу Кусепова и под его председательством постановило ходатайствовать перед Москвой о смещении товарища Ахметжанова как не обеспечивающего работу. На заседание были вызваны его заместители и, как видно из протокола, первым выступил Кусепов, затем Айгаков. Он умел говорить, как философ логичен. Айгаков сказал так: “Все, что мог дать Ахметжанов, он уже дал. Ждать от него больше нечего. Ахметжанов руководит — словно автобус ведет по хорошо проложенной трассе. — тихо, ровно, медленно, без толчков. Для шофера это хорошо, но для руководителя плохо, тут нужно дерзание, тревога за дело, а где они сейчас у Ахметжанова? Он засиделся в руководителях, пусть пойдет на практическую работу, там от него будет больше пользы. Я за то, чтобы снять!”.

Вот тогда один из первых заместителей Ахметжанова Орликов, пожилой человек, обвел глазами всех сидящих за столом. Все молчали. Опустив голову или смотрев куда-то в сторону, молчали. “Вот тебе и друзья”. — подумал Орликов и почувствовал, как ему стало жарко и душно, и сейчас же понял — это оттого, что Кусепов смотрит на него в упор. И от этого разозлился еще больше, провел рукой по наголо выбритой голове и почувствовал, как у виска под пальцами бьется жилка.

“И заместительница его тоже молчит,— неприязненно подумал он. Испугалась! Видит, сколько здесь собралось недругов! Ах вы! А еще вчера были лучшими друзьями! Ну она — ладно, она женщина, растерялась, смутилась, испугалась. Да и по правде, что толку, если она и скажет что-нибудь. Кто ее тут послушает? Но вот другие, другие...

— Так кто желает еще высказаться? — спросил Кусепов. Они встретились глазами. “Ну давай, давай,— как будто говорил этот его взгляд,— выступай, выступай! Или тоже смолчишь?”. “Ну нет, не на такого нарвался,— злобно подумал первый заместитель и поднял руку: — Разрешите мне! Я буду голосовать против снятия Ахметжанова. Он ценный работник. Никто из нас его заменить не сумеет. Освободить его сейчас — накануне разворота таких больших строек как Экибастуз, Капчагайская ГЭС — это просто безумие!

— Так,— сказал Кусепов насмешливо,— все или еще будете говорить?

Он знал, что этот человек обязательно будет говорить еще, может быть, один против всех. Был этот первый заместитель Акылбека уроженец Украины, а в Казахстан попал чуть ли не юношей по призыву двадцатипяти-тысячников. Побывал он в свое время и в директорах МТС, и в секретарях райкома, а во время войны даже заведовал сельскохозяйственным отделом ЦК. В последнее же время он работал с Ахметжановым и вместе с ним ушел из ЦК, чтобы стать его первым заместителем на новом месте. Он изъездил весь край, много видел и знал. На его глазах полупустыни Казахстана стали одной из житниц Советского Союза и все, что он делал, он делал вместе с Ахметжановым, поэтому понимал его с полуслова. Хотя именно манера работы Акылбека, ее спокойный размеренный ритм давались ему с трудом. Внешне он был грубоват, иногда излишне резок — видно в нем еще не перебродил старый двадцатипяти-тысячник, командир полей, часто решающий вопросы штурмовщиной и объявлением аврала. И в то же время он был человеком чистым, добрым и принципиальным.

Несколько секунд они молча смотрели друг на друга.

— Так,— сказал Кусепов,— значит, вы возражаете. Заносим это в протокол. Больше, кажется, никто не собирается выступать? Отлично. Голосуем.

Проголосовали и решили просить Москву освободить товарища Ахметжанова, а на его место рекомендовать товарища Ержанова. Тот встал, кланялся и благодарил.

— И вы его подняли прямо из шахты, сказал Акылбеку его первый заместитель, оканчивая свой рассказ.— И вот чем он вам отплатил.

Акылбек слегка развел руками, как бы показывая, что тут уж он ни при чем. (“Черт догадал меня связаться с этим Кусеповым,— говорил потом тот в минуты откровенности,— работал я тихо, спокойно, место имел не такое уж маленькое, и вот попутала нечистая сила”). Впрочем, нечистая сила была не одна — вокруг него собралось несколько таких сил — сам

Кусепов, затем Баранов, Айгаков и Арипов. Уговаривали, льстили, обещали сделать чуть ли не первым человеком республики. А человек по природе слаб, равнодушен к почету — вот и поддался он и пошел против своего товарища, все время отлично сознавая, что это нехорошо).

Ахметжанов пожал плечами.

— Ничего,— сказал Акылбек.— Он парень дельный. Пусть посидит на моем месте, поработает. А я верно уж действительно не гожусь, устал...

— Так как же с заседанием совета? — спросил первый заместитель,— оно назначено на завтра, может отложишь?

— А что, вы думаете нескромно что-то решать на кануне такого события,— поднял на него глаза Ахметжанов.

— Да, я бы так думал,— пожал плечами первый заместитель.

— Чепуха, дорогой! Чепуха! Я буду тут или не я, а Капчагай все равно строить придется. От перемены мест слагаемых сумма не меняется. Это же арифметика. Как было объявлено, так и соберемся. Обсудим и пошлем проект. Москва ждет.

И на мгновение он подумал: А что? Если восстать против них и послать письмо в Москву? Там ведь меня больше знают! Бороться, как борются в таких случаях все люди? — Потом как-то укоризненно улыбнулся. — Нет это не годится! Будет очередная мышиная возня. В Москве без меня дел хватает. Лучшая форма борьбы — работать, работать, работать! Так поступают коммунисты. А те пусть возьмется. Что плохо — все равно вылезет наружу. И им придется познать на себе эту народную мудрость.

Вот в это время секретарша и доложила об Айболе.

— О, просите, просите,— оживился Акылбек.— Давно он просится. Послушаем, что скажет. Писатель это хорошо! Он наш глашатай, наша совесть — писатель-то! Послушаем, что же он скажет.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Самая трудная профессия в мире,— думал и говорил о своем ремесле Айбол,— это быть писателем. Тут уж нет никакого прикрытия. У полководца — армия, у ученого — лаборатория, сотрудники, у артиста — режиссер и зритель, а тут ничегошеньки, чистый лист бумаги и ручка. Вот мое поле сражения, вот и армия. Собирайся с силами и иди в наступление. И если есть настоящая сила-то наступают и завоевывают. И многое завоевывают, столько подчас забирают, что не под силу любому полководцу. Весь мир завоевывают. Не кистью, не звуками, а пятикопеечной ученической ручкой и листом бумаги. И как завоевывают! Напрочно навсегда! Так что ни время, ни пространство уже не властно над завоеванным. Как это у Баратынского,— Все мысль да мысль! Художник бедный слова

О, раб ее -- тебе отрады нет;

Все туг и туг, и человек, и свет,

И жизнь, и смерть, и правда без покрова.
Орган, резец и кисть! Счастлив, кто влеком
К ним, чувственным, за грань их выступая.
Есть хмель ему на пиршестве земном,
Но пред тобой, как пред нагим мечом,
Мысль — острый луч — бледнеет жизнь земная!

Вот, лучше и короче не скажешь. Ничего у меня нет, кроме мысли и слова, но ими я покорю все: и время, и пространство, и смерть, и жизнь. Были бы только силы и уменье.

— А великие ученые,— спрашивали его,— разве они тоже не покоряют время и пространство? Например, Эвклид, Ньютон, разве они не остались навеки в памяти человечества?

Он усмехнулся.

— Именно в памяти. И только в памяти. Был Эвклид, была Эвклидова геометрия, пришел Лобачевский и открыл неэвклидову геометрию. А Гомера-то и сегодня читают и чтут как современника. Был Ньютон, создал теорию всемирного тяготения, пришел Эйнштейн со своей теорией относительности, и открытие Ньютона оказалось уже частным случаем этой теории, честь им и хвала, но они — история — история человечества. А вот современник Ньютона — Джонатан Свифт, это уж мой современник — его не только чтут, но и читают, переиздают, экранизируют, иллюстрируют, любят. И так везде. От ученых остаются имена и открытия, то есть история, а Лев Толстой, Гомер, Пушкин и Шекспир — это не история, а книги, кинематограф, сцена, то есть это часть меня самого — моего бытия. И чтоб достигнуть этого, писателю нужно только одно, но труднейшее — быть хорошими современниками. Потому что хороший современник своего века — это современник и всех грядущих веков.

— Так он говорил, а сам-то был всего-навсего автором нескольких тощих стихотворных сборников и одной автобиографической повести “Легенда о человеке”.

Стихи ни денег, ни славы ему не принесли, а за повесть его даже здорово выругали. Разругал его тот же философ, он назвал его повесть вещь безыдейной, вредной, искажающей советскую действительность. И сравнил ее с такой же безыдейной и искажающей советскую действительность книгой “Не хлебом единым” писателя Дудинцева. Все это было, конечно, не больно утешительно, но Айбол духом не падал.

Он просто не мог уже не писать.

И не писать именно то, что он задумал.

Именно вот так, “пиши только о том, о чем ты не можешь не писать”, — советовал Маркс.

Айбол тоже думал так же.

Он должен был писать о времени и о себе.

А время, когда он начинал, было трудное — сейчас историки об этом времени говорят так: “это был период, когда под флагом борьбы с буржуазным национализмом началось гонение против изучения истории и историков братских республик”.

Вот историю своего народа и изучал писатель Айбол.

Он видел его путь, знал каким он был страшным и кровавым и чувствовал трепетную благодарность к тем великим сынам его, которые не задумались положить голову за его счастье.

Короче — Айбол любил свой народ.

Любил его — и все!

Конечно, и этого было еще мало, ибо можно быть динамитом и никогда все-таки не взорваться. Но Айбол знал, что он все-таки не такой.

И членский билет Союза писателей, который он носил в кармане рядом с партбилетом, отнюдь не был для него формальностью.

Он знал, что будет писать.

И напишет свою книгу.

Может, единственную. Но она будет и единственной в литературе; пусть не особенно яркой, пусть даже посредственной, но такой, которой кроме него никто написать не смог бы.

Писатель, если он не эпигон, не однодневка и не просто любитель остренького, — всегда неповторим и единственен.

На него никто не может быть похож. Вот это и есть самое главное — быть неповторимым.

И Айбол сидел над книгами ночами, писал, зачеркивал, снова писал и понемножечку доходил до главного.

Перед ним уже начинали вырисовываться абрисы будущего произведения.

А прошлое его не было легким.

Все было в этом его прошлом: беспризорничество, детский дом, институт, армия, война, ранение, демобилизация, работа в директивных органах республики, переход на работу в искусство.

Затем громкое дело и исключение из партии. Вернули ему партбилет только через три года, и тогда он стал работать в издательстве. Затем перешел в киностудию.

И почти сразу же налетел на камень, лежавший поперек дороги.

Вернее, это был даже не камень, а глыбина.

Огромная, тяжелая, нелепая и коряжистая громадина.

Таким писатель Айбол представлял себе руководителя казахской киностудии некоего Лястунова.

Это был человек властный, грубый и не больно умный. Его перебрали с Урала после того, как скончался до этого работавший директор студии. Потом на этом посту перебывало несколько бывших министров, никакого отношения к кинематографу не имеющих.

Логика, видно, у начальства была такова: если ты справлялся с министерством, то с одной студией и подавно справишься. Ничего хорошего из этого, понятно, не вышло — и вот вызвали специалиста, директора студии.

Он приехал, сел на это место и начал кроить все по-своему.

Айбол один из первых почувствовал его медвежью хватку.

Он тогда работал редактором и выступил с критикой творческой и производственной линии руководства студии. И скоро Лястунов уволил его по сокращению штатов.

Сокращение штатов — формулировка емкая, под нее все и вся можно подогнать!

И Айбола сократили.

Как говорят казахи — где припаять ушко к казану, то мастер знает сам. А ведь у Айбола уже был один прокол. Ругательская статья того Айгакова о книге “Легенда о человеке”. Можно было, конечно, протестовать, подавать заявления и, может быть, чего-нибудь даже и добиться, но писателю вдруг все внезапно осточертело, он плюнул и засел за роман. За большой исторический роман, материал для которого он собирал уже несколько лет.

У него не было заработка, не было сбережений, у него ровно ничего не было, даже денег на оплату машинистке.

Но он все равно писал.

Аллах ведает, на что он надеялся — ведь у него была жена и четверо детей. Если бы его роман зарезали, как Лястунов зарезал, один против всего худсовета — его сценарий, — он очутился бы на грани чуть ли не жизненной катастрофы.

— Ну, появился, пропавший! — сказал Акылбек Айболу, вставая, — так садись, садись.

Айбол присел к его рабочему столу, а сам хозяин смотрел на него ясным улыбающимся взглядом.

Здесь было очень светло, просторно и солнечно. Снежные вершины Алатау находились прямо перед ними.

Горы, как два сизых мощных крыла, взлетали над городом и обнимали его с обеих сторон.

Отсюда Алма-Ата казалась прозрачной, легкой, почти светящейся. На город спустилась тихая южная осень — самое начало ее — и нежно-золотистая садовая листва еще четче и ярче подчеркивала темную, почти черную зелень тополей. Они как стражи стояли над городом от самых гор до степных окраин.

В садах, на площадях и вдоль улиц ярким веселым огнем полыхали канны.

Целый газон роз лежал у подножья памятника Ленину. И везде, куда ни взглянешь, взгляд встречал ажурные леса строек. А тут еще из-за легких тучек вдруг прорезалось солнце, и город сразу вспыхнул и засиял.

Оба они с минуту глядели на открывающуюся перед ними панораму.

— Хорошеет наш город,— сказал Акылбек и засмеялся. Засмеялся не от чего-нибудь, а просто так, от того, что уж больно хорошо ему было отсюда глядеть на эти стройки, горы, сады, фонтаны и площади. Ведь немалая капля и его трудов была вложена в это все.

“Да, его просто так не сломишь”,— подумал Айбол и сказал:

— А знаете, мне жалко его, прежний наш город. Я ж его помню совсем другим. Смотрите сколько натыкано тут спичечных коробок. Стоят в ряд, как фабричные корпуса. А под ними ни травинки, ни деревца, гладкий мертвый асфальт, то есть застывшая черная смола с галькой. Нет, это не красота, это просто цивилизация. А одной цивилизации человеку ведь мало.

— Ну да,— улыбнулся Ахметжанов,— старая песня: все уходящее кажется нам красивым...

— Может быть, может быть,— согласился Айбол,— но все-таки и Азирбаев не случайно умер от рака. Он ведь был энергетиком — ТЭЦ строителем, и всю жизнь дышал этими адскими смолами.

На лицо Ахметжанова набежала легкая тень.

— Да, Азирбаев, Азирбаев! Потеряли мы хорошего человека. Это уж верно.

Айбол молча кивнул головой. На фоне этого блеска и сияния чуткого трепета листьев и безграничного простора ему вдруг представилась узкая затененная шторами московская комната, исхудалый человек в кресле, желтая костлявая рука его, пузырек на столе, тошнотворный запах спирта и лекарства.

С минуту оба молчали. Но тут снова еще ярче и прямее блеснуло солнце, еще моложе и зеленее засверкали сады, и тень сбежала с лица Ахметжанова.

— Да! Ну, а насчет коробок ты, пожалуй, сильно загнул, снова заговорил Ахметжанов, вдруг переходя на “ты”,— то есть не то что загнул, а посмотрел на них только с одной стороны, самой для них невыгодной. Ты вот старожил Алма-Аты, ты еще ее какой помнишь?

— Да очень красивой и хорошей я ее помню. Тут альпийские луга доходили до площадей и улиц. Весь город пахнул яблоками. Вот мы уже забыли, какой тогда был апорт, а был он вот ведь! — он показал сложа свои два кулака,— и то будет мало. Верных два фунта! И стоил воз таких яблок тогда два рубля. Пару целковых, как тогда говорили. И везде текла вода, не та, мертвая, убитая хлором, что бьет сейчас из наших фонтанов, а чистойшая, прозрачная, бегущая из-под самых облаков. К вечеру арыки вздуваются, режут,— это тают ледники и наполняют их доверху. А в центре города, в сосновом парке пели соловьи, кричала иволга. И в роще Баумана тоже пели соловьи. Да разве это роща была? Лес настоящий, шишкинский лес это был, только вот медведей не хватало. А дикие козы — те туда

заходили. А воздух? Ну разве ты его сравнишь с нашей смесью бензина и раскаленного асфальта. Нет, раньше наш город был урюковым, яблоневым, вишневым садом. А арыки журчали в нем, как ручьи по камням, а сейчас они молча ныряют в асфальтовые норы. Да и не слышали бы мы их журчания — вот какой тарарам стоит в городе! Сирены, гудки, звонки улицу нельзя перейти. Все — эти машины, пешеходы, трамваи, автобусы лезут, лезут друг на друга — чуть засмотришься и сразу очутишься на асфальте.

— Да! А раньше ишачки ходили и арбакеши возили, — усмехнулся Акылбек. — Помню, помню. Смешные они такие были, с длинными ушами, как у кроликов. Да, было, было. Но вот я тебя другое спрошу — ты в каком сейчас доме живешь? В светлом, просторном, с огромными окнами, так? Газ, электричество, водопровод, так? Не бегаешь чуть заря с ведрами к колонке или арычку? Ну и согласился бы ты переселиться в прежнюю халупу? Ну, пускай не в халупу, но в тесную узкую сырую комнату с крошечными окнами и копотью на потолке? Готовить на керосинке, ломать саксаул у глыбины каждый день Согласился бы? Вот в том-то и дело, что нет! Спичечные коробки коробками, тыкать их как попало нельзя — об этом спору нет. Зелень необходима, простор необходим, сады тоже необходимы. Вот те самые, о которых ты вспоминаешь — с цветами, птицами, запахом яблонь и урюка. Подожди, все это будет. Мы природу в обиду не дадим, не забьем ее камнями, нет, нет. Но люди сейчас не хотят ютиться в лачугах, и они имеют на это право. Заслужили его. Раньше четыре этажа были для алмаатинца, а тем более вереница — диковинкой, а сейчас нам без спичечных коробок, то есть высотных зданий никак не обойтись! Нас сейчас здесь уже почти миллион! И конечно, пока все это — и асфальт, который ты так ненавидишь, сирены и выхлопные газы — будет существовать. Что поделаешь? Вот думаем, как все это привести к норме, но пока не больно это получается. Знаю это, но ведь и все имеет какую-то свою очередность. Подожди, дойдет очередь и до соловьев!

— Когда до них дойдет, их уже не сыщешь нигде, — махнул рукой писатель. — Высотные дома, асфальт, машины, десяток тысяч такси — ну разве это человеку нужно, а?

— И это человеку нужно! — твердо кивнул головой Ахметжанов. — И высотные дома, и транспорт. Он сядет в машину и через пять минут будет карабкаться по скалам или ходить по березовой роще. Это тоже забывать не нужно. Прежний алмаатинец был этого начисто лишен. Но самое главное — не это, самое главное в том, как сочетать то и это. Воздух и камень, зелень и асфальт. Тут нужны сложные и мудрые архитектурные решения. Тут нужны талантливые люди. Ты знаешь, как я радуюсь, когда вижу, что на месте пустыря вдруг возникло красивое стройное легкое здание? Вы ведь меня не даром окрестили Акылбеком — строителем. Есть за мной такой грех. Люблю нашу новую социалистическую цивилизацию, хотя вижу

и все те опасности, о которых ты говоришь. Тут ведь вот еще какая беда. Ведь нам мало строить красиво — надо строить еще и прочно. Ведь мы не Москва и не Калуга, а Алма-Ата, и поэтому стоим не на равнине, а в предгорьях Алатау.

— Да, беспокойный район,— кивнул головой Айбол.— Угрожаемый, как говорят сейсмологи.

— Ах, если бы только это,— вздохнул Акылбек.— Нет, с этим мы справляемся как раз неплохо. Выработали особые методы строительства. Освоили новые материалы и конструкции. Да и опасность эта удаляется от нас, как говорят ученые, куда-то на запад. Ведь центры-то перемещаются. Все течет, все меняется.— Он улыбнулся.— Тут другая гадость, ну-ка пойдем к карте,— он подошел к стене и отдернул занавеску.— Вот,— сказал он, показывая палочкой на резко очерченный район возле Алма-Аты.— Вот главная опасность. Видишь, высота указана: три тысячи триста семьдесят метров — зона вечных Тяньшанских ледников. Вот тут, в зоне морены и есть озеро Туюксу. Вот оно. Замкнутое, глухое, а объем его ни много ни мало, пять миллиардов кубометров. Даже представить себе трудно, что это такое. Так вот все это в один прекрасный летний день может обрушиться на город. Я был в этих местах, смотрел. На первый взгляд только лед, снег и камень. Ничего живого. Все окостенело. А потом тебе покажут отметки. Вот тут глетчер сполз еще на пару метров, вот тут он поглотил целое поле гальки или пласт глины. И ползет, ползет, как черепаха. Впитывает в себя песок, камешки целой глыбины, мешает их, переваривает, и опять ползет, ползет. Пока это не опасно, лед ведь тот же камень, но когда он растает, то превратится в моренное озеро — в жидкую ползучую грязь! Вот это озеро уж и на день нельзя выпускать из виду. И не выпускают. Этот год был особенно жарким, и озеро Туюксу заполнилось почти до самых краев. Если бы жара такая постояла еще с недельку — быть бы беде! Мы уж приготовились ко всему. Но на этот раз как-то пронесло стороной. А то бы с высоты четырех километров на город обрушилось бы несколько миллионов тонн жидкой грязи и камня. В лучшем случае снесло бы полгорода. Помнишь 1921 год? Никто тебе об этом не рассказывал?

Ну, конечно, Айбол об этом слышал, рассказывали старики. В тот год стояло особенно жаркое лето. Таяли ледники и вздувались, заливая берега, мелкие городские речонки — Малая Алмаатинка, Весновка, Поганка. Так было до восьмого июля. Первый вал прогрохотал далеко в горах в восемь часов вечера. А сама беда обрушилась на Алма-Ату в полночь. Мощнейший грязевый поток в двести метров шириной двинулся по запаханному и засохшему руслу Малой Алмаатинки вдоль больших прямых магистралей — город имел в то время строгую геометрическую планировку и состоял из правильных прямоугольников — вот по одной стороне этого прямоугольника — улицам Карла Маркса и Красина — и покати

грязевый вал. Две других его ветки пошли — одна на запад, другая — по руслу крошечной пересыхающей в жаркие дни реки Весновки. Разрушение было ужасным. По оценке профессора Корженевского, сейчас его именем назван один из ледников. В первые же часы на город было обрушено столько камня, что его хватало бы для загрузки двух с половиной тысяч товарных составов. Все, что лежало на пути потока, просто переставало существовать. Так продолжалось всю ночь, а наутро начались спасательные работы. Возглавили их местные коммунисты, как раз здесь в то время проходила партийная конференция. Но только 13 июля Владимир Ильич получил телеграмму, что город спасен. А дома, занесенные илом до окон, и глубины на улицах можно было видеть и 20 лет спустя.

— Так что? — спросил Айбол, его пробрал мороз по коже, когда он вспомнил это все, — так и будем смотреть ледники и гадать на бобах: либо пронесет, либо нет?

Ахметжанов молчал и что-то думал.

— Черт знает что, — продолжал Айбол, — в космос летаем, атомные ледоколы создаем, на морское дно опускаемся, а у себя на земле навести порядок не можем. Эх!..

— Да, дорогой, это иногда и оказывается самым трудным, — улыбнулся Акылбек. — Вот спорим и ни до чего окончательно dospориться не можем. Каждый остается при своем. Потому что “рак пятится назад, а щука тянет в воду”. Сколько раз я вспоминаю дедушку Крылова! Ах, умный старик! Дело в том, что основной источник опасности давно обнаружен и детально исследован. Это ледник Туюксу. В его морене родился сель. Вот поэтому первый проект заключался в том, чтобы создать перед городом систему заграждений, то есть так называемых селевых ловушек. Но потом выяснилось, что этого явно недостаточно. Ловушки могут только задерживать поток, сбить скорость но не больше.

— Так что же нужно?

— Плотины! Гигантскую, не имеющую себе равных! В урочище Медео рядом с высокогорным катком должна вырасти крепостная стена на 80 метров высоты. На нее уйдет четыре миллиона кубометров скальной породы, только вот беда-то! — это потребует несколько лет, а опасность возникает каждое лето. Строить же и не достроить нельзя. В случае сели весь этот камень тоже обрушится на город. Значит, стена непременно должна быть достроена! И тут выход один — направленный взрыв!

— Ого! Айбол был инженером и понимал, что это значит, — но чтобы образовался такой заслон, сколько же потребуется аммонала или тротила? Даже и не представляю...

— Вот то-то и оно-то, — покачал головой Ахметжанов. — Необходимо, но и рискованно до крайности. А вдруг взрыв разбудит сейсмические силы? Ведь мы о них ничего не знаем. А вдруг... но тут много всяких “вдруг”.

— Так как же?

— Да вот решаем как. Советуемся, консультируемся, приглашаем ученых. Вот привлекаем академиков: Садовского, Лаврентьева, словом, изучаем. Но вся беда опять-таки в том, что времени у нас нет. Нет его! Каждое лето, да нет, каждый жаркий день может привести к катастрофе. Этот проклятый Туюксу спать мне не дает. Нет, совершенно серьезно. Как вспомню о нем ночью, так и сон как рукой сняло. Лежу целую ночь с открытыми глазами.

А Кусепов еще под вас где-то роет,— вырвалось у Айбола.

— Ну что Кусепов,— слегка поморщился Акылбек.— Кусепов это так... Это не серьезно! Это... — зазвонил телефон.— Минуточку,— сказал Ахметжанов и поднял трубку.— Да, слушаю,— сказал он.— Да, да. Мы уже с вами об этом говорили. А проект решения вами уже подготовлен? И то, о чем с вами договаривались, туда включено? Отлично, тогда жду проекта постановления. Безусловно. Я говорю, безусловно согласен. Хорошо, хорошо, приветствую! — он опустил трубку и нажал звонок. Вошла секретарша.— К вам сегодня поступит решение Министерства геологии о глубоком бурении в Мангышлаке. Так вот прошу: передайте отделу от нашего имени, пусть немедленно приготовят все к докладу на бюджетной комиссии. Нужные бумаги они им пришлют. И после сразу же их ко мне на стол.

Секретарша что-то записала, кивнула и вышла. Ахметжанов посмотрел на писателя.

— Да, дорогое это дело, но ничего не поделаешь, приходится.— Он посмотрел на Айбола.— Это все по геологической части. Подсчитано, что запасов нефти хватит на всей планете на сто, ну на сто двадцать лет. Хорошо?

— Это при современном методе бурения? — спросил Айбол.

— Да, конечно, то есть при среднем бурении. При глубоком, сроки, конечно, существенно увеличатся. Так вот уже сейчас приходится идти и на такое бурение. А тут каждая скважина на глубину четыре — пять километров стоит от трех до четырех миллионов рублей. И ничего не поделаешь — платим!

Три-четыре миллиона,— удивился Айбол, этих цифр он не знал.— Здорово!

— Чего же здоровей! А такие металлы, как вольфрам, молибден вообще уж на исходе. И все! И крышка! Что тогда будем делать?

— Что-нибудь придумаем — сказал Айбол.

— Только на это и надежда. Но вот ведь что обидно: сами мы во всем виноваты. Вот говорил я с археологами. Когда-то в наших степях жил такой народ чуд. О нем, кажется, есть что-то и в “Слове о полку Игореве”. Так вот наши ученые нашли их разработки. Знаешь как они добывали медь? Они высасывали ее до капли, и наряду с богатыми жилами разрабатывались породы с ничтожным содержанием металла. Это тогда, на заре культуры! Когда запасы были практически не ограничены! А мы и теперь имеем дело только с теми рудами, в которых меди не менее семи процентов. А

о рудах с меньшим содержанием и говорить не хотим. Как это назвать? Только хозяйственным преступлением. Так работает наше Министерство цветных металлов. Это при нашем-то плановом социалистическом хозяйстве! А вот запад... ох, доживет он до беды, очень скоро доживет! Грянет такой энергетический кризис, что они все свои леса, все свои великолепные национальные парки повырубают!

— Ну уж,— посомневался Айбол.

— А что ж им останется делать? В самых крупных капиталистических странах, кроме Америки, нефти нет совсем. Пятьдесят процентов идет к ним с Ближнего Востока. А там нефть добывают и расходуют варварски, только что не пьют. Правда, и у нас с эксплуатацией нефтяных месторождений тоже не гладко. Проектируем в будущем на Мангышлаке сорок два процента извлечений. А пятьдесят шесть процентов остается задаром под землей. А ведь запасы нефти как невелики, а все равно она величина конечная. Вот и танцуй отсюда. Нет, нет, кризис за рубежом неизбежен. Пожди еще лет десять — пятнадцать...

— Если доживем,— улыбнулся Айбол.

— Да, если доживем,— серьезно подтвердил Акылбек.— Для меня эта оговорка с каждым днем становится все существеннее. Такая ерунда с сердцем творится...

Снова зазвонил звонок. Акылбек взял трубку и сразу посерьезнел.

— А по какому вопросу? — спросил он вдруг,— неизвестно? Хорошо! Да. Сегодня же! Сегодня с ночным рейсом. И вам спасибо тоже. Благодарю,— он положил трубку.

— Говорила Москва. Что-то важное, и срочное. Просят захватить отчетные материалы.— Он встал,— так что прости, дорогой...

Встал и Айбол.

— Ну доброго пути. Возвращайся только с хорошей вестью.

Хорошую весть Айбол услышал ночью следующего дня: в связи с состоянием здоровья Он освобожден от занимаемого поста. На Его место избран Андрей Иванович Светлов.

Вскоре после того, как Ахметжанов вернулся из Москвы, Айбол позвонил секретарше и просил принять его. Ахметжанов ответил, пусть зайдет в любое свободное время. "Ну хотя бы завтра". Айбол пошел. Ахметжанов принял его как только отпустил очередного посетителя. Был он в отличном настроении и высокий, красивый, весело шагал по кабинету, смеялся, громко спрашивал и громко отвечал.

— Ну, проходи, усаживайся! — сказал он, увидев Айбола.— Рассказывай, как дела.

Поговорили сначала о жизни и делах кинематографических, потом о жизни и делах литературных, затем разговор само собой соскользнул на

то, кого Айбол видел, и о чем говорил, и тут вдруг у писателя как-то само собой вырвалось:

— А вот я хотел спросить вас, Акылбек Ахметжанович...

Он вовремя спохватился и не окончил.

Но Акылбек был весел, добр, расположен к разговорам и всяческой откровенности, и поэтому даже подтолкнул его:

— Говори, говори, я слушаю.

— Я в тот раз был у Азирбаева,— проговорил тяжело Айбол и опять остановился.

— Да? — лицо Акылбека сразу стало серьезным и как будто даже потемнело.— Да говори ты, говори!

— Он был очень болен, Акылбек Ахметжанович...— Айбол говорил не глядя на Акылбека,— он сидел на кровати, опираясь на подушки. На столе стояли лекарства, а рядом лежала повестка от прокурора с вызовом в Алма-Ату. И я подумал: как же так? Он и шагу ступить не может, а его вызывают на следствие. Зачем?

— Да!

Акылбек встал и прошелся по комнате.

— Да,— повторил он,— незачем. Ну-ка рассказывай мне все.

И Айбол подробно рассказал о встрече, о разговоре с умирающим, и даже о словах его, как это Акылбек не мог отстоять его от Курбатова.

— ... И мне было так жалко Азирбаева,— закончил свой рассказ Айбол,— ведь он честный, хороший человек, а умирает с таким тяжелым камнем на сердце! И никому из его бывших друзей нет дела. А ведь сколько их у него было! Курбатов! Да кто такой Курбатов? Он мизинца его...

— Да, да...

Акылбек еще походил по комнате, подошел к окну и распахнул его.

— Все это так, дорогой. И вполне возможно, что Курбатов действительно его не стоит. Но беда-то в том, что честный еще не значит невиновный. Сидя за этим столом в этом кабинете я так рассуждать никак не могу. Да нет, просто не смею. Иначе мы через год пустим наше хозяйство по ветру. Там не доглядел, там прошляпил, а трудовые денежки — фьють — и полетели на ветер. Вот в чем дело! По воле паруса ветер-то не подует. Ну, тут, конечно, другое — вина вине рознь. Вот что у нас начисто забывают или просто не желают помнить. Вот тогда все и случилось с Амиржаном. Хочешь спросить: где же ты был? Я, ясно, был здесь, в Алма-Ате, и сразу же вмешался, но тут же понял, что сделать, несмотря на свой пост, ничего не могу. И отошел, конечно. Всем же командовал Черняев, все распоряжения давал он — ему стоило только моргнуть, и все происходило как бы само собой: Большой Человек! Как же! А я что? Да ничто! Может быть, даже отрицательная величина для некоторых. Ведь мое заступничество за одного — я говорю про дело этого несчастного Соловьева — сделало толь-

ко то, что за него поплатился другой, совершенно посторонний человек. а я-то остался в стороне. Но все равно я не хочу снимать с себя полностью вину. Наверное, что-то все-таки можно было сделать.

— Например, наверное, можно было его товарищу “К” подойти к телефону!

— Да, это, конечно, прежде всего! — он вздохнул.— Но в тот день, когда он звонил, действительно его товарища “К” не было дома. Я позже выяснял. А потом... Ну потом уже было поздно. Ладно, теперь уж ничего не исправишь. Ты лучше скажи о себе. Как у тебя дела? Я слышал, что и у тебя был свой Курбатов. Как его фамилия-то?

— Кокжалов! Да нет, что я? Я пока еще умирать не собираюсь. И не этому деятелю свести меня в могилу. Да его аллах и без меня уже наказал. Вы посмотрите на него, у него лоб питекантропа, походка и стать гориллы, а язык как у бешеной собаки: говорит и брызжет. Есть какая-то старая немецкая сказка, в ней из уст злодея вылетают не слова, а жабы. Толстые, рыхлые, могильные жабы. Вот это точный образ Кокжалова на трибуне. Вот он на меня и налетел. А министром госбезопасности был тогда Шубин, и прокурором Курбатов. Они меня и съели. Вы их обоих знаете.

— Обоих знаю,— улыбнулся Акылбек.— Шубин куда-то исчез, а Курбатов недавно ко мне приходил. Насмотрелся я на него! Весь трясется, челюсти ходят, заикается, его, кажется, паралич недавно хватил. Знаешь, смотрю я на него и ощущаю два чувства: острая жалость и нестерпимое отвращение. Ведь с чем он ко мне приходил — удивляется, почему в городе стало тихо и мирно, почему не скажет, почему не видно преступников. “Присмотритесь! Вы, пожалуйста, присмотритесь!”. Вот такой тип. Ну, а твой шизофреник — он что жив сейчас? Я его знаю?

— Может быть знаете... Но если увидите, сразу узнали бы. По лицу все видно. Про подобное лицо Герцен однажды сказал: “Какой великий художник — природа! И поместил этот портрет в “Колокол”.

— Ты сейчас о нем говоришь, как о каком-то Калибане — шекспировском персонаже.

— Да, он есть персонаж трагедии. И с этой стороны он тоже интересен. Трагически интересен. Да шайтан с ним, не думаю я о нем, и даже о том, что он мне хотел перепилить горло тупым ножом — тоже не думаю! Тут я согласен с вами. Он же садист, изувер, любит мучить людей любыми путями — это какая-то патология. И еще он любит говорить о том, кем он был и кем стал. Вот, мол, какого исполина свалили! И все должны, по его мнению, о нем плакать. И говорит об этом ведь с упоением, с наслаждением, забывая все. И это еще в спокойном состоянии. А не дай бог его рассердить! Все разнесет! Я! Я! Все я! Если бы не я, свету бы не было. Ну, как тот петух, что орет на заре и думает, что проспи он и дня не будет.

— Я вижу ты о нем говорить спокойно не можешь,— покачал головой Акылбек.— Не надо. Люди у нас не плохие. Это же прошлое. А вообще-то отстояли же они тебя.

— Да,— кивнул головой Айбол, сразу спадая с тона,— и не один раз даже, а трижды. В первый я был ранен и лежал совершенно беспомощным, даже ногой двинуть не мог. А в этом месте засел немецкий снайпер и бил точным прицельным огнем. Так вот меня вытащили с поля прямо на его глазах. Ну, понятно, солдатская выручка, чувство локтя. Но и в лагере был такой же случай: меня бандиты зарезать хотели — там ведь это быстро делается: раз, два и нет человека. Так вот, два человека поднялись, пошли против всей шайки и это ведь, пожалуй, пострашнее, чем вытаскивать раненого под снайперским огнем. И, наконец, вот третий случай. Самый для меня тяжелый. Отобрали партбилет, предложили вступать на общих основаниях. Это значит, вся моя жизнь была перечеркнута... Я уже совсем терял голову, но товарищи помогли. Вот он в особенности,— и Айбол кивнул на большой портрет Светлова на стене.— Вот ему-то я обязан больше всего. Если бы не он...

— Разве он восстанавливал тебя в партии? Вот не знал,— удивился Акылбек.

— Да! Он! Он тогда вторым работал. Это было в 1954 году. Ох как я помню этот день. До мельчайших подробностей его помню!

— Ну еще бы! — вздохнул Акылбек.

— Да, конечно! Ведь на меня до того смотрели как на помилованного преступника: нигде не печатали, да и что было печатать? Стихи? А какие стихи я мог тогда написать? О чем? Занял деньги, съездил в Москву, везде ответ один: “Вступайте в партию сызнова, но, конечно, сначала надо это заслужить”. Так ведь я ли не заслужил — был октябренком, был пионером, был комсомольцем, перед самой войной стал партийным — и все это забыть? К тому же безработица, вконец расшатанные нервы. И вот начал я тогда пить, приходит домой шатаясь. Жена плакала,— у Айбола на глазах показались слезы.

— Слушай, не надо об этом,— сказал мягко и решительно Акылбек,— слышишь, не надо! И так все ясно. Ты дальше! Дальше!

— Ну дальше... Дальше Нурахметова сняли, приехали в Казахстан другие люди. Повеяло чем-то новым. Вот я осмелился снова обратиться в ЦК, хотя и не особенно верил в успех. Заявление приняли, вызвали меня в Секретариат. До смерти не забуду этого дня.— Айбол опять замолчал. Акылбек сидел, глядя на крышку стола и машинально барабанил пальцами.— Собрались тогда все секретари, заведующие отделами, работники ЦК. Председательствовал Второй Светлов. Он был подтянут, спокоен, немногословен, посмотрел на меня и сказал сидящему рядом Султану Мендыгалиеву:

— Ну, пожалуйста. Слушаем.

Тот был заместителем председателя ЦКК и мое дело знал хорошо. Он рассказал о его сути и зачитал заключение коллегии. Был он худощавый, нервный, бывший фронтовик, и докладывал по-военному четко, ясно, без лишних слов. Когда он закончил, Второй посмотрел на секретарей и нахмурился. “Теперь у меня вопрос лично к вам, товарищи. Вы-то что делали? Куда смотрели? Ведь вот, как сейчас выясняется, все построено на пустом месте. Ведь не растрата же тут, а какое-то недоразумение. И за эту чепуху берут молодого человека, инвалида Отечественной войны, обвиняют черт знает в чем и выбрасывают из партии. А вы-то что? Вы-то где были?”

Ну тем, конечно, неудобно стало, говорят, мы не присутствовали. да и власти у нас такой не было. Тут Второй еще больше нахмурился.

— Какой такой? Ну не были вы секретарями ЦК, а членами-то правительства были же! Не маленькими людьми, слава богу, были — вон какие посты занимали! А дело было нашумевшее. Как же вы не поинтересовались что и как?

Все промолчали.

— Да, дела, дела! — вздохнул Второй, — надо знать, когда бить, а когда воспитывать. Плох тот доктор, который лечит волдырь, а получает язву. Очень плохо! — и слегка развел руками, уже в мою сторону. — Ну, конечно, дыма без огня не бывает. Были какие-то мелкие промахи, недоглядки, а их представили как пожар. На такое дело мастера всегда найдутся. Ну, а вот если взять с другой стороны, — повернулся ко мне, — вот вы руководили огромным творческим коллективом, а там такие традиции, что их гвоздем не выковыришь, так что пили, гуляли, женщины, небось, были? Как? А?

Ну пить, конечно, пил, и гулять с друзьями гулял, не без этого, но вот женщины — тут я уж совсем ни при чем. У меня же жена, дети, а этих Донжуанов видеть не мог. Но с перепугу, что ли, я ляпнул: “Было, все было”. Тут люди засмеялись, кто-то сказал: “Ну, по крайней мере, честно”, а Второй тоже усмехнулся и сказал: “Ну, а сказал бы нет, вы что, поверили бы? За чистосердечность многое прощается. Ну хорошо, — тут он нахмурился, — дело, кажется, ясное. Подождите в приемной. Нужно будет — позовем”.

Нужно будет! А вдруг не нужно? Вдруг не позовут, а передадут через секретаршу: “для пересмотра решения нет оснований, ведь гулял, пил”. И так могло быть. И раньше сколько раз даже бывало. И все-таки настроение у меня было не так чтоб особенно подавленное: как я посмотрел на лицо Второго, так сразу ему и поверил. Ведь видел же он, кто перед ним. Буквально через пять минут меня вызывают. “Ну вот, — говорит Второй, — а лицо у него опять уже строгое, — мы поговорили, и учитывая вашу молодость и участие в Отечественной войне, решили отпустить вам ваши ошибки

и восстановить вас в партии с прежним стажем. Надеюсь, что вы не заставите нас раскаиваться”.

Тут я закричал:

— Честное слово... слово коммуниста, что нет! Нет, и нет!

Все засмеялись. И Второй тоже засмеялся. “Ну, до свидания,— говорит.— Помните, мы вам верим”.— Айбол перевел дух.— Так вот, когда я услышал по радио, что этот наш Андрей Иванович так высоко поднялся, я и обрадовался.

— Понимаю,— кивнул головой Акылбек,— отлично понимаю! Ну, спасибо за рассказ. Теперь мне все ясно. Что ж, будем работать. И так вон сколько времени потеряно. Знаешь, я все чаще и чаще думаю, есть только две вещи невозвратимые: утраченная жизнь и потерянное время!

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

В доме все спали... Спала жена, утомленная прошедшим тяжелым днем, бегом и встречей гостей на аэродроме, спали эти самые гости — муж и жена — друзья Акылбека по институту, спала домработница. Даже дежурный и тот, кажется, тихонечко подремывал, сидя в кресле в соседней комнате. А он бесшумно встал, накинул халат и вышел в кабинет. Сон его никак не брал, и он уже полночи пролежал с открытыми глазами. Сказывалось, очевидно, слынувшее напряжение, и какая-то странная пустота и невесомость после него... Все закончилось. Не надо было больше ни к чему себя готовить, нечего было таить от себя и других или поджидать удара в спину. Можно было душевно распрямиться и перейти к обычной повседневности. Но вот это-то и оказалось труднее всего.

Он осторожно вышагивал по кабинету, подходил к шкафу, вынимал то одну, то другую книжку, бегло их перелистывал и ставил на место. Книжки стояли здесь все новые, нечитанные — не до книг было в эти дни — но просматривать их тоже не хотелось. Попробовал сначала люминал, потом седуксен, но сон все равно не шел — пришло только легкое рассеянное утомление. “Нет, не заснуть,— понял он,— слишком уж перегрузился”. Он отодвинул кресло и сел. Итак, старого руководителя нет — проводили на пенсию. Это, конечно, огромное облегчение. “С ветерком в голове” вспомнил он Айбола и рассмеялся. Да, в последнее время старик превратился в человека, с которым уже невозможно было работать. И с каждым днем это становилось заметнее, тем более, что люди пользовались его слабостями очень широко. Так работать Акылбек уже не мог.

А началось-то все внезапно. Год тому назад — он был в Москве — и вот ему позвонила министр культуры республики и попросила поговорить с ним. Кончается Декада казахского искусства, сегодня последний день; во Дворце Ленина дается заключительный концерт, так вот очень бы хотелось, чтобы Он тоже присутствовал. “Ну не знаю как,— посомневался

Акылбек, — пойдет ли? Он жаловался мне, что столько дел, что нет ни минуты роздыха... Попробую, но не ручаюсь”. Но Он согласился неожиданно легко. “Только вот что, — сказал Он серьезно, — я сегодня к вам, а завтра вы ко мне. И вместе со всеми членами бюро. Будет заседание президиума. Так что явка строго обязательна”. А по какому вопросу будет заседание. — Он не сказал.

Концерт удался. Было много цветов и аплодисментов. Еркека Серкебаева и Бибигуль Тулегенову по полчаса не отпускали со сцены. Он жал руки и поздравлял. Много хорошего и ободряющего сказал казахстанцам и их старый добрый знакомый Светлов. Одним словом все было как надо. Так прошел первый день, веселый, радостный, беззаботный.

И совсем иным запомнился Акылбеку следующий день. Он сидел за овальным столом, и комната была тоже овальной, узкой, специально предназначенной для таких вот заседаний. Акылбека Он усадил рядом с собой, и тот по составу собравшихся сразу же понял, что речь пойдет о чем-то серьезном.

Был тут и Светлов. Акылбек еще особенно отметил присутствие из Южного Казахстана Кусепова и из целинного края Орлова. Сначала разговоры шли довольно обычные: говорили об экономике республики, о культуре, о том, что плохо, и что хорошо, что у кого следовало подтянуть, куда следовало бросить еще ассигнование. Но Акылбек сразу нутром почувствовал, что дело все-таки не в этом, такие дела решаются в рабочем порядке, а тут готовится что-то совсем другое. И действительно, вдруг Он достал из нагрудного кармана сложенную вчетверо бумагу и протянул Акылбеку.

— А пока познакомьтесь с этой бумагой и скажите свое мнение. Акылбек стал читать. Это было письмо, вернее, проект Кусепова о передаче части Южного Казахстана соседней республике. Мотивировалась эта передача схожестью экономики (и там и тут хлопок и сады), единством рельефа, вопросами администрации, а также тем, что казахи, населяющие этот район, по словам бумаги, просятся в соседнюю республику, там, мол, им больше перспектив: шире производственная база. Акылбек прочел и на минуту задумался. Дело было в том, что перед отъездом в Москву получил письмо, подписанное множеством людей, где было сказано, что они не согласны переходить в соседнюю республику. Тогда Ахметжанов ничего не понял. Теперь все стало ясно. По существу, в передаче части территории ничего, может быть, плохого не было, как говорится, все равно люди будут жить в единой советской семье. Но в отличии от Кусепова и Айгакова он свято дорожил желанием народа. А что делать, если вдруг эти люди не захотят переходить в соседнюю республику? Мало того, что никто никуда не просится, непонятно было ему и другое: почему он поставлен перед этим голым фактом и обо всем этом должен узнать только тут, в Моск-

ве, и в кабинете Его? Почему товарищи из края, выносившие эту мысль, ничего не сказали ему о ней там у себя в Казахстане? Почему не было предварительного разговора в ЦК, в Госплане, в Совмине, где угодно. Все это не лезло ни в какие ворота. Потом только (и то стороной) он узнал, что вчера Кусепов встретился с Ним (и встречу эту устроил Керченко) и вручил ему этот проект. Может быть, какие-то разговоры об этом были и раньше, но о них он тоже ничего не знал. Черт знает, что такое! Просьба населения... схожесть экономики... транспортные связи... Ведь все сплошное вранье! Все! Но кому же могла прийти в голову такая бредовая идея? — может товарищам из соседних республик? Но почему тогда они прежде всего не обратились ко мне? Да нет, не может этого быть, они люди умные, историю знают, никто из них не скажет, что эти земли искони не принадлежали казахам. Нет, нет, не может этого быть! И что же, у них собственной земли что ли не хватает? Это, конечно, все Кусепова выдумки. Хочет и соседям угодить, и перед Москвой разыграть такого бескорыстного интернационалиста. Расчет, конечно, тонкий, но в конце концов просто глупый — искать людей дурнее себя. А он, видимо, ищет.

Акылбек мгновенно понял, что произойдет, если эта бумага из мнения Кусепова превратится в решение правительства, и какие слова и от кого ему придется тогда выслушивать. Он незаметно провел рукой по левой стороне пиджака. Нет, перебоев не было, сердце стучало по-прежнему ровно, только он почувствовал, что бледнеет. Он посмотрел на казахстанцев, вид у них был не слишком ошарашенный. Значит, и они знали все? Так почему же молчали? Он перевел дыхание.

— Ну как, вы согласны? — только теперь он услышал голос Его. Был он, этот голос, нетерпеливый и требовательный. Он снова посмотрел на своих друзей и соратников. Они по-прежнему молчали. “Ах вы,— подумал он,— деятели! Шкуру бережете? Так? Хорошо!” Он положил бумагу на стол.

— Пока мы не узнаем мнения населения этих районов, такого решения не будет! — сказал он спокойно и твердо. И повторил: — Нет, не будет!

И Он словно споткнулся на этот спокойный ровный голос. Он считал, что территория Казахстана слишком велика. До этого у Него были попытки несколько сузить северную часть этой республики. Поэтому на предварительном разговоре с Кусеповым Он дал согласие на его предложение. А сейчас, видимо, не ожидал сопротивления. Он медленно стал было подниматься, но потом снова сел и застыл на месте. Потом взглянул в глаза прямо Акылбеку. И вдруг лицо его мгновенно исказилось, Он стиснул кулак и стукнул им со всей силой по столу. Если бы это было не оргстекло, Он, конечно, изуродовал бы руку. Он был сильным человеком, и удар отдался на весь зал. Все вздрогнули. Так ухают молотком по наковальне.

— Будет именно так! — крикнул Он. — Как я сказал — и никак иначе! — Он помолчал и вдруг произнес угрожающе: — А ты вот, товарищ Ахметжанов, ведь ты и есть настоящий...

Вот и прозвучало наконец в зале страшное слово, которое не осмеливался высказать вслух Черняев. Ахметжанову, всю жизнь отстаивающему идеалы интернационализма, дружбы народов, показалось, что кто-то ударил его палкой по лбу.

Потом он ткнул пальцем в Кусепова.

— А вот он интернационалист! Интернационалист! Настоящий интернационалист!

Наступило молчание. Кусепов, когда поставил этот вопрос перед Ним, конечно, не ожидал такого поворота. Даже, может быть, исходя из экономических и географических целесообразностей /как ему казалось/, он выдвинул эту проблему от чистого сердца. Но почему, почему он не советовался с Ахметжановым и другими товарищами в самой республике? Об этом лишь можно было догадываться: он хотел, видимо, прикрываясь идеей дружбы народов, самому оказаться на переднем плане. И как раз попал в цель. Это было то время, когда с Ним уже редко спорили. Он явно перестал кого-то слушать. Об этом знали все. Только немногие, в том числе и старый революционер, выходец с Кавказа, который был с ним на “ты”, не боялись Ему возражать. И сейчас он сказал:

— Ну, хорошо! У товарища Кусепова есть свое мнение и он вынес его сюда нам на рассмотрение, но стол-то зачем уродовать? Вопрос, как ты видишь, не вполне ясный, с ходу вот так его не решишь. Посоветуемся, обмозгуем, посмотрим с той и другой стороны. Интересами Казахской республики пренебрегать тоже нельзя. А народ обижать тем более. Если население против, тогда, значит, все. Нет, так на крике мы ничего не решим.

И вопрос не решился, его отложили и отсрочили. Он встал и пошел по кабинету. Кабинет был маленький, шаги были большие, громкие, и, как понял Ахметжанов, неприязненные. Неприязненные к нему лично, Акылбеку. И вот с этого все и началось, и чем дальше, тем хуже.

В этом немалую роль сыграл и Кусепов. Вообще, Кусепов был решительный, скорый на руку работник. Но его волевитость порою ограничивалась торопливостью. А это зачастую приводило к ошибкам. И в решениях было больше субъективности, чем объективности — качество, присущее людям эгоистичным. А руководящему работнику именно этого и надо было избегать, бояться в первую очередь. Кусепов же не боялся. Он хотел, чтобы все было по нему, и это приводило в конечном счете к неправильным решениям. Разумно начатое, вообще какое-либо дело, им из-за мелочной, властной природы, часто оборачивалось мстостью против тех, кто не соглашался. Так было с вопросом двух районов. В том, как он был остановлен, Кусепов видел умаление своего авторитета, и он стал подливать

масла в огонь, снова и снова возвращаясь к этому вопросу. Таким образом Кусепов сумел пробить, проложить огромную брешь между Ним и Ахметжановым.

Второе заседание в той же овальной комнате кончилось почти также, как и первое. Опять сидели за столом Кусепов, Арипов, Ержанов, Айгаков и другие товарищи из Казахстана, опять был старый революционер и Светлов. И Сам Он только что вернулся с целины (“Он снова отправился на свою любимую целину” — написали иронические американцы в “Нью-Йорк таймсе” об этой поездке, отдавая все заслуги по поднятию целины Ему, только Ему, хотя начиная с первой борозды и кончая вспашки последнего гектара, во главе этого грандиозного казахстанского дела стоял и был фактически вдохновителем его Андрей Иванович Светлов). А Он приехал, и в этот раз поговорил кое с кем, посмотрел поля и, вернувшись в Москву, вызвал людей из республики на заседание. По всему было видно, что Он этому совещанию придает опять-таки чрезвычайное значение. И, действительно, Он сразу же заговорил и говорил резко, решительно, а главное долго. Лист бумаги, исписанный цифрами и фамилиями, отбросил в сторону. Он вообще не любил говорить и заглядывать в записи — это его связывало. Обычно плохо верил фактам и свято верил в свой здравый смысл. А смысл-то этот был со всячинкой и выводы, которые делал Он, зачастую поражали своей произвольностью и даже просто необдуманностью.

— Так вот, — сказал Он, — что я видел сейчас на целине никуда не годится. Надо сеять снова. И вот так — 35% земли отвести под бобовые культуры и 25% — под кукурузу, 5% — под картофель и только остальное уж под зерно. Ну? — и Он обвел всех взглядом.

— Но нам хлеб-то нужен больше всего, — робко возразил кто-то из казахстанцев.

— Хм, а значит бобовые и кукуруза для вас это не хлеб? — остро поглядел на него Он. — Значит, вот такое распределение посевов им предлагаем. Это одно. И второе. Караганду надо отдать целинному краю. — Он посмотрел на Ахметжанова. — Ну вот как вы об этом думаете, руководитель? Хлебному краю нужна своя промышленность или нет? — голос звучал резко и насмешливо.

Вот этот вопрос Ахметжанов знал и много думал о нем. Такой план был, и предложило руководство целинного края, в частности, Орлов. Был этот самый Орлов человек волевой, энергичный и сильно себе на уме. Уже второй год он пытался приспособиться так, чтобы пока убыточная целина оплачивалась за счет богатой карагандинской промышленности. Так у него получался бы стойкий крепкий баланс, и он вылез бы из прорыва.

— Я думаю, это было бы в корне неверно, — ответил Ахметжанов медленно. — Да, сегодня перед нами главная проблема — зерно. Мы бросаем все силы именно сюда, и это очень правильно. Но завтра с такой же остро-

той перед нами встанет проблема угля — ведь индустриализация у нас только начала набирать темпы. Так? Что мы будем делать тогда? Разве хлеборобы, да и вообще все работники целины смогут тут им помочь? Значит, опять ищи специалистов на стороне? А для чего? И что тогда будет с тем же зерном? Нет, такие вопросы могут быть решены только в общереспубликанском масштабе. Вот если вся страна помогла бы нам...

И тут Он взревел снова и так ухнул кулаком по столу, что он загудел.

— Не будет по-твоему, будет по-моему! — рявкнул Он уже не сдерживаясь.

И опять старый революционер улыбнулся и покачал головой.

— Бей не бей, а это стекло не бьется, — сказал он. — Ну что ты кипяتيشся? Ну ладно, давай твой Донбасс подчиним Полтаве. Что, хорошо будет? А!? Дело Караганды — это уголь, сталь, цветные металлы; дело целины — это хлеб. Вот и пусть каждый занимается своим. Только и всего! Знаешь, “беда коль пироги начнет печь сапожник, а сапоги тачать пирожник!”.

От этих спокойных ясных слов, сказанных таким же спокойным и уравновешенным голосом, а больше всего от снисходительной и может быть даже пренебрежительной усмешки — и ведь и в самом деле было ясно, что Он говорит несуряицу — Он обмяк и сел: Он никогда не спорил с старым революционером, — это знали все. И тут с другого конца стола поднялся Светлов.

— Я думаю, что не будем торопиться, — сказал он спокойно и веско. — Вопрос этот требует сугубого изучения. Если действительно передать Караганду Целинному краю, ну что ж, передадим. Но главное сейчас — не пороть горячки. Вопрос действительно сложный, до конца не ясный. Надо передать его на изучение. Вот мое мнение. — (В то время с Ним можно было спорить только так: — обсудим, изучим, решим, не будем пороть горячки — на это Он еще шел). Андрея Ивановича поддержали и другие товарищи.

В конце концов решили вопрос поручить Министерству сельского хозяйства и Госплану, они и должны были изучить его и внести предложения.

Он быстро закончил заседание и пошел к выходу. А у двери вдруг остановился и проворчал сердито:

— Насчет Караганды мы еще будем говорить! Будем! Все равно все будет решено, как Я сказал! А не как ты! Запомни!

И вышел, хлопнув дверью.

А Светлов пожал плечами и поглядел на Акылбека, “вот с этим его и бери”, как бы говорил его взгляд.

Вспомнив это, Акылбек покачал головой. Да, и все-таки вышло не так, как хотел Он. И Южный Казахстан остался в республике, и посевные площади были засеяны зерном, и Карагандинский угольный бассейн не был

подчинен Целинному краю. Нашлись умные люди, не дали, удержали, отсоветовали. А вот хлопководческие районы отстоять не удалось,— Кусепов настоял. Как Акылбек не сопротивлялся, а сделать ничего не мог. Да оно и понятно — хоть на чем-нибудь Он должен был взять верх. Но потом пошло много хуже, с должности Акылбека, конечно, освободили, то есть переместили его, не на менее высокую должность, но всем было понятно, что это за перемещение и почему оно произошло. И до сих пор он помнит одно бурное и неприятное совещание. Сделал тогда Он остановку по пути из Индии в Москву в Ташкенте. Настроение у Него было прескверное. Дело в том, что по дороге Он заехал в Китай. Вот тут Мао Цзе-Дун и показал Ему первый раз свои длинные жезтырнакские когти. Когда самолет приземлился на Пекинском аэродроме, Он увидел, что никто Его не встречает. Ни цветов Ему не поднесли, ни почетного караула не выставили. Даже в гостиницу и то не пригласили. А просто поднялся по трапу Чжоу Энь-Лай и вручил ему ноту. О чем? В каких выражениях? Об этом Он никому тогда ничего не рассказал. Но было ясно — старая лиса вдруг показала свои зубы. Отчего это произошло и кто виноват, тогда можно было только гадать, но результат-то все равно был на лицо: Китай задраил все свои мосты. В общем в Пекине советский авиалайнер задержался всего на пару часов. А на первой же остановке по пути в Москву в Ташкенте состоялось совещание партийных руководителей Средней Азии и Казахстана. Началось оно не в больно спокойной обстановке. Он сидел на председательском месте, играл ручкой и хмурился, то ли его расстроила встреча в Пекине и нота, то ли он попросту устал. Первым пунктом повестки дня стоял вопрос о изменениях границ двух соседних республик. По мысли Его несколько хлопководческих и овцеводческих районов Казахстана должны были отойти к соседям. После его краткого вступления, изложившего суть вопроса, слово взял Ахметжанов. Он хорошо знал из трудов В. И. Ленина, в частности из его статьи “Критические замечки по национальному вопросу”, что национальный состав населения — один из важнейших экономических факторов, но не единственный и не важнейший среди других”. Он также хорошо знал, что В. И. Ленин здесь говорил о принципе установления новых границ, а не о передаче из установленных уже границ часть народа и его территории к другой республике. Эти два явления, пока люди еще не потеряли чувства национальной особенности, если не сильно, то во всяком случае психологически отличаются друг от друга для тех, кто заселял эти земли. Вот здесь и столкнулся Ахметжанов с трудным для него фактом. Он ежедневно получал множество писем от населения с требованием оставить их в своей республике. Акылбеку, как марксисту — ленинцу, желание народа было святым делом. Он не мог идти против него. Кроме того, Ахметжанов не был согласен и с другой мотивировкой, выдвинутой Айгаковым в поддержку Кусепова, якобы передача этих районов эконо-

мически выгодна для освоения Голодной степи. Он считал, что экономическая целостность одной республики не менее важный фактор, чем экономическая целостность освоения Голодной степи. Поэтому Ахметжанов начал свое выступление с чисто экономических соображений и доказал насколько нерационально была бы такая передача. Привел цифры и факты. Говорил он медленно, обстоятельно, взвешивая каждое слово, хотя знал, чем все это грозит ему самому.

— Не это,— сказал он,— главное.— Главная трудность — это моральный и психологический фактор. Ведь смотрите, что произойдет. Земли эти вплоть до тридцатых годов считались необитаемыми. Это все засушливая, растрескавшаяся от зноя степь, полупустыня и пустыня. Люди туда идти не хотели. Пришлось их долго уговаривать, обещать им всякие блага, приводить разные соображения. Все это было нелегко. Наконец уговорили. Люди пришли, начали работать. А южане умеют работать и через десять лет на месте пустыни возникли плантации хлопка и пастбища. И вот теперь их вместе с этой землей хотят отдать соседям. А ведь у них в Джамбульском, Чимкентском и Кызылординском районах остались родственники. Они к ним каждый год ездят в гости.

— А что же теперь визы будут брать? — глухо засмеялся Кусепов.— Их предлагают отдать капиталистам? Как ездили так и будут ездить. Как играли на домбре так и будут играть. Ничего же не изменится. Просто наша республика сделает дружеский акт по отношению к соседям. Вот и все.

— Так зачем же этот акт, если он ничего не изменит?! — воскликнул Акылбек.— Что ж мы, просто жесты делаем или в кубики играем? Нет, он изменит и много изменит, и вы, товарищ Кусепов, это отлично знаете. И прежде всего он изменит отношение к нам. Нам просто перестанут верить на слово — вот и все. А эту потерю, ой как трудно потом возместить. Затем другое — у нас одно хозяйство, у соседей другое. Принимая новые районы соседняя республика распространит на них свой план. Значит, изменится хозяйство и изменится быт. А если вы помните, общественное бытие изменяет сознание и национальные традиции. Марксизм учит, что ни один народ не может развиваться вне окружающей его среды, независимо от тех экономических, социальных, географических и прочих условий, в которых он живет.

— Все эти условия для них в равной мере сохраняются и в соседней республике,— вставил нетерпеливо Кусепов.

— Да, поскольку и она социалистическая,— продолжал Ахметжанов. Но по законам диалектики, условия развития каждого народа в той или иной степени отличаются от условий развития других народов. Г. В. Плеханов писал, что "... всякое общество живет в своей исторической среде, которая может быть — и действительно часто бывает — очень похожа на историческую среду, окружающую другие народы, но никогда не может

быть и никогда не бывает тождественно с нею”. Так рассматривают марксисты один из законов развития общества. Очевидно такое изменение произойдет и с теми, кто перейдет в соседнюю республику. Может быть даже в лучшую сторону. Но что делать, если народ не захочет этого? Если он не согласен изменить все свое национальное?

— Вы забываете, что мы люди одного общества! Социалистического! — опять не воздержался Кусепов.

— Да, мы дети одной социалистической родины, — спокойно ответил Ахметжанов, — но ведь кроме того мы имеем и каждый свою национальность. И я, и вы, и наш уважаемый председатель — одинаково граждане Советского Союза, но едва ли из нас кто-нибудь захочет отказаться от своих национальных песен, сказаний, литературы. Могу вас заверить, что и население этих районов чувствует и переживает то же самое. Оно и понятно: у каждого народа есть, естественно, чувство национальной гордости, любовь к своей истории, к своим героям, к своим памятникам — это нечто совершенно противоположное национализму, шовинизму и ксенофобии, т. е. презрение ко всему чуждому. Вот как сказал Белинский: “Плох тот патриот, который сидит под запорами и любит себя в одиночестве своим уродством!”. Никогда казахи не ощущали в себе подобного. Но как заставить народ забыть свое героическое прошлое? Ведь именно за эти степи и пустыни казахи воевали с чингизидами, тимуридами, шайбанидами и отстояв, строили на этой земле города, пантеоны, памятники, крепости. Для развития скотоводства нашим предкам нужны были и шелк, и хлопок, и базары для продажи скота и рынки для торговли с другими странами, и школы, чтоб учить детей, и, наконец, железо, чтоб отстаивать все это. И они имели все это. В наших древних городах, именно находящихся в этих наших южных просторах, — сказал Акылбек, — учили читать, возводить здания, наводить мосты через реки, строить плотины. А сколько набегов, захватов, разрушений выдержали наши цитадели? Какие моря крови были пролиты, чтоб их отстаивать или, наоборот, забрать обратно? Даже в 17 веке, пишет Бартольд, эти “города были центром могущества казахов, тогда как из Семиречья их постепенно вытесняли калмыки”. Вот она, эта книга “Очерки истории Семиречья”, опубликованная еще в городе Верном в 1898 году. Так что, разве история народа для нас уже ничего не значит?

— Да что вы нам все про историю? — подал опять голос Кусепов, — про средневековье, про тимуридов! Вы про советскую действительность нам скажите!

— Да, теперь о советской действительности. Именно при советской власти эти опустошенные и выжженные просторы казахи вновь вызвали из небытия и превратили их в хлопковые поля, пастбищные угодья. — Вот вы написали, население само просит о переходе. Не знаю, откуда взяты

вами эти данные, но я им никогда не поверю. (Чтобы свести на — нет эти слова Ахметжанова, Айгаков после писал в одной своей статье: “Следует отметить, что передача вышеназванных земель соседней республике была осуществлена с полного одобрения и горячей поддержки всех трудящихся Казахстана. Рядовые труженики производственных управлений этих районов отнеслись к данному решению с полным пониманием...” Это было то время, когда эти же труженики каждый день писали письмо оставить их в своей республике!) Не поверю по очень простой причине: 80% этих районов — казахи.

Кусепов не выдержал.

— Что вы все время делаете акцент на национальные различия? Только слышно от вас: казахи! казахи! — сказал он вставая сердито, — преподнося этак передачу этих районов в состав соседней республики, вы же бросаете тень на сложившееся нерушимое единство и общность интересов многонациональной семьи народов нашей родины (опять выражение Айгакова!). Не следовало бы вам забывать слова В. И. Ленина о том, что “интернациональное единство рабочих важнее национального”.

Ахметжанов удивленно посмотрел на Кусепова, словно спрашивал, “откуда ты знаешь эти слова Владимира Ильича?” и что-то вспомнив усмехнулся.

— Почему вы остановились? — спросил он Кусепова в упор, — вы же сейчас цитировали недавнее выступление нашего теоретика Айгакова. Забыли? Или не хотите продолжать, что сказал Айгаков дальше? А товарищ Айгаков говорил дальше так: “Но это вовсе не означает, что можно игнорировать национальные различия. Марксистско-ленинская идея о закономерном слиянии наций в коммунистическом будущем ни в коей мере не отрицает необходимости существования в эпоху социализма многочисленных наций с их специфическими особенностями, разнообразием языков и культур. В. И. Ленин писал, что национальные различия “будут держаться еще очень и очень долго даже после осуществления диктатуры пролетариата во всемирном масштабе...” Всякое стремление к устранению или уничтожению национальных различий он назвал “вздорной мечтой для настоящего момента”. — Акылбек на минуту остановился и подумав продолжал: — А дальше товарищ Айгаков приводил цитаты из резолюции XX съезда КПСС, где говорится: “... социализм не только устраняет национальные различия и особенности, а наоборот, обеспечивает всестороннее развитие и расцвет экономики и культуры всех наций и народов”. Так что, товарищ Кусепов, вы меня не запугаете с упоминанием казахов или их национальной специфики, также разговором о передаче этих районов в соседнюю республику, будто нарушением единства и общности интересов многонациональной семьи наших народов.

Кусепов сидел красный и оплеванный. Он ругал внутренне Айгакова и себя на чем свет стоит. Айгакова ругал за то, что до конца его не проконсультировал. А себя — за то, что мало читал Маркса и Ленина.

А тем временем Ахметжанов продолжал:

— Коль мы признаем существование еще различий наций и народов в наши дни,— сказал он,— не грех было бы их действительно спросить, как они смотрят на переход из своего собственного дома в дом доброго соседа.

— То есть, вы опять-таки предлагаете референдум? — крикнул насмешливо кто-то.

Акылбек даже не посмотрел на него.

— Знаете, вы страшными словами меня никак не запугаете,— сказал он.— Уже на первом учредительном съезде Советов Казахской АССР, проходившем в 1920 году, в резолюции по административному вопросу было буквально сказано, что все такие вопросы,— вот, читаю по книге,— “должны быть решены согласно волеизъявлению народа в Семиреченской области на областном съезде Советов, а в остальных местах — на уездных съездах”. Ясно? И далее — “порядок опроса населения в уездах со смешанным племенным населением устанавливается по соглашению представительства КазАССР и ТурЦИКа. Слышите: “опрос населения!” Пожалуй-ста, резолюция от 12 октября 1920 года. Вот эта книга. Кладу на стол.

Но ведь это уже история! — сказал кто-то.

— А история пишется не для того чтобы ее забывать, а вспоминать! — парировал Ахметжанов.— И если ее выводы правильны, то взять их на вооружение!

Позже, гораздо позже, когда утверждалась Новая Конституция СССР, был внесен специальный пункт, что земля одной республики не будет передаваться другой без согласия на то населения. Все это доказывало правильность суждения Ахметжанова. Но в тот день...

— И вы считаете референдум правильным? — спросил тот же насмешливый голос.

— Как идею я считаю это очень правильным,— серьезно ответил Акылбек,— потому что это действительно ленинский подход к национальному вопросу. Другое дело, как это надо сейчас провести технически. Об этом тоже можно поговорить. Но, товарищи! В нашей соседней республике и язык свой, и традиции свои, и песни и музыка национальные! Чудесные песни! Честь и слава их творцам! Но почему же казахи должны отказаться от этого же? Нелогично это, неправильно! Не по-ленински! Как отделить от народа какую-то часть его? Зачем? Для собственного блага этих отделенных? Но это же чепуха! Это убийственная чепуха, я удивляюсь, как вы, товарищ Кусепов, не чувствуете этого сами. Язык и культура успешно могут развиваться, как я уже говорил выше, только в своей собственной среде! Так, по крайней мере, учил нас Ленин. Вспомните-ка его знаменитую статью

“О национальной гордости великороссов”. Теперь опять экономика. Да кто вам сказал, что казахи не хотят разводить у себя сады и собирать хлопок? Опять-таки что за горькая чепуха? Наоборот, эти поднятые и засеянные нами степи и пустыни только наши первые шаги на этой земле. Теперь у нас на очереди Мангышлакские степи. Мы ее тоже поднимем. Тоже заставим дышать и приносить плоды. И еще увидите, как она зацветет! А эти наши хлопкосеющие районы будут им маяками, опытными полями. Нет, я против! Против!

Так он говорил на этом заседании, хотя понимал, что сделать уже ничего нельзя. Он не отступит. И Кусепов тоже. Этот показал даже изрядную ловкость рук. Минувя директивные органы республики, он передал Ему решение Южно-Казахстанского края о целесообразности такой передачи.

На этом совещание и закончилось. Ахметжанов уходит последним. Рядом с Ним стоял один участник совещания, человек, очень много сделавший для своего народа.

— Ахметжанов! — вдруг раздался громкий оклик.

Акылбек повернулся.

А он стоял на прежнем месте за столом и смотрел в упор, в глаза Акылбека.

— Слушай, что я тебе скажу. Вот сегодня ты ясно показал мне, что ты заядлый... — и гладкий череп его в миг стал багровым. И последнее слово он почти выкрикнул: — Слышишь?!

Что Он сказал до этого слова Акылбек не слышал. Но по сердитому движению губ и свистящему звуку голоса Ахметжанов догадался, что Он повторяет то самое страшное слово, сказанное им однажды в овальном зале. Сердце у него заколотилось.

А писатель, стоявший рядом с Ним, почувствовал вдруг легкую дурноту, как будто этот крик относился не к Ахметжанову, а к нему самому.

“Да,— остро подумалось ему,— если бы мы сразу не послушались Кусепова, ничего бы этого не было. А вот теперь стой и выслушивай эдакое”. — Он взглянул на Ахметжанова.

Тот молча повернулся и вышел из кабинета.

А осенью приехал в Алма-Ату Его заместитель, собрал Пленум и предложил на место Ахметжанова избрать Кусепова, а Орлова вообще освободить от работы в Целинном крае. Кто-то спросил его “может быть кому-нибудь из руководителей республики поехать с ним в Целиноград на Пленум крайкома, чтобы помочь освободить Орлова?”

Заместитель Его улыбнулся.

— Нет, не надо,— сказал он.— Зачем Вас отрывать от работы.

Орлов не больно большая шишка, как-нибудь сами справимся.

“И вот все кончилось, и я опять на коне, думал Акылбек, вышагивая по комнате.— Кажется могу легко рассчитаться со всеми, кто встал у меня на дороге. Не за себя, конечно, а за дело, которое они хотели предать. Нет.

не предать даже, а просто продать, поменять на высокое место, дачи, почет и славу. А хочу ли я этого расчета? Нет, нисколько! Даже мысль такая не приходит мне в голову. Все мои противники останутся на местах, каждый будет делать то, на что способен. Вот это сейчас самое главное — наилучше выполнить то, к чему ты наиболее способен. То есть опять-таки твердо сидеть на своем месте. Это, кстати, не так уж и легко. Знаю по себе”.

И все же даже в те самые тяжелые дни Акылбек не чувствовал себя несчастным или обойденным судьбою. Наоборот, он всю жизнь считал себя настоящим счастливцем. Ну, а как же иначе? Росла его любимая страна, рос его народ, открывались новые рудники, на голых местах возникали новые заводы и во всем этом была заложена и доля его труда, его неусыпных забот и бессонных ночей. Вот сейчас вряд ли кто-либо помнят, почему космодром построили ни где-нибудь, а именно в Байконуре.

В решении правительства тогда было только оговорено: Центральный Казахстан. Лучшее место и подыскать трудно: степь без конца, без края, хлебные и промышленные районы далеко на севере, а на юге — Бетпак — Дала, ровная, как лепешка полупустыня, теряющаяся в песках Каракумов.

В то время Акылбек работал еще в Академии наук республики. Будучи по делам в Москве, случайно встретился с Крыловым, тогда неизвестным никому создателем космических кораблей. Помнится, разговор зашел о спутниках земли, о строительстве космодрома в Казахстане. Тогда-то Акылбек и назвал Байконур как наиболее подходящее место.

Теперь трудно сказать, имела ли эта подсказка решающее значение. Но потом там побывали военные специалисты, вели тщательное обследование. И подтвердили: точка выбрана правильно.

А ведь Акылбек назвал Байконур отнюдь не случайно. Есть места, к которым, по неизвестным тебе самому причинам, привязываешься на всю жизнь.

В древности здесь пролегали караванные пути. Восточные купцы везли свои товары на северо-западную часть Сары-Арки, а оттуда еще дальше — на верхнюю Волгу, паломники из этих степей шли через Байконур, направляясь к Бухаре, среднеазиатской Мекке. Какое-то время неподалеку отсюда добывали каменный уголь из сухих неглубоких шахт, снабжали им Карсакпайский медеплавильный завод. Потом шахты захирели, а люди ушли. Еще какое-то время спустя, в горняцком поселке образовался животноводческий совхоз. И теперь уже овцы топтали неприхотливые степные травы — жусан и баялыш. Место было почти безлюдным, но, что очень немаловажно, находилось совсем неподалеку от больших транспортных магистралей. И это, конечно же учитывал Акылбек. Но расчеты расчелами, а в человеческой душе живет еще и такое, что не поддается трезвым оценкам. Не можем же мы сказать, почему любим эту, а не какую-то иную женщину, почему иногда милее пустынный берег степной речушки, чем какой-то, прямо-таки райский уголок где-нибудь в предгорьях.

В старинных легендах, шедших из тьмы веков, урочище Байконур именовалось счастливым. Никогда здесь не свистели стрелы, сошедшихся в схватке воинов, не звенели мечи, не тупились сабли о стальные шлемы, не падали с последним стоном умирающие люди. Не пила Человеческой крови эта земля. А казахи говорят: там, где росли цветы, будут расти цветы. только на месте колючек поднимутся колючки. Столько веков земля была счастливой, должна остаться счастливой и теперь.

Ахметжанов тронул пальцами седеющий висок, расправил на лбу морщины. В глазах его теплилась задумчивая улыбка.

“Сегодня всему миру известно, что для нашей страны Байконур оказался действительно счастливым местом! — несколько торжественно подумал он. — Символично и то, что он, этот космодром, стоит на земле животноводческого совхоза имени К. И. Сатпаева, выдающегося казахского ученого, первого Президента Академии наук республики”.

Выключил верхний свет, и кабинет сразу погрузился в темноту, лишь яркая полоса лунного света протянулась по полу от открытого окна. Он подошел к этому окну, оперся рукой о раму, прижал к тыльной стороне ладони лоб, и долго смотрел на хорошо видные при луне листья карагачей, лениво шевелившиеся в слабом ветре. Именно в это время ночи в нагретый дневным жестким солнцем город спускалась прохлада с гор, становилось легче дышать, и мысли приходили тихие, ясные, навевающие умиротворение.

Вспоминалась встреча с Гагариным в Москве. В то время космонавта даже трудно было назвать Юрием Алексеевичем — такой он был юный, совсем мальчишка. И голос звонкий-звонкий! Акылбек обнял его, они разговорились.

— Повезли меня в казахский колхоз, — рассказывал Гагарин. — Ваше гостеприимство известно, отказаться невозможно. Конечно же, в клубе народищу битком — несколько часов не отпускали... Выехали мы оттуда уже потемну. Наш сопровождающий, веселый такой джигит, молчал-молчал, а потом говорит: “Хотите чудо увидеть?” Кто же не хочет увидеть чудо? Тогда он и предлагает, мол, заночуем здесь где-нибудь, утром покажу... Кота в мешке мы покупать не стали, потребовали, чтоб выкладывал, что нам обещает. Он и говорит: “Перед рассветом по этой долине пойдут на водопой сайгаки — бокены по-местному. Не стадо и не два — тысячи сайгаков!”

Такое нечасто увидишь. Мы, естественно, согласились.

Прибились мы к какой-то чабанской юрте. Встретила нас маленькая чистенькая старушка, совсем старая женщина, лет восьмидесяти, не меньше. Сын и невестка ее были где-то с отарами, а она тут с внуками, а в качестве сторожей у нее два огромных волкодава. Славные псы.

Наш веселый сопровождающий решил ее, видимо, прикупить. Это, говорит, люди, которые на седьмом небе были, в гостях у самого аллаха. Мол, слыхала про космонавтов? Вот они...

Тут она засуетилась, на столе появилась миска баурсаков, сметана, молоко, хотела даже мясо варить. Мы с трудом убедили ее, что сыты, и главное сейчас нам — поспать.

Потом я отвел сопровождающего в сторону и спрашиваю: неужели она и правда поверила, что мы были в гостях у бога.

— Ничего удивительного,— говорит.— Ей сто лет скоро. У нее эта вера — в крови.

И все-таки я усомнился: не может быть.

Утром нас ждало действительно чудо. Сопровождающий поднял рано, и мы отправились в долину.

Над землей слабо струилась предрассветная серая мгла. И в этом призрачном свете мы увидели несущиеся безбрежные стада. Пахло пылью и слышался топот копыт. Было такое впечатление, что это несется в бой армия кочевников. Стада вели красавцы вожаки, а каждый косяк замыкал дозорный, он покусывал отстающих или угрожающе трубил, подгоняя стадо. Так продолжалось час, а может, и больше.

На обратном пути сопровождающий, посмеиваясь, говорил:

— Ну, божьи гости, сейчас вас ждет угощение.

Он оказался прав. Старуха расстаралась. Потчевала нас куырдаком, поила вкуснейшим чаем со сливками, не знала как нам угодить. И только когда мы, сказав большое спасибо, наконец, собрались подняться из-за стола, робко попросила:

— Пусть сынок расскажет — как там, на небе. Видел ли он ангелов?

Я, признаться, опешил: что отвечать? Она же всю жизнь верила в бога. Сказать правду — не поверит, да и в старости разуверить ее тоже не хотелось, а солгать вроде неудобно.

— Я поднялся только до шестого неба, до седьмого не долетел. Может быть, ангелы именно там живут?

Старуха хитро улыбнулась, ей явно понравился мой ответ.

— Их и на седьмом небе нет. Они тебя испугались и разбежались. Теперь, сынок, надо слетать выше, чтобы и всех чертей распугать.

— Вот это старуха, я понимаю! — звонко смеялся Гагарин...

Легкие прозрачные облака притуманили лунный свет, луна как бы растеклась по ним, и облака от этого засеребрились. Ахметжанов почувствовал, как от долгой неподвижности затекла рука, оторвался от окна, задернул штору и включил настольную лампу на письменном столе. Свет вырвал из темноты угол кабинета с плотными рядами книг в шкафах, вызолотил шашечки паркета на полу. Но ничего этого Ахметжанов не видел. Стоял у стола по-прежнему задумчивый, постукивая мякушками пальцев по полированной столешнице.

Характер народа определяет женщина — мать. Так он думал всегда. Думал и теперь, вспоминая рассказ Гагарина о безвестной женщине, мимолетно встретившейся на пути космонавта. Во всяком случае, женщины его народа, действительно определяют национальный характер.

Пожалуй, на всем Востоке не отыскать более вольнолюбивой и свободной женщины, чем у казахского народа. Она никогда не прятала лица за тугой сеткой чадры, умела любить и бороться за свою любовь, не боялась вместе со старейшинами держать совет, а в случае надобности брала колчан со стрелами, короткий кривой меч и садилась в седло. Легенды и предания сохранили много имен отважных воительниц, прошедшая война дала стране двух казашек Героев Советского Союза — Маншук и Алию.

А те, кому не пришлось воевать, разве они были менее щедры и мужественны сердцем? Не они ли, эти женщины, у каждой из которых было по пять, по шесть детей, в голодную годину брали на воспитание и русских, и украинских, и белорусских ребятишек, которых осиротила война?

Апа — так зовут мать у него на родине.

Первоцелинник Михаил Егорович Довжик как-то рассказывал Акылбеку, что впервые услышал это слово на фронте, а когда приехал в Казахстан и назвал так первую встретившуюся ему женщину, его сразу приняли за своего.

Своим здесь считают и космонавта, ушедшего в просторы вселенной через двадцать лет после Гагарина. Помнится, полет этот вызвал буквально переполох. Каждый колхоз и совхоз готовились торжественно встречать земляка, хотя, конечно же, земляком в полном смысле этого слова Владимира Жанибекова назвать было нельзя. По узынкулаку — длинному уху, быстро разнеслась весть, что космонавт женат на казашке Розе Жанибековой из села Искандер, Бостандыкского района, который в пятидесятые годы отошел к Узбекистану. И не только женат, но и принял казахскую фамилию жены. Вот почему казахи решили встречать его как куйеубала — зятя. Ставили традиционную отдельную белую юрту, девушки готовили песню из тех, что поют при особенно торжественных встречах, и, конечно же, были начищены казаны для бесбармака, без которого немислим ни один казахский той.

Вспоминая обо всем этом, Акылбек невольно усмехнулся: наивно и прекрасно одновременно, как раз тот случай, когда не надо стыдиться наивности, а следует, пожалуй гордиться, потому что за наивностью этой — распахнутая настежь душа народа, его воистину интернациональные чувства.

Он слышал, как где-то в отдалении прошла машина, и опять все смолкло. Ночь гасила звуки, наполняя город покоем. Потом откуда-то сверху донесся характерный реактивный гул, наверное, ушел в рейс очередной лайнер. И звук этот, растаявший, как и другие звуки, напомнил Ахметжанову еще один случай, связанный с Байконуром.

Среди лиц многих посетителей, которых приходилось принимать Ахметжанову, лицо этого парня особенно запомнилось. По-восточному со смуглянкой, красивое, энергичное лицо. Фамилия его была Абылбаев.

— Я — летчик. Истребитель. Окончил высшее авиационное училище, — по-военному коротко говорил парень. — Прошу вас о помощи...

— В чем?

— Хочу быть зачисленным в отряд космонавтов.

И стремительно покраснел, застеснялся.

— Но ведь там свои правила приема...

— Я знаю, — заторопился летчик. — Знаю, что много желающих. Но я родился в Байконуре. В самом Байконуре, понимаете? К тому же, насколько мне известно, нет ни одного летчика из Казахстана.

Никогда еще к Ахметжанову не обращались с такими просьбами, он сначала даже не знал, как подступиться к этому делу, чтобы помочь Абылбаеву. Еще во время разговора понял: парень не ищет легких путей и отряд космонавтов для него не лазейка к славе, а выношенная мечта, цель, на достижение которой кладут жизнь. И все-таки он привык не доверять первому впечатлению — позвонил в часть, где служил Абылбаев, и к своей радости получил о нем самый лестный отзыв.

А еще какое-то время спустя Ахметжанову сообщили, что Абылбаев зачислен кандидатом в отряд космонавтов.

Акылбек еще и сейчас помнил, как радостно дрогнуло у него сердце от этой вести. Да, он радовался и не только потому, что появится первый космонавт — казах, это само собой разумеется, и не потому, что появлению этого космонавта способствовал он, Акылбек, он радовался, что сумел помочь человеку осуществить свою мечту — это ведь всегда приятно узнавать, что ты приложил руку к доброму делу.

И вот тут случилось нелепое, то, чего никто не ожидал: Абылбаев погиб в автомобильной катастрофе.

Конечно, от случайностей не застрахован никто, но у Акылбека было ощущение, что его нагло и жестоко обокрали. Никак не верилось, что тот самый парень, такой мужественный и красивый, который совсем недавно сидел перед ним и, краснея рассказывал о своей просьбе, уже не только никогда не увидит землю из космических далей, но и просто не сможет пройти по этой земле, по своему Байконуру, где родился и мальчишкой мял степные травы босыми ногами.

Любая человеческая потеря — это боль. Тут еще добавлялось боли оттого, что Акылбек, сам того не подозревая в себе этого, проникся к парню отеческим чувством. Из жизни ушел очень близкий ему человек.

Единственное, что помогло тогда преодолеть эту боль, была работа. Она всегда спасала Акылбека. Нет, мало сказать, что работа спасала, она просто делала совсем другим человеком. Он хорошо помнит, когда выдал

первый марганец стране Джебдинский рудник, когда заработал Акчатау, дающий молибден и вольфрам, столь необходимые для танкостроения, а из Усть-Каменогорска пришли эшелоны с первыми тоннами цинка, когда Джебказганский, Балхашский, Ачисайский комбинаты выполнили свои производственные планы, и он мог рапортовать об этом в полный голос Правительству — верно не было в республике человека счастливее Акылбека Ахметжанова. И это было чувство творца, победителя, сознание того, что ты один из самых нужных людей в стране. И жгучая радость творчества захлестывала его в эти дни. Но и это было еще не все. Карагандинская Магнитка, Алтайский полиметаллический комбинат, Кентау, Каратау — все они хранят отпечаток его бережной творческой руки. Так как же ему было не радоваться, не вдохновляться плодами своих свершений! И сегодня он тоже находился в отличном рабочем состоянии и чувствовал себя легко и вольно.

Между прочим, когда был главным инженером Коунрадского и директором Лениногорского, рудоуправления — эти предприятия давали стране столько меди и свинца, сколько не давал тогда ни один рудник страны! И было мне всего-навсего 32 года, когда я сделался заместителем председателя Совнаркома республики. С ума сойти! Ведь это был 1942 год — тогда Казахстан да еще Урал были основными базами цветных металлов. Вот когда пришлось поработать! Я шатался в те годы от бессонницы и мог спать на ходу, но все-таки работал по 12 часов, а когда надо было, то все сутки напролет! Выстоял! Все узнал, все перенес — и незаслуженные оскорбления, и подсиживание врагов, и измену друзей, и мелкие интриги, и крупные подвохи. Все! Как есть все! Думал, не выстою, нет — выстоял! Недаром же римляне говорили: “нагадить — еще не сокрушить”. Меня не сокрушили. Кто это, Флобер, кажется, сказал: “гений — это терпенье”? Не знаю, никогда не считал себя гением, и мне куда больше нравится другая пословица, русская: “терпенье и труд все перетрут”. Да вот так именно и было. Что бы ни происходило вокруг — я стискивал зубы, молчал и работал. А ведь это было иногда ох, как нелегко! Вот работаешь с человеком, видишься с ним по несколько раз в день, доверяешь ему во всем, помогаешь, чем только можешь, голову за него кладешь — ведь тяжелейшие годы были, военные, беспощадные, тут всякое случалось! — и вдруг где-нибудь на высоком собрании, выждав удобный момент и все взвесив, он встает и начинает тебя топить, и этак ласково, вежливо, с улыбочкой топит. А улыбочка у него все равно волчья, ненавидящая. Вот тогда становится по-настоящему страшновато! И не потому, что чего-то боишься, нет! А вспомнишь опять римлян и это их бессмертное — “человек человеку волк”, а они ведь понимали толк в волках — недаром же их, по легенде, волчица выкормила. Но у нас даже и в легендах нет волков. Мы люди, и от людей пошли, так, значит, мы братья. В этом все и дело. Да, но и братья бывают

разные. Вот наш аксакал, человек почтенный, солидный, имеет не малые заслуги перед республикой. Наш народ всегда чтит таких. И я чтил как старшего. А что он наговорил на меня на одном собрании? У молодого Пушкина где-то есть: “Я много обещаю, исполню ли, бог весть”, — так ему ж тогда восемнадцать не исполнилось, а у меня уж шестой десяток начинается, так что я знаю, что такое обещать, а потом не сдержать слово. Знаю! Знаю, дорогой аксакал! Но в том-то и дело, что я не все могу, что хочу. Как, кстати, и хочу не все, что могу. Это вы тоже хорошо знаете, друзья мои. Никто еще из вас не почувствовал на себе моих когтей. Хотя, ох как бы иногда было нужно, чтоб почувствовали. И самое главное — никто бы после, даже вы сами, пожалуй, не осудили бы меня за то, что я кое с кем сквитался по заслугам. Но нет, не квитаясь, не могу! Не волк. Ну, а что не все могу сразу выполнить — тут что уж поделаешь? Пожелать добра — это тоже добро, говорят старые казахи. Ну, а у нашего аксакала все как раз проще было. Просто хотелось ему, чтобы на моем месте сидел другой, а не я. Вот он и выступил. И ударил! И только одно меня в тот день утешало — не я один, и весь зал тоже понимал, почему он меня ударил. А впрочем, к шайтану все эти воспоминания! Прошлогодний календарь — вот что они, эти мысли.

“На что пригоден старый календарь?” — воскликнул в одиннадцатом веке один мудрый китаец, поэт Ван-Цзюнь-Юй. Ты прав, старик, сто раз прав. Ни на что он не пригоден. Выбросить его на чердак, пусть он там пылится, пока его не подберет какой-нибудь очкастый историк. “Если враг не сдается — его уничтожают”, написал как-то Максим Горький. Хлестко сказано, конечно. Когда-то со всех стен смотрел на нас этот лозунг. Только вот не сказали вы, дорогой Алексей Максимович, что же значит уничтожить? Физически что ли? Пулю в висок и под откос? На войне так, конечно, и приходится. Ну, а если враг не вооружен и дело происходит не на поле битвы, а вот в этом тихом кабинете, тогда что значит “уничтожить врага”? И разве тем, что я победил, доказав свою правоту, этим я не уничтожил врагов моих? Поэтому, дай вам аллах здоровья, мои дорогие друзья — враги. Арипов-то старый, мы его с почетом проводим на пенсию, а вы засучивайте рукава, кончайте интриги да и начинайте работать! Вы еще очень нужны нашей республике! Ну, а наши ссоры да раздоры... да шайтан с ними в конце концов! — “Сочтемся славою, ведь мы свои же люди”, сказал Маяковский. О славе не говорю, конечно, а люди мы все-таки свои и с этим уж ничего не поделаешь!

Он подошел к холодильнику, вынул бутылку “Ессентуков”, откупорил и жадно выпил. Вода была такая холодная, что даже стакан запотел. “Ух!”, — сказал Акылбек и сразу же налил себе второй. Его сжигал какой-то внутренний огонь, он даже подумал, не заболел ли, но нет, кажется, не заболел. Просто изнервничался до чертиков, ну ничего, это тоже пройдет.

А ночь все длилась. Он сидел в кресле и не то спал, не то просто бредил. Вот что представилось или вспомнилось ему: однажды писатель Айбол, еще мало ему в ту пору знакомый (Ахметжанов только знал, что он недавно восстановлен в партии и работает в издательстве редактором, в КИХЛе), пришел к нему на прием. С делом они покончили быстро и разговорились вообще. Речь, между прочим, коснулась того, что председателем одного из комитетов Совмина назначен Батурин — Айбол знал этого человека давно, еще по комсомолу, не любил и не ценил его.

— Болтун! — сказал он резко и хлестко. — Дешевка. И такой человек будет решать вопросы казахского искусства?

Акылбек покачал головой.

— Ну тут у тебя акцент, конечно, на слове “казахского”? — спросил он.

Айбол пожал плечами, а Акылбек вдруг вспомнил, что он также пожимал плечами, когда ему недавно кое-кто задавал такой же вопрос насчет его самого, и сказал поучительно:

— Вот поэтому нас и обвиняют в национализме. — Айбол молчал. — Ну что, разве не так?

Айбол поднял голову.

— Вы, наверное, помните эти слова точнее меня, — сказал он медленно. — “Искусство должно принадлежать народу, оно должно всеми своими корнями уходить в народ. В самую толщу его”. Так? Цитирую по памяти. Но ведь народ-то не абстракция, это либо русский народ, либо казахский, татарский, либо еще какой-нибудь. Так? И искусство тоже не абстракция, оно либо казахское, либо другое какое-то. Так?

Айбол остановился, ожидая ответа.

— Ну, так, — ответил Акылбек, слегка недоумевая, — но только к чему...

— А вот к чему. Вот сейчас наш Батурин набирает аппарат. Я заинтересовался: кого же он подобрал? И оказалось — среди 78 набранных только четыре казаха. А где же ленинский принцип подбора кадров? Великий вождь указал же, что в условиях национальных республик строго учесть национальный состав населения, а также политические и деловые качества людей. Неужели у нас нет таких кадров? А потом вот эти аппаратчики будут создавать нам искусство для народа? Искусство для казахского народа без казаха, выработанное неким Госучреждением под руководством тов. Батурина?

“Да, с этим, конечно, уж не больно поспоришь”, — понял Акылбек и вдруг улыбнулся, он любил, когда с ним вот так не соглашались.

— Хорошо, я проверю кого там набрали, — сказал он. — Да, это что-то, прямо надо сказать, не того. Семьдесят восемь человек и всего четыре казаха. И тоже верно: искусство народа и искусство для народа — вещи совсем разные. Это правда, правда!

— Противоположные! — подсказал писатель.

— И это тоже, пожалуй, правда! Но понимаешь, национальное — это сейчас такой тонкий, деликатный, перепутывающийся со многими обстоятельствами и соображениями вопрос...

И тут вдруг Айбол сказал:

— Да нет, все очень просто. Вот если у вас есть время, я расскажу один случай из нашего недавнего прошлого. История о жизни и смерти некоего Алеша Васильева. Я хотел написать даже об этом поэму, да форму тогда не подобрал, а сейчас подошли другие дела, так что уж видно не напишу, поэтому, если угодно...

— Ну, ну, я слушаю,— сказал Акылбек.

— Так вот,— Айбол на секунду задумался.— История-то собственно очень простая. Жил-был на свете в казахском ауле Актогай сиротка Алеша Васильев. Русский паренек. Кто он? Откуда он? Как попал в аул — никто этого не знал и особенно не интересовался. Знали только, что трехлетним карапузом его кто-то привез в этот крошечный аул — пять домов на самом берегу реки Есиль. Вот с этих пор Алеша стал сыном аула — всех пяти саманных избушек его. Я говорю избушек, потому что актогайцы не кочевали, они были оседлые, сеяли хлеб, разводили огороды, наверное, их этому научили русские друзья, хотя ближайшая деревня была верст за сто. Именно верст, а не километров. Тогда ведь счет шел на версты и сажени. Место для кочевья было очень подходящее, кругом сплошные джайляу и рядом большая река. Но актогайцы, повторяю, не кочевали, а работали на земле. И мальчик, как и все, копал, боронил, сеял и жал. А дома своего у него не было. Жил он у всего поселка по очереди — неделю у одного, неделю у другого. Ему все были рады. Ну, а когда настал срок учиться, его отправили в русскую деревню, в приходскую школу. Но каждое лето он приезжал обязательно в родной аул и до осени работал вместе со всеми. Тут подошла революция, и приходская школа сделалась обычной советской семилеткой. Алеша Васильев кончил ее и уехал в техникум. Провожали его опять-таки всем аулом: обнимали, надавали подарков, нагрузили продуктами, посадили на лошадь и отправили. Живи, учись, сынок, нас не забывай, к нам в гости приезжай! Но больше он уже не приехал. Кончился НЭП, началась пятилетка, закладывался Турксиб. Васильев кончил техникум, стал комсомольцем, поступил в какое-то военное училище, блестяще его окончил, и занял видный военный пост в районе. Шел уже 1932 год.— Айбол остановился.— Вы тогда где были, в Казахстане?

— Нет, я как раз тогда поехал учиться в Москву,— как-то виновато ответил Акылбек.

— Ну а я, я жил тогда на Карсакпайском заводе и помню все. Руководитель республики того времени и начал наводить свои порядки. Ох и властный же человек был! Имел большие революционные заслуги. Поэтому, наверно, никого не слушал и никто ему не осмеливался возражать! Почти

весь скот он сдал на убой. План мясopоставок был таким образом выполнен, а может и перевыполнен, но что же такое казах без скота? Живой труп! А тут еще на горе наступило жаркое засушливое лето — страшное памятное лето того года. Осыпался хлеб, горели поля. Они стояли желтые и пустые, а люди падали от голода. Из аулов и деревушек, кто мог, потянулись в город. Там хоть карточки давали. И вот получилось, что народ, обладающий необозримыми просторами, стал гибнуть в своих степях и долах, ибо им не дали время приспособиться к условиям новой жизни. Так львы и тигры, воспитанные в зверинце, погибают под небом родной Африки, если их выпускали на волю.

Но руководителю республики и на это было наплевать. Да и не особенно он, по правде говоря, замечал это, пожалуй. Для него один был бог — План! Он одно видел и понимал: план, план, проценты! Конечно, это и должно было кончиться катастрофой! Помню, однажды пришла к нам старуха из нашего родного аула. Усадили мы ее, накормили. Поела она и заплакала. “Ты что, апа?” “Да как же, детки, смерть наша пришла! Коллективизация!” И ведь по-русски не знает, а это слово выговаривает чисто! — “Да что ты, апа, глупости говоришь? Какая же это смерть? Лучше будет”. Не слушает, плачет. “Какое там, сыночки, лучше, детей отнимут, жен поделят, а потом сошьют на весь аул одно одеяло, выстроят посередине аула большой сарай и заставят всех спать вместе...” И опять в слезы. А потом подняла голову и улыбнулась. “Ну ничего! И им тоже много не достанется! Нас уж добрые люди научили: сами в Аугастан уйдем, а скот перережем. Придут — одни мослаки соберут”. Ну и порезали весь скот, конечно, а новый скот где взять? Вы сами представляете, что такое для нас местные породы — они уже не восстановимы.

— Да, представляю,— вздохнул Акылбек.— Отлично представляю.

Ему не так давно попался в руки один замечательный документ “Протоколы учредительного съезда Советов КазССР”. Когда он готовился к борьбе с Кусеповым за исконно казахские земли, референт принес и положил ему на стол три толстых тома: “Съезды Советов в документах”, там он и прочитал одни вещице и, как ему показалось, почти пророческие слова.

— Постой-ка,— сказал он Айболу, выдвинул ящик стола, достал книгу, открыл на закладке и ткнул в отчерченные строки,— читай! Вслух!

“Казахский скот,— прочитал Айбол,— как вполне акклиматизированный, является единственно возможным при данных природных условиях края, представляя из себя совершеннейший аппарат по переработке грубой растительности и высококачественные сорта мяса и другие продукты... С гибелью этого скота в будущем невозможно восстановление животноводства этого края за счет других районов РСФСР. С уничтожением казахского скота большинство территории КазССР неминуемо превратятся в пустыню, а народ, населяющий этот край, будет поставлен в необходи-

мость быть может навсегда покинуть свою родину”. Последние строки были дважды перечеркнуты красным карандашом.

— Здорово! — сказал он, откладывая книгу.

— А ты обратил внимание на дату, Айбол,— Акылбек перевернул страницу,— 10 октября 1920 года! Вот еще тогда 197 коммунистов и 76 беспартийных поняли, что надо краю! Не идти против природы и народных обычаев, не ломать их, а внять им, и самому у них научиться. Ах, коммунисты 20-х годов! Наши отцы! Наша кровь! До чего вы были мудры!

Айбол прочитал страницу до конца и отложил книгу.

— Действительно вещие слова. А вот руководитель республики не понимал и не хотел понимать! И за это имя его наш народ, наверное, будет всегда произносить только с гневом. И так, понятно что произошло. Скот порезали, хлеб не уродился, на одной рыбе не проживешь, да и где она? Ну, значит, смерть! Голодная и холодная смерть! А руководитель-то республики шлет в Москву победные рапорта! Ему верят, ордена шлют. Что делать? Где искать помощи? Тогда все, кто еще уцелел, ринулись в город на стройки, там хлеб, пайки, работа — как-нибудь проживем... Но кто дошел, а кто и нет. Так степь и была завалена трупами. Как во время Великого Бедствия 1723 года при джунгарском нашествии. Тогда только от голода и холода вымерло три пятых населения.

— Ладно,— хмуро усмехнулся Акылбек, он просто не мог всего этого вынести,— знаешь, все исторические параллели рискованны. Ты давай лучше про Алексея.

— Говорите, что исторические параллели рискованны? Нет, коллективизация — это великое дело, одно из светлых начал коммунизма. Она потом помогла победить и в Великой Отечественной войне. Но я говорю о ненужных жертвах “перегиба”, осужденного еще тогда нашей партией, — он махнул рукой, словно хотел сказать, что “все это прошлое” и начал снова.— Так вот про Алексея. Конечно, и крошечный поселок Актогай не избег общей участи. И не такие аулы пустели, а тут какие-нибудь 25-30 человек. Кто посильнее, тот бежал, кто послабее, тот так и остался навеки на родной земле. А в это время в Москве уже поняли что к чему. Голощекина сняли и послали сильную продовольственную помощь. И вот коммунист Алкей (так его звали одноаульцы) или комбат Алексей Васильев с двумя красноармейцами и адъютантом с продовольствием приехал в родной аул. Потом красноармейцы рассказывали: еще за околицей их встретили черные лохматые чудовища, шерсть на них висела клочьями. Это были пастушеские собаки, отъевшиеся на трупах. А трупов им хватало. Трупы валялись в степи и у соседних сопок, видимо, из ближайших аулов люди потянулись сюда, ведь у актогайцев хлеб был всегда. Ну и пошли. Пошли, да не дошли, и достались собакам. Вот так.

Айбол замолчал и молчал так долго, что Акылбек сказал:

— А аул?

— А аул был пуст. Все дома настезь, все вещи на местах, а люди... нет людей. Одни собаки трупоеды, да вороны, да мертвецы. Вот так и ходил командир батальона, по-русски Алексей Васильев, по-казахски просто Алкей, по мертвой деревне и смотрел. А потом он снял фуражку и сказал: “Берите лопаты, будем рыть могилу. Одну общую для всех”. И стали копать большую яму. Полдня копали. Потом пошли собирать мертвых. Таскали и к вечеру еле справились, и когда они лежали рядком, Васильев сказал:

— А теперь мне осталось похоронить самое мое дорогое. Идемте.

И повел их еще к одному дому — крайнему. Дверь его была плотно закрыта. Это Васильев ее прихлопнул. Он с первых же минут бросился к этому дому, вошел в него один, другим же сказал: “Подождите!” Вошел и почти сразу же вышел. И тогда отдал приказ копать яму. А сейчас он встал у двери, подождал, пока все войдут в избу, сам вошел последним и закрыл дверь. А все как вошли так и застыли перед кошмой с трупами, что лежали посреди комнаты. И стояли так, пока Алексей не сказал: “Ну, берем”. Тогда стали поднимать мертвецов. А лежали на кошме двое — бронзоволицый красивый, но исхудалый как скелет старик лет семидесяти и девушка, почти девочка, вряд ли ей и семнадцать исполнилось, красоты поразительной и нежной. Голод как бы снял всю тяжелую плоть, все покровы с этого тонкого девичьего лица, и от этого оно стало еще более прекрасным. И было мертвое лицо, как и лицо старика, совершенно спокойным. Как у спящей. Смерть пришла, видимо, недавно, потому что даже черные лохматые собаки с запекшимися мордами не успели еще сюда добраться. Подняли кошму и понесли. Дошли до ямы и тут Алексей, называемый Алкеем, сказал: “Положите их отдельно”.

И когда кошму тихо опустили на землю, он встал над ней и сказал:

— Спи, мои дорогие! Спи, дедушка, и спи, моя сестрица! Я помню, как ты стояла в день моего отъезда около ног дедушки, смотрела на меня и плакала. Жалко ей было, сестренке, меня! Кто же с ней будет играть в прятки?

Замолчал, что-то вспомнил и заговорил снова:

— ... Ну и тогда дедушка наклонился, погладил ее по волосенкам и сказал: “Не плачь, не плачь, доченька, он же вернется и нас будет учить, как надо жить. Видишь ведь как все у нас переменялось: волостного нет, царя нет, казаки с нагайками не ездят, никого не пугают. Это все принесли нам русские. Все хорошее сейчас от них. Вот за этим хорошим мы и посылаем сейчас нашего Алкея. И будем ждать назад”. И девочка заулыбалась. А дедушка полез за пазуху, вытащил серую тряпочку, развернул ее, вынул золотую десятку и сунул мне. “Поезжай, сынок! И больше бы дал, да нету. На похороны берег, ну да тебе нужнее меня, небось, мертвого и так закопают”. И вот мы его закапываем.— Он снова помолчал.— Прости меня, дедушка. Прости за все! Прости, что не сумел уберечь никого из вас, мои родные. Прости за то, что не приехал вовремя, а больше всего прости за

то, что ты умер, наверное, уже ни во что не веря. Обманул, мол, нас Алкей, сбежал! Ведь ты первый построил тут дом и привел сюда родичей. Первый запряг корову деревянной сохой и провел первую борозду. “Будем жить, как русские”,— сказал ты тогда. И вот около этой борозды мы тебя и хороним. Прости, дедушка. Прости сестренка! Простите меня все мои родные! Но не обманули мы вас, нет! Все мы принесли, что обещали, а все сделаем, как говорили! Вот только вы это не увидите! — он надел фуражку и махнул рукой: — Закапывайте!

И первый бросил ком земли. А потом, когда работа уже подходила к концу, положил лопату, отошел в сторонку, повернулся спиной и все услышали выстрел. Оглянулись, а он (я сам слышал этот рассказ) уже валится на колени, а в руке зажат браунинг.

Закапывать его со всеми не стали, привезли в город. Там и похоронили. Там и сейчас его могила. Вот так умер русский человек Алексей Васильев, по-казахски Алкей.

— Так вот это и есть настоящая дружба народов,— сказал Айбол, кончая рассказ.— Когда все друг к другу будут относиться так, то само собой, исчезнут всякие национальные недоразумения, клевета, обиды. Они просто станут невозможными. Вот чего не понимают эти батурины, писатель хотел сказать что-то еще, но резко оборвал себя на полуфразе.

— Пока он говорил, Акылбек молчал, смотрел на свои сложенные руки, потом поднял голову и сказал:

— Ты писатель и потому рассказал мне всю эту историю по-писательски. Нет, нет, в вымысле и в красоте слога я тебя не обвиняю. Но ведь вы, писатели, острее других чувствуете чужую боль, в особенности, если это боль целого народа. И вас возмущает, когда другие молчат и таят это же чувство в себе. Вам такие кажутся холодными, расчетливыми, а то и просто равнодушными. Но ведь пойми — чувствовать острее, не значит чувствовать глубже. Просто есть люди, которые не любят громких слов, которым кажется, что и само слово бессильно, там где нужны конкретные дела. И честное слово, рыдать — это не мужское занятие. Ведь что значит любить свой народ? Это быть готовым отдать за него все, что у тебя есть — благополучие, место в жизни и, наконец, когда это понадобится и саму жизнь. И вот тут такой парадокс — кто не любит другой народ, тот и свой народ никогда по-настоящему не любил. Только криком у него все и кончалось. А кто любит свой народ, тот не может не любить и другой. Потому что понятие любви к своему народу — это все-таки понятие честное от любви к человечеству и человеку в целом. Поэтому это чувство недоступно националистам, как бы они о нем ни кричали. Их любовь показная, она прикрывает ненависть или равнодушие ко всему, что непохоже на них самих. Будь хоть сто раз урод, будь негодяй из негодяев, но только будь свой негодяй. А мы, коммунисты, любим всех хороших людей и ненавидим всех

подлецов, независимо от национальности. Твой Алексей любил свой аул, потому что в нем жили хорошие люди и они сумели воспитать в нем благородные, общечеловеческие чувства. Вот за них, за эти чувства он и отдал свою жизнь. Его любовь была не беспредметной, а живой, деятельной, обоснованной всеми событиями его жизни и жизни тех, кто вспоил и воспитал его. А если Батурины не понимают этого, то что ж — их можно только пожалеть и следить за тем, чтобы они не внесли в жизнь лишней доли зла. В мире его и без них предостаточно. Ну да что говорить, — он усмехнулся, — ты же грамотный, газеты читаешь, других добру учишь. Ну вот и я это делаю, только по-своему.

После этого они долго молчали. А потом скоро попрощались. В этот день больше говорить уже было невозможно.

Три часа ночи — надо спать, спать, спать! Нельзя приходить на работу с опухшими подглазьями и клевать носом — этак и от работы толку не будет. Надо спать. А ведь он, похоже, весь дом заразил своей бессонницей. — Вон и в спальне зажегся свет, значит, и жена тоже не спала, лежала и ворочалась, а сейчас взяла книгу. Наверное, читает, а строчек не видит, думает о нем.

Надо спать.

Сейчас пойду и лягу.

Хоть и не засну, но все равно буду лежать с закрытыми глазами. Эх, как спалось мне в студенческие годы в общежитии! Как пришел, как рухнул — так сразу и заснул! Да что там вспоминать! Такого уж никогда больше не будет! Скажи мне, кто сейчас: Хочешь снова стать молодым, худым, безвестным? Ни секунды бы не раздумывал, махнул рукой и на свой высокий ранг и на длинный ряд орденов, без сожаления, сейчас же натянул бы полосатую футболку и парусиновые штаны и пошел бы! А сейчас? Смотри, у тебя уж виски побелели, около глаз морщины, ты только кажешься молодым, а на самом деле-то, если говорить по совести, то старость уже стучится в дверь: принимай меня, дорогой товарищ Ахметжанов, вот я и пришла! Черт с тобой, приходи, старуха! Что надо, то я сделал. Не все, конечно, что хотел, и не во всем, так как хотел, но все же... но все же... Да, писатель прав, за этим Батуриным надо глаз да глаз, а то, пожалуй, он наломает дров.

Властный был руководитель республики того времени! Каждый казах, произнеся это имя, обязательно вспоминает тот бедственный год. "Да, говорит писатель Айбол, был у нас и такой, выражаясь по Салтыкову, Топтыгин Первый! Этакий Медведь на воеводстве. Корежил, уродовал, ломал, пока его самого не сломали". Может быть прав писатель? Не знаю, не знаю. А сменил его другой мягкий, чуткий человек. Выходец с Кавказа. Вот про кого ничего плохого не скажешь. Он был совсем другим, входил во все нужды, ничего не ломал, ничего никогда не решал один, всегда при-

слушивался к мнению других — с ним можно было спорить. Если был не прав и ему это доказывали, то уступал сразу. Но опять-таки, приехал он издалека и привез с собой уже готовый штат, целую “свою артель”, как сказал Сталин. Может быть, это были и ценные работники, но что они понимали в делах незнакомой республики? Какой дельный совет могли подать нам, выросшим на этой земле? “Не зная языка ирокезского, какое ты можешь иметь о нем понятие, кроме глупого и неосновательного”, примерно так сказал Козьма Прутков.— Акылбек не удержался и тихонько засмеялся. Потом он исчез и приехал товарищ из Москвы, этому пошли аллах доброго здоровья, был он человек честный, чистый и принципиальный, хотя и неприветливый и довольно жесткий, но республику знал хорошо, понимал, что она может, а чего нет. При нем Казахстан сделался мощной индустриальной державой. Он многих поставил на ноги, в том числе и меня. Его сменил товарищ с Дальнего Востока, потом был казах. Какими бы они ни были, республика росла и возмужалась, но несметные богатства республики и ее экономические потенциалы требовали новых скачков, нового подъема. И вот в 1954 году к нам приехал Светлов. При нем республика стала не только индустриальной, но и мощной аграрной. Ему-то лично я обязан многим. (Это может произошло от того, что я впервые стал рядом с человеком такого размаха). Он прежде всего научил меня мыслить большими категориями, масштабно, государственно. Последним был Кусепов, этот местный уроженец, человек неглупый, исполнительный, но как руководитель — много ему не хватало! Не руководил он, а рубил и в глаза взглядывал начальству, что он скажет, как ему это все понравится, как посмотрит? И за многими его действиями скользили мелколичные соображения. И, конечно, слетел очень быстро. Слетел и даже, наверное, не понял, за что! Эх, Кусепов, Кусепов, не дай мне аллах хоть в чем-нибудь повторить тебя! А ты сейчас сиди и хорошо исполняй то, что тебе укажут. Это ты можешь, этого у тебя никто не отнимет, а вот рассуждать государственно... Да, вот что самое для меня важное — делать все самому! И не размениваться на мелочи, не ловить мышей, и, конечно же, не сводить своих счетов! Вот мой предшественник Черняев — разве маленький был человек? А заставили его руководить республикой и что получилось? Никого он не слушал, ни с кем не советовался — вершина сам,— и скоро пошло у него такое, что даже бывалые и выдавшие всякие виды республиканские работники схватились за голову. А сердцем был жесток и пощады не знал. Взять хотя бы тот разговор об Азирбаеве, после которого была послана умирающему эта дурацкая бессовестная повестка с требованием явиться к следователю. Можно себе представить, что он почувствовал там, в Москве, лежа в своей матрасной могиле. А потом было уже вообще поздно. Когда Черняева сняли, и Ахметжанов затребовал дело Амиржана к себе, тот уже находился на смертном одре. И только за день до конца он узнал,

что его друг вызвал к себе прокурора и тоном, не терпящем никаких возражений, четко, сухо приказал больше Азирбаева не трогать. Это передал умирающему постпред республики Ашамбаев, только что приехавший в Москву.

“Так, ему поклонись,— ответил Азирбаев, выслушав все, он уже не в силах был оторвать голову от подушки.— Только ему одному ты и поклонись. Слышишь? Скажи, что я снова его узнал, хоть может за час до смерти, но узнал все-таки. Это очень хорошо, когда снова узнают человека. Очень хорошо. А всем другим друзьям...” — у него пересекся голос, он поморщился и закрыл глаза.

“Да,— подумал Акылбек,— Этот хоть узнал, а вот председатель так и умер в сознании, что я мечу в его кресло. Эх, люди, люди! И обвинять вас страшно — сам же человек, но и понять вас иногда ох, как трудно! Неужели и я бы мог... Черт! Нет, лучше не думать о таких вещах! Вот прокурор ведь не думает. Лежит сейчас и, небось, храпит во сне, а у меня бессонница! Ну что ж? Он страж закона. Что еще с него требовать? Ну ладно, он, положим, страж закона, а мы что же? Мы тогда кто? Покровители преступников! А наверно, ведь он думает именно так. Для него нравственность — это только форма правовых отношений. Прокурор, следователь, судья, подсудимый, осужденный — ну где здесь поместиться еще морали? Негде! Узко! Все уже занято! Выловить, выявить, покарать — вот его задача. А я смотрю — покарать-то покарать, да только как? Иногда снисхождение принесет в сто раз больше добра, чем скамья подсудимых, конвой и решетка!.. Не думаешь ты об этом, товарищ прокурор, потому что не твое это совсем дело. И я мало думаю, потому что хотя это и мое дело, но разве всюду поспеешь? Вот вторая моя большая монография который месяц уже лежит недописанная, потому что на столе у меня докладная о противоселевых мероприятиях, и все ее 500 страниц нужно не только прочитать, но и изучить. Вот так и не доходят руки. Так и теряем людей. И говорим — “а что поделаешь? Когда же? Некогда! Всех и солнышко не обогреет”. Верно! Все верно. Но только, как это однажды сказал Дзержинский: “Кто из вас очерствел, кто не может чутко и внимательно относиться к терпящим заключение — те уходите из этого учреждения. Тут больше, чем где бы то ни было надо иметь доброе чувство и чуткое к страданиям других сердце”. А сказано это было, между прочим, в годы гражданской войны и разрухи. Так вот сколько же тебе лет стукнуло, товарищ Верховный прокурор республики? Не пора ли тебе уж на пенсию?”

Ахметжанов обещал Гаврилову приехать еще весной, но как известно, обстоятельства сложились так, что он не смог сдержать свое слово. Только в конце лета, воспользовавшись тем, что у него выдалось два-три менее напряженных дня, он на машине сумел выехать в хозяйство Гаврилова.

Земля колхоза тянулась узкой полосой по южным склонам Джунгарского Алатау — с севера на юг — более чем на сто километров. Их общая

площадь составляла почти семьдесят тысяч гектаров, из них сельскохозяйственных угодий — почти половина, десять тысяч — пашня, остальное — пастбища. Колхоз в основном занимался кукурузоводством, разведением овец и крупного рогатого скота.

Ахметжанов и Гаврилов, оба ладно сложенные, крепкие, спорили по горному склону вдоль огромного хлебного поля, на котором волнами колыхалась густая, еще не дозревшая пшеница. А дальше, почти на горизонте, ветер тяжело покачивал зеленую стену кукурузы, украшенной большими початками, над которыми развевались шелковистые султаны.

Гаврилов четко, немногословно рассказывал Ахметжанову о колхозе, его особенностях.

— Земля у нас, — говорил председатель, шагая в ногу с Ахметжановым, — в основном суглинка, переходит кое-где в сплошные пески. В общем, почвы бедные, всегда требуют удобрений, так что мы систематически обогащаем наши земли.

Ахметжанов слушал не перебивая, внимательно смотрел на тучные поля. А Гаврилов продолжал рассказывать.

— Солнца и тепла у нас предостаточно, можно выращивать даже хлопок, рис, табак. Хорошо вызревает виноград, персики... Но вот влаги у нас маловато. Это лето выдалось дождливое, а обычно дожди — редкость, жара стоит несусветная и земля наша может хорошо родить только при искусственном орошении.

— А вода-то на орошение есть? — спросил Ахметжанов.

— Немного, но есть... Когда в горах начинается мощное таяние снегов, мы запасаем воду и расходует бережно на полив кукурузы, пшеницы, кормовых трав. Поливные земли — это наше золото! У нас есть оросительная система, по ней мы забираем воду из горных речушек. Этим летом мы должны были начать тянуть новый канал, воду из рек можно брать еще больше, но вот не смогли приступить к строительству...

— Почему?

— Вы знаете, даже говорить неудобно, — вяло улыбнулся председатель. — И проект утвердили, и деньги выделили на это дело, а тут такая история случилась, что не до канала стало. Теперь вот думаем закончить уборку, а потом уж займемся строительством...

— Что за история?

— Да Кусепов прислал ко мне целую комиссию! Помните что было с прославленным председателем колхоза Алдабергеновым? Ну вот, видимо такое же дело хотели и мне приклеить... Комиссия возилась целый месяц.

— И что нашла?

— Да ничего. Кроме хорошей работы. Как бы там ни было, но ведь в комиссии были хорошие люди, вот объективно во всем и разобрались. Но сначала они были настроены иначе, они приехали уже с настроением...

Ахметжанов нахмурился: “Как же я забыл об этом? Знал же, что Кусепов не оставит в покое Гаврилова! Вот тебе и выдвижение лучшего председателя колхоза в райком или райсовет! Как же, жди от него!”

— Почему мне не сообщили? — резко спросил Акылбек, все более накаляясь от выходки Кусепова.

— Да зачем? У вас и без того дел хватало, — сказал Гаврилов. — Тем более все закончилось благополучно. А вообще, я думаю, если бы Кусепов просидел на том посту еще год или полтора, он бы успел натворить дел... Это правильно, что его сместили.

— И не одного Кусепова...

— Да-да, не одного. А то в наших хозяйствах уже такая чехарда началась, что мы и не знали, что делать. Каждый день новые речи, каждый день новые установки, от них голова кругом шла!

— А как народ повел себя?

— Народ? Народ, что ж, его же не обманешь. Решение партии люди приветствовали!

Ахметжанов удовлетворенно кивнул и вздохнул, словно с облегчением.

— Ну ладно, теперь это все в прошлом, — негромко сказал Гаврилов. — У меня к вам просьба... Дайте совет. Я уже говорил, какая у нас нелегкая земля. Но при орошении кукуруза на ней растет хорошо. Но, понимаете, мы никак не можем добиться таких урожаев, как в Узбекистане или на Дону. Все перепробовали — и сортовые семена, и удобрения, и агротехнику...

— А как гибридные семена? — быстро спросил Ахметжанов.

— Тоже пробовали. Может быть, они не подходят для нашей почвы...

— Возможно, возможно... — задумчиво проговорил Ахметжанов. — Конечно, на каждой земле надо сеять именно то, что хорошо растет на ней, это вы и без меня знаете. Но я бы все же посоветовал вам попробовать такие же гибридные семена, что используют в колхозе имени Ленина в Киргизии. Урожай у них отменные, а земля, насколько я помню, такая же как и у вас. Да, точно! Такая же суглинка, переходит в пески... Я в прошлом году там был. Попробуйте!

— Хорошо, посмотрим, как у них там дела, — сказал Гаврилов. — Завтра же отправлю туда нашего агронома. Это киргизское хозяйство, как жется в Ошской области?

— Да, в Ошской...

...Из хозяйства Гаврилова Ахметжанов вернулся посвежевший, словно бы обновленный, готовый взяться за свои дела с новой энергией.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Из записок писателя Айбола.

“Сегодня я окончательно понял, что до Акылбека Ахметжанова мне еще очень далеко. Никак не совладаю с собой: гневлив и на зло памятлив.

Нет, не на зло, причиненное мне лично,— этого у меня нет пока,— но память на все другое нехорошее: на двуличие, черствость, изворотливость, подлость лицемерие. На то, что сегодня ты пройдешь мимо меня и не заметишь, а вчера в глаза мне заглядывал, руку к сердцу прижимал, слова какие-то хорошие говорил. Или все наоборот. Вот вчера все было наоборот. Вот что случилось вчера. Секретарша пошла и сказала, что ко мне пришел какой-то профессор, принес рукопись. Дело самое обычное, но только почему же именно ко мне? Я директор издательства, руководитель, а для рукописи есть отделы, редакторы, заместители, а я уж самая последняя инстанция.

— А в чем дело, Роза? Почему он ко мне? — спросил я настойчиво.

Оказывается, прислал его ко мне председатель Комитета по делам печати.

— Ах так! Ну, давайте, давайте! Пусть заходит!

И он зашел.

— Здравствуйте, Айбол,— сказал он так радушно, как только мог.— Я очень рад, что вы...

Я встал, пожал протянутую мне с тяжелым достоинством руку и пригласил:

— Садитесь, пожалуйста.

Но это было, пожалуй, даже излишним. Он уже сидел, и сидел крепко, закинув ногу на ногу. Словом, он держался так, как будто и сейчас был, как год назад министром. И мне даже завидно стало — да, такого так просто не возьмешь! — подумал я,— он за себя постоит! Тем не менее, я сразу заметил, что от члена правительства в нем, собственно говоря, осталось маловато. Раньше это был упитанный черноусый красавец, а сейчас только эти усы и сохранились. Его поистине великолепные иссиня-черные усы. Как я запомнил их однажды! И как я возненавидел их в тот день! Это случилось давно, лет пятнадцать тому назад, в мягком купе скорого поезда Москва — Алма-Ата, на перегоне, помню точно, Аральск — Кызыл-Орда. Два дня у меня тогда не было крошки во рту, ни копейки денег в кармане, и не у кого мне было их достать. Всю дорогу от Москвы я ехал один в купе, и когда, наконец, утомленный голодом и усталостью, заснул где-то под Аральском, то проснулся ночью от шума шагов и голосов. Три человека весело болтая стояли в купе. Меня они не видели, я лежал на верхней полке”.

Писать становилось все труднее и труднее. Айбол положил ручку, встал и прошел по ковру.

Стояло раннее розовое утро, любимое время его работы. Все домашние спали, и даже птицы в палисаднике еще не чирикали. Айбол тихонько шагал по ковру и думал.

Это случилось, когда он в очередной раз ездил в Москву добиваться восстановления в партию. Тогда он только что освободился, нигде не работал, не печатался — жил на займы. И тут перехватив у кого-то какие-то

гроши, решился снова поехать в Москву на прием к председателю комиссии партконтроля. Раньше Айбол уже несколько раз пытался прорваться к Председателю, но из этого ничего не получалось. А сейчас, когда на это место пришел другой человек, Айбол опять начал надеяться. Но и в этот раз к председателю его не допустили, а попал он к обыкновенному партследователю — пожилому, внимательному, немногословному человеку. Партследователь выслушал его внимательно, задал несколько вопросов, посмотрел документы, а потом сказал, что восстановить его должны в ЦК Компартии Казахстана.

— Нет, там меня никогда не восстановят,— упрямо помотал головой Айбол,— я писал несколько раз Нурахметову, так он не передал мое заявление даже в партконтроль.

Следователь улыбнулся.

— А как раз только вчера освободили товарища Нурахметова от работы. Значит, придут новые люди, они и разберутся. Поезжайте! — и вдруг еще раз как-то по-новому остро взглянул на Айбола и снял трубку, набрал какой-то номер,— Иван Петрович, это я вас опять тревожу,— он назвал свою фамилию,— слушайте, нельзя мне поменять республику, то есть поехать не в Узбекистан, а в Казахстан? Там меня занимают некоторые вопросы, хотелось бы разобраться с ними на месте! Да и внести по одному делу, может быть, свою рекомендацию,— говорил он не торопясь, выслушал ответ и опять начинал говорить также обстоятельно и спокойно.— Да, я тоже думаю, что от этого ничего не изменится. Ну, спасибо! — он опустил трубку и посмотрел на Айбола.— Так вот, дорогой товарищ, возвращайся поскорее в Алма-Ату. Через два-три дня и я прилечу, вот там и увидимся. Захвачу все ваши заявления и разберусь на месте. Так будет, пожалуй, лучше всего.

Айбол поблагодарил и хотел уже вставать, но тот придержал его руку.

— Слушайте, а что у вас такой вид,— спросил он озабоченно.— Плохо спали? А деньги-то у вас есть? Обратно-то есть на что ехать?

Не было у Айбола денег, то есть ломаного гроша у него за душой не было. И вторые сутки он уже ночевал на вокзале.

— Так вот какие дела! — сказал протяжно партследователь, выслушав его ответ,— как же вы собрались-то? Вам есть где остановиться?

А остановиться Айбол собирался у брата. Брат его жил в Москве и служил в Люберцах. Он кончил военно-воздушную академию им. Жуковского, был оставлен при кафедре, потом защитил кандидатскую и как будто надолго застрял в одной из авиачастей. И надо же было так случиться, чтобы за два дня до приезда брата его вместе с семьей перевели в Ригу. Так Айбол и оказался совсем на улице, ни знакомых, ни родных — никого!

— И что же теперь? — спросил партследователь.

Айбол пожал плечами.

— Попробую обратиться в постпредство, но не знаю, что выйдет, там таких, как я не больно привечают.

— Да! Вот беда-то,— вздохнул следователь и снял трубку, снова набрал какой-то номер. Теперь он разговаривал с кем-то из хозяйственников. Он сказал, что ему требуется один билет до Алма-Аты, что деньги на это надо авизовать финхозсектору ЦК КП Казахстана, а он, когда там будет, поговорит с ними и деньги вернут. Но что надо выдать денег не только на билет, но еще и на суточные, из расчета, примерно, пять дней. Что человек, о котором идет речь, сидит у него и он пошлет его сейчас же. Партбилета у него нет, а паспорт он предъявит. Что очень хорошо бы, если бы эти деньги вручили бы ему немедленно! Да, такие очень трудные и сложные обстоятельства. Конечно, это бывает! Все, все бывает, конечно. Вот поэтому я и прошу помочь. Отлично! Сейчас он идет. Билет он возьмет сам.— Партследователь положил трубку и сказал:

— Ну вот, кажется, и все.— Он вырвал из блокнота листок и написал адрес.— Поезжайте сейчас туда и спросите... Ну тут сказано кого. Он пойдет с вами в бухгалтерию и все сделает, а вы сейчас же берите билет и уезжайте.

И все вышло как по писанному. Айболу выдали деньги он сразу же поехал на вокзал, встал у кассы, но когда дошла его очередь, то оказалось, что скорый “Москва — Алма-Ата” только что ушел, а следующий пойдет через день. Пришлось опять-таки две ночи ночевать на вокзале. Так утекла какая-то часть суточных. Другая, и даже более основательная, ушла на доплату за мягкость (в кассе оставались только билеты на купированные мягкие места). Одним словом, когда Айбол вошел в вагон и залез, наконец, на верхнюю полку, у него осталось всего-навсего пятьдесят копеек и, конечно, сколько он ни жался, через два дня и этот несчастный полтинник испарился весь, и Айбол начал голодать. А ведь ехать-то надо было еще двое суток! И вот странность! Все купе рядом были переполнены, там пили, играли, пели, а к нему никто даже и не заглядывал (потом уж он узнал, что все это купе забронировано еще в Москве для партийной делегации). Только на станции Кызыл-Орда в купе вошли эти три человека. Ах, эти три человека! Эти трое!

Айбол еще прошелся по комнате, потом сел и стал быстро писать.

“Первого из этих трех я узнал сразу же. Вернее, не узнал, а угадал, кто он (я его раньше видел только мельком). Это был председатель Кызыл-ординского облисполкома. Когда я вышел из лагеря, он работал заместителем министра культуры. И тогда его уже не любили, он был из тех, которые всегда готовы порадеть родному человечку и равнодушно проходят мимо всех остальных. Они ему попросту неинтересны. Но самым неинтересным из всех был я, историю которого он, конечно, слышал. Я знал это и потому к нему ни разу не обращался.

Вторым был какой-то еще совсем молодой человек, тоже почему-то мне смутно знакомый, не то я с ним когда-то встречался, не то он походил

на кого-то (потом оказалось, что он помощник председателя). А третий... Я сразу обратил все внимание на него. Его-то я знал хорошо. Был он широкоплеч, высок, ухожен, тщательно со вкусом одет, надушен, выбрит, носил яркий цветастый галстук и щегольские желтые ботинки. У него было смугловатое лицо и великолепные густые усы. Хотя произошла смена моды, и многие уже брили голову наголо, он еще не успел снять, выбрить свои пышные усы, словно боялся, что потеряет свою индивидуальность и особую значимость. Встречаться мне приходилось с этим человеком не часто, но наслышан о нем я был здорово. Его когда-то считали надеждой и красой казахской интеллигенции, даже больше — восходящим светилом ее. В течении каких-нибудь двух лет он защитил докторскую (“Психологические взгляды Ушинского”), получил звание профессора, был назначен министром и ректором университета. Взлет в его летах, конечно, небывалый.

Все трое негромко переговаривались, пересмеивались и никакого внимания на меня не обращали. Но поезд стоял, и надо было же мне как-то дать знать о себе. Я поднял голову и сказал “Здравствуйте”. Такой уж исконно казахский обычай вежливости — если очутился в одном помещении с незнакомыми обязательно здоровался со всеми. Мне дружно ответили все трое.

— А где это мы стоим? — спросил я будто спросонку (не знаю почему, но я сразу почувствовал себя очень неловко).

Мне ответили, что это Кызыл-Орда, а помощник даже ласково пояснил — бывшая столица республики.

Я слез с полки, надел пальто и вышел на перрон. Стояла ясная весенняя ночь. Подмораживало. Людей не было, ларьки не торговали, только горели у дверей вокзала белые и желтые фонари. Я походил по пустому перрону, поскучал, позевал, а когда, наконец, прозвенел третий звонок, вернулся в купе. Теперь в нем уже находились четверо, а узенький жесткий столик у окна был заставлен и завален. На тарелках лежали толстые ломти казы с вкуснейшим янтарным жиром и свежеспеченные баурсаки. Бурой горой высилась жареная индейка, стояла открытая и непочатая банка черной икры и отдельно на пергаменте лежали тонко нарезанные ломтики голландского сыра. А с двух сторон, как часовые стояли (и как показалось мне, уже дымились) откупоренные бутылки коньяка и боржоми. Все это расставлял, резал и любовно раскладывал на тарелки четвертый пассажир (потом я узнал — он был заместителем председателя облисполкома по культуре).

Помощник стоял поодаль и тихонько любовался этим фламандским изобилием. Услышав, что кто-то зашел, четвертый пассажир поднял голову. Я сразу же узнал его. Когда-то мы работали вместе в ЦК партии Казахстана.

— Ба, Айбол! — воскликнул он — Какими судьбами?

Я сказал что возвращаюсь из Москвы.

— Ах, вот как! Был в командировке? Так что у тебя все в порядке?

Говорить не хотелось, но и молчать тоже было невозможно, поэтому я коротко сказал, что ездил в Москву на парткомиссию. И так как все

установились на меня, объяснил: подавал заявление о восстановлении в партии.

— Ну и как? — спросил меня заместитель председателя, открывая от индейки раскрасневшееся потное лицо.

— Я сказал, что пока никак.

— А есть надежда?

— Я сказал, что надежда есть, конечно, всегда, но...

Вот тут и подал голос этот черноусый, гордость и краса казахской интеллигенции. Во время всего этого разговора он сидел и смотрел на меня, застрявшего у двери, прямо в упор, не моргая. Таким взглядам учатся, тренируются перед зеркалом.

— Да, трудно, очень трудно даже решить как следует поступить вот с таким, как вы,— выговорил он жестко, четко и небрежно.— Ну да, вы раскаялись во всем содеянном,— он был философ и выражался точно по уголовному кодексу.— Но ведь что раскаянье? Не надо было грешить, а раз уж согрешил...— он хотел, видно, еще что-то добавить, но раздумал, рывком повернулся к помощнику:

— Ну так давайте доигрывать что ли, уж поздно,— сказал он и вынул из кармана колоду.

— Да ведь Петра Ивановича-то нет,— сказал помощник,— так как же мы...

— Ну в Кзыл-Орду мы за ним возвращаться тоже не будем! — слегка поморщился чернобровый.— За него вот сядет товарищ,— он кивнул на того, четвертого, на заместителя председателя.— Садитесь, садитесь, товарищи, и займемся делом. Так кому сдавать? Мне. Ну, я пошел.

Намек был ясен, и я молча полез на свою полку. Да, не часто, очень не часто казахи так грубо и бесцеремонно нарушают исконный закон степного гостеприимства. Но что делать? Коммунистам, видно, зазорным показалось сидеть за одним столом с исключенным. Может быть, они и были правы, но я-то знал, что сам ни при каких обстоятельствах я так бы поступить не мог. Есть же мне уже не хотелось. Я словно застыл и заостенел от жгучей обиды. И только минут через десять стал снова различать голоса.

— Ваша взятка,— сказал председатель и сочно крякнул после рюмку коньяка. Зажевал куском индюшатины и продолжал:

—... а ведь когда мне позвонили из Алма-Аты, я подумал, ну опять кто-то там написал на нас что-то, и только перед самым отъездом узнал в чем дело.

— Так куда его теперь? — спросил заместитель.

— Нурахметова-то? А аллах его ведает! Ну найдут куда! — беззаботно ответил председатель.

— Так неужели и уважаемого нашего...

— Уже,— спокойно отрезал он,— и давно! Теперь Акылбек Ахметжанович, говорят, будет.

— Да что вы! — воскликнул черноусый.

— А что, разве вы не знали? — удивился председатель.

— Да ничего я не знал! — с чувством оскорбленного достоинства произнес министр, ректор и профессор. — Вызвали из дальней командировки и ничего не объяснили. Не считали, видишь ли, нужным! (Я понимал его обиду — ведь он тоже был восходящей звездой казахской интеллигенции, о нем тоже много говорили, как о будущем Большом человеке).

— Да, но почему же именно Ахметжанова? — продолжал он раздраженно. — Неужели никого другого не нашлось? Откуда вы это знаете?

Председатель опять пропустил рюмку и закусил ее индейкой, прожевал кусок до самого конца и только тогда ответил:

— Земля слухами полнится. Но это верно. До этого тщательно там, — он кивнул на потолок, — проверяли все анкеты актива. Ну и потом этот наш великий писатель земли казахской, — имя председатель не назвал, или назвал очень тихо, — когда был в Москве, тоже замолвил словечко. А его слова... много значат сейчас.

Наступила пауза, шуршали только сдвигаемые карты. Наконец черноусый выбросил свою, шумно вздохнул и сказал:

— Ведь они друзья... Кажется, еще до войны...

— Нет, правда? — оживился председатель, — и тут же горестно вздохнул. — А я ничего и не знал. Да, как говорят казахи, речка с речкой, а сильный с сильным...

— Он не прогадал, — грубо сказал чернобровый. — Нет, не прогадал. Да он и вообще никогда не прогадывает, ни в огне не горит, ни в воде не тонет. Кто-то ему колдует, наверно! Ахметжанов! Ах ты...

Но председатель уже успел полностью осознать происшедшее и освоиться с ним.

— Ну что ж, — сказал он лояльно. — Акылбек Ахметжанович работник умный, талантливый, с большими перспективами, это я всегда знал.

— А мне все равно жаль Нурахметова, хорошо работал! — вдруг как-то просто по-человечески, совсем иным тоном, чем велась эта беседа, сказал заместитель председателя. Тот самый, что пришел из соседнего купе. Я знал, он многим был обязан Нурахметову.

— Да ну его к черту! — вдруг грубо огрызнулся председатель. — Вот кого мне не жаль! (Он стал председателем облисполкома именно благодаря Нурахметову). Да если потребуется я сам выступлю и такое про него, самоуправщика, скажу! Ладно, сдавайте! К чему все эти разговоры? Раз решено, так решено. И все! Нас не спросили!

И снова забулькал коньяк, и дружно заработали восемь челюстей. От всего этого, запаха индейки, звона посуды, той ленивой жадности, с которой эти люди насыщались, у меня снова заныло под ложечкой и страшно захотелось есть. Я поскорее повернулся к стене.

— Ну я, верно, пойду к себе, там уж все улеглись. Неудобно их будить,— сказал зампред сухо. Его, очевидно, задел окрик председателя.

— Так ты сначала доиграй, а потом иди,— ворчливо сказал председатель. И вдруг его словно озарило? — знаешь что? — сказал он,— ты попроси-ка товарища сверху, пусть он обменяется с тобой местом. Ему же все равно где лежать, так пусть идет к тебе в купе, а ты здесь!

Нет, мне было не все равно, где лежать. Совершенно не все равно! Мне уже было физически душно с этими людьми. Ах, как я их ненавидел. И совсем не потому что они не пригласили меня к столу. Это, в конце концов все-таки их дело. Я ненавидел их, как ни странно, за того же Нурахметова. Вот за такое хамское “Я сам, если потребуется, про него порасскажу”. Если потребуется! Да если потребуется, ты всех продашь, подонок! Ты от матери отречешься, если тебе это будет выгодно! Ненавидеть Нурахметова мог я, я! И на это у меня были все основания: Нурахметов знал, что я ни в чем не виноват, и не помог мне! Попросту не захотел связываться. Я был ему просто не нужен... Но эти, эти... Кого он взрастил и вытащил за уши! И хоть бы один поинтересовался — в чем же дело, почему его освободили? Нет, им как раз на это наплевать! Падай, падай, дорогой товарищ наш бывший начальник! А то хочешь, мы тебе еще и коленкой поддадим! Другие пришли, к ним надо подлаживаться. Ты же умный, сам все понимаешь. Нет, не был ты умным, товарищ Нурахметов! Не понимал, кого ты за собой тащишь и как к тебе эти люди относятся по-настоящему. Все-то ты прошляпил, бывший чекист!

У меня от злости прыгали губы, когда я осторожно спустился и сказал, улыбаясь:

— В самом деле, это хорошее предложение,— давайте обменяемся местами. Вы еще не скоро кончите, а мне ужасно как хочется спать!

Зампред благодарно посмотрел на меня. Он, видимо, хотел что-то сказать, но только сделал какой-то любезный жест рукой. Я думал, что уж сейчас он пригласит меня за стол: садитесь с нами, дорогой товарищ, вот коньячок, вот казы, вот индейка, так сказать, наша дорожная закуска, откушайте, пожалуйста! Наверное, пригласит,— думал я и твердо знал, что ни за какие блага не сяду за стол с этим черноусым. Но меня и не подумали пригласить, и я ушел в другое купе, лег и долго не мог уснуть.

И вот сейчас этот черноусый снова сидел передо мной. Но не был он уже ни министром, и даже не редактором, а просто профессором.

И, взглянув, я понял, что хотя он и принес мне это свое профессорство и готов потрясать им перед моим носом, но самого его оно не больно радует. Ведь одно дело министру баллотироваться в профессора, а другое дело — министру падать до профессора. Для другого это, может, и ничего — но для такого?.. Все же странно устроен мир. Имя многих гремит, когда они живы. А потом проходят годы — смотришь, ничего нет за этим

человеком. Ни трудов, ни славы. Это большое несчастье. Особенно для таких, как мой посетитель. Но он сидел сейчас как и тогда, в купе, передо мной прямо, вольно, а в глазах его, под бровями, теплился еще прежний огонек: “Ну, ну попробуй, заступи мне дорогу, ты увидишь, что выйдет!”,— говорил его взгляд. И эта угроза была так ясна и так беспомощна, что я насилу сдержал улыбку. “Весь мир бы свинья забодала, да рогов у нее нет”,— вспомнил я хорошую русскую поговорку. Да, рогов у него уже не было, это точно. Сбили у него рога-то!

— Так чем могу вам служить? — спросил я.

Он слегка пожал плечами.

— Собственно говоря, я и сам не знаю этого,— сказал он легким безразличным тоном.— Я сейчас от председателя Госкомитета по печати. Он обещал все устроить.

“А ты ведь так ничего и не понял, профессор”,— подумал я и спросил вежливо, но вполне определенно:

— Извините, а что ж он вам пообещал конкретно?

Он слегка осекся.

— Ну он сказал: отнесите рукопись издательству.

— Так!

—... и там ее издадут.

Я усмехнулся.

— Простите, но он, вероятно, выразился все-таки как-то иначе. Ну, там прочтут, отрецензируют, обсудят. Так он, наверное, вам сказал?

— Ну так,— согласился он.— Прочтут и издадут.

Ох, как мне хотелось бы спросить его: “А может лучше сначала издать, а потом уж прочитать?”

— Хорошо,— сказал я.— Так что это? Литература или наука?

— Это мои мемуары,— ответил он пышно.

— Мемуары? Ах, как интересно,— кивнул я головой.— История жизни, взлетов и падений.

— Я не женщина, и у меня не бывает падений,— ответил он и метнул на меня быстрый подозрительный взгляд.

— Да, это логично, признавать только свои взлеты. Впрочем вы же и читаете курс логики. Отлично. Позвольте вашу рукопись.

— Вы что, сами будете читать? — обеспокоился профессор.

— Нет, куда мне? Для этого существуют у нас специальные рецензенты. А что я мыслю в вашей науке? Наверное, даже придется посылать на отзыв. Нет, мне просто хочется посмотреть, как вы пишете. Ну, ваш стиль, ход мыслей. Знаете: “узнают коней ретивых по их выжженным таврам”.

Он, вероятно, не понял, что я хотел сказать, посидел, подумал и спросил почти робко:

— Лермонтов?

— Нет,— ответил я.— Пушкин.

Рукопись была объемистая, красиво отпечатанная, на прекрасной бумаге. Я прочел страниц десять с начала, с середины и с конца, но уже с первых двух понял, что издавать тут нам нечего. Это было что-то среднее между лекцией о советском патриотизме и речью на тему о моральном кодексе строителей коммунизма. Все это было изложено языком брошюр сороковых годов. И ни одного своего слова, ни одной живой фразы! А о мыслях и говорить, конечно, нечего! Я уже с пионерского отряда не выносил таких ораторов.

Я отодвинул книгу в сторону.

— Вы не бойтесь, что она такая толстая, — встрепнулся профессор. — Здесь оригинал и перевод. Перевод я делал сам, так что...

— Понятно. Значит, подстрочник ваш. Это хорошо! (Я подчеркнул “подстрочник”), но это тоже задача — где искать нам литературного переводчика? А для казахского текста (я прочел его пару страниц; бедный казахский язык, что он с тобой сделал!) придется подбирать обработчика — это сложное дело, у нас люди так загружены.

Подбородок профессора рывком взлетел на добрые двадцать сантиметров.

— Так что же, по-вашему, я дойдя до звания профессора, так и не научился литературно мыслить и выражаться?

Я улыбнулся. Он все еще старался открыть все двери одной и той же уже заржавленной воровской отмычкой.

— Литературно мыслить нельзя, — сказал я мягко, — можно мыслить правильно или нет, оригинально или трафаретно, образно или нет. А вот писать литературно можно и нужно! Но для этого требуется талант. А талант — это деньги, как говорил Шолом Алейхем, у одних есть, у других — нет. В том же, что я прочел, извините меня, таланта-то и не заметил. Как говорят, по глотку воды можно узнать вкус моря... И высокое звание ваше тут совершенно ни при чем. Таланту не научишься.

— Ну, знаете... — профессор от негодования даже задохнулся и с полминуты ничего даже не мог сказать. — Во многих грехах меня обвиняли, но в таком — нет.

— Так какой же это грех?

— Как? Бесталанность — это не грех? — воскликнул он угрожающе (боже мой, до чего он самолюбив, этот бывший член правительства и, к сожалению, сегодняшний профессор. Ну чему мог научить студентов он, самодовольный, надутый и просто не умный).

— Слушайте, я же говорю о литературном таланте, — сказал я. — Только о литературном и никаком другом. Не всякий талантливый лектор может быть талантливым писателем. Самый гениальный сапожник может и не быть сносным пирожником. Эту старую истину мне только недавно пришлось вспомнить в разговоре с одним умным человеком. Вы, может быть, очень одаренный философ и логик, но литература — ведь это нечто со-

всем иное. Литература — искусство. А искусство не терпит поточного метода, оно требует индивидуальности, то есть неповторимости. Это как почерк, его не подделаешь и не спутаешь. Да, вы пишете грамотно. И по-казахски, и по-русски. Но ведь грамоты тут совершенно недостаточно. Нужно еще иметь и интонацию. А у вас нет интонаций. Все безлично, апатично, вяло, как будто и не вы это писали. Поток слов, фраз, абзацев - все это слагается в страницы, страницы в главы, главы в книгу; и получаются механические сцепления механических величин. Вот и все. Читатель крутится на одном и том же месте, как белка в колесе, и нагружается, нагружается текстом. Бездушными серыми абзацами. Мысли правильные, тема актуальная, а вот творчества, воплощения...— Тут я заметил, что лицо профессора начало медленно сереть, и мне стало не по себе: ну что я в самом деле распелся. Кто учит побитого в бою? — Ну ладно,— сказал я,— рукопись ваша у меня. Я сдам ее в регистратуру и прослежу, чтоб ее отправили самым опытным рецензентам. Это я вам обещаю.

— И включите в план,— приказал он мне,— так мне сказал председатель. Поскольку издательство без рукописи ничего в план включить не может, то я вам и принес рукопись. Включайте.

— Включим,— мирно пообещал я.— Вот прочтем, обсудим и включим в план редакционной подготовки. Назначим редактора и будем работать. Вместе с вами.

— Слушайте, это все не то! — досадливо поморщился профессор.— Прочтем, обсудим, будем работать, то да се, вы говорите со мной, как с начинающим.

— Извините, но рукописи всех, даже самых опытных писателей проходят именно такой путь, и мои тоже,— сказал я (чем он был агрессивнее, тем я был спокойнее, под конец мне хотелось даже улыбнуться), я тоже ведь писатель, но все мои книги изданы именно таким образом, и иного пути у нас, уверяю вас, нет; издательству нужны гарантии.

— А мое имя для вас не гарантия?

Он говорил сейчас то, что говорят все неумные люди каким-то образом попавшие на высокий пост; но ведь беда была в том, что председатель комитета по печати думал точно так же. Он никак не мог себе представить, что на весах искусства писатель весит больше министра. Наоборот, он был уверен, что если человек достиг такого-то и такого поста, то уж роман-то или поэму он обязательно напишет! Вот что-то совершенно подобное и излагал мне сейчас профессор. А я вдруг почувствовал страшное утомление и тоску.

— Ваше имя — фактор моральный, а не литературный,— сказал я.— В первом я не имею права сомневаться. второй для меня еще пока не ясен. Без просмотра я вашу рукопись издавать не буду.

— Это твердо? — спросил профессор вставая.

— Абсолютно,— сказал я и тоже поднялся.

Он молча взял рукопись и сунул в портфель. Потом повернулся и вышел. Не попрощавшись.

Конечно, этот разговор в соответствующем художественном оформлении был передан председателю комитета. Тот был взбешен, но сделать ничего не мог. Я уже был не тот, что хотя бы год назад, да и вообще председателю было уже совсем не до меня. Другие дела и события заботили его.

Из записок писателя Айбола.

“Вчера я себя поймал на одном не очень хорошем чувстве и вот даже не знаю, как бы его назвать. Трусость? Сожаление? Чувство утраты? Обида? Тут все подходит и ровно ничего не подходит. Дело в том, что возвращаясь с одного делового свидания, я вдруг очутился около киностудии, и вдруг поймал себя на том, что невольно убыстрил шаг, нет, даже попросту чуть не побежал от этого места (чуть не написал: от этого проклятого места). И только уже выйдя в парк под столетние тополя и вязы (эти большие, тихие и мудрые деревья всегда меня почему-то страшно успокаивают) — я сел на скамейку и перевел дыхание. Да что это я всегда расстраиваюсь, когда попадаю сюда? — подумал я.— Ну что я сейчас побежал? С чего? От кого? Пусть Лястунов бегаёт от этих стен, ему-то есть отчего и от кого бегать, а я-то что? Все так, конечно, и тем не менее попадать сюда мне неприятно. Слишком уж много безрадостных воспоминаний вызывает у меня это приземистое длинное здание бывшего театра, в годы войны спешно переоборудованного под киностудию. Когда-то по этим коридорам ходили Эйзенштейн, Пудовкин, Черкасов. Здесь снимались “Иван Грозный” и “Нашествие”. Здесь работал Михаил Зощенко. Сюда ходили Луговской, Паустовский, Маршак, более же мелким и числа не было. Весь цвет кинематографии в годы войны и первые послевоенные годы собирался именно тут — в центральном павильоне, где шли масштабные съемки; именно здесь снимались царские палаты, торжественные богослужения в соборах, людные площади. Пылали юпитеры, кричали режиссеры и помрежи, было жарко, людно, душно, ослепительно светло и весело. После Победы студия начала чахнуть. Ведь звезды-то были только гостями. И работали они от столичных студий. А нам нужно было создавать свою собственную казахскую кинематографию. Время, надо сознаться, выпало для этого мало подходящее. Страна только-только залечивала свои раны. Правда, казахскую землю не топтал сапог захватчика, но все равно, по закону братской солидарности, все силы и ресурсы были брошены в места отгремевших боев и разрушенных городов. Это, конечно, отражалось во всем.

Правда, к шестидесятым годам положение как-то наладилось. Работа шла. Четыре фильма в год — это совсем немало для одной фабрики, да еще не очень большой.

И вот тогда в директорском кресле очутился этот Лястунов. Его перевели с Урала, говорили, что он там в студии создал такую обстановку, что,

наконец, и сам сбежал. А может, его и просто выжили. История темная. Но во всяком случае, в Алма-Ату он приехал не побежденным, а победителем. Когда я думаю о нем, мне вспоминается строчка из “Истории города Глупова”: “...въехал на белом коне и сжег гимназию”. Гимназию он не сжег, но незримый конь крепкой казацкой породы весь в крупных яблоках под ним гарцевал все время. У него и вид был соответствующий. Большая приплюснутая, почти лысая голова, маленькие злые пронзительные глазки и мощные плечи. Разговаривая и сердясь, он перегибал голову и распрямлял эти плечи, словно каждую минуту готов был броситься, свалить и затоптать. Так он всегда напоминал мне бугая — злую, тупую, бодучую, вечно готовую к нападению скотину, но люди его прозвали иначе “Пискен бас” говорили о нем сотрудники студии, “Вареная башка”, и как-то вышло так, что Лястунов очень скоро узнал о своей кличке, но сначала принял ее благосклонно, он думал, что это что-то национальное, соответствующее его высокому назначению и редким душевным качествам, но потом узнал, что она означает, и озлился. И свирепел даже поймав краем уха что-то отдаленное похоже на это прозвище. Но тут смех оказался сильнее его — гнев Вареной Башки по этому поводу уже только забавлял, ну а потом, известно, что у нас на бодливых воду возят, и за Вареной Башкой настолько укрепилось его дурацкое прозвище, что ему осталось плюнуть на все и пренебречь. И Лястунов пренебрег. И так пренебрег, что даже стал иногда откликаться на эту кличку: мол что тут поделаешь? Казахский национальный юмор! И все-таки не знаю, как бы я выкрутился из положения, в которое меня поставил этот Лястунов, если бы не Акылбек Ахметжанович. Тут получилось как-то, что все плохое и хорошее стало выпадать мне одновременно. Началось с того, что Лястунов снял меня с должности. Даже не снял, а просто сократил. А затем... Ох, сколько было этих “затем”?

Писатель Айбол положил перо и улыбнулся. Да, в этих “затем”, “затем” определенно черт ногу сломит. Да и стоит ли изливать свои обиды? Так ли это важно? После того, как Айбола сняли с работы, он послал письмо Светлову. Ответа не было. И тут, словно поняв, в каком положении находится Айбол, Ахметжанов вызвал его. Все в его кабинете было по-старому, только на месте портрета Его висела большая фотография Светлова. Айбол посмотрел на него и засмеялся. Засмеялся и Акылбек.

— Да, я вот тебя по какому поводу вызвал,— сказал Акылбек Ахметжанович сразу посерьезнее.— Что ж, ты действуешь не по инстанции. Написал в Москву, а мне даже ни полслова. Нехорошо, дорогой! И особенно, учитывая мое к Вам отношение. Вот твое письмо!

— Значит, переслали! — обрадовался Айбол.— А я уж и надежду потерял, ведь два месяца...

— Ну не так уж, между прочим, и долго — покачал головой Акылбек,— если учесть, сколько туда пишут. Ну ладно, давай говорить по су-

Ахметжанов встретил меня стоя. Против обыкновения он не улыбался, просто поздоровался и протянул мне письмо. Я стал читать. В этом документе, написанном от имени общественности, давалась мне развернутая характеристика. Говорилось, что я человек грубый, неуживчивый, склочник, интриган, разлагаю коллектив, разжигаю национальную рознь. Кроме того, я еще недисциплинирован и разболтан; я невыдержанный партиец, плохой редактор, творчество мое несерьезно и неинтересно, поэтому и как писатель я никакой ценности для студии не представляю. Кроме того, сейчас произошло обновление и укрепление всего творческого состава, и мне будет очень трудно работать с новым главным редактором и новым секретарем партбюро.

Вот так!

Я опустил руку с письмом и задумался. Да, чисто сработано, ничего не скажешь.

Акылбек поглядел на меня и встревожился.

— Слушай, да не расстраивайся! Плюнь на них! Видишь, как Лястунов их всех настропалил! — сказал он. — Слушай, сейчас уходит на пенсию референт Совмина, номенклатурная должность, так чтоб ты сказал, если бы мы...

Это, конечно, было огромное повышение, но я отрезал:

— Нет! Нет и нет! И сто раз еще нет! Только обратно в киностудию!

— Да ведь ты действительно не работаешься с ними, — как-то болезненно сказал Акылбек. — Ты же читал, что они пишут.

— Да аллах с ними, что бы они там ни писали, — сказал я, — могли бы написать, что вообще человека зарезал. Они же меня совсем не знали и не знают!

— Как?

— Да так! Не знают и все! Главного редактора-то я кое-где еще встречал и даже какие-то переводы из Хайяма читал, а парторга Васильева так и в глаза не видел. Он уже после меня пришел на студию.

— Да нет. Это точно? — спросил Акылбек. Он все еще не мог мне поверить. — Так как же...

— А так же, очень просто. Бумага-то все терпит, — усмехнулся я. — Лястунов продиктовал, секретарша отстукала, парторг расписался — вот и все!

— Ах ты... — Акылбек проглотил какое-то слово.

— Сделать опрос, и я ручаюсь, — продолжал я, — что из ста процентов за меня выскажутся девяносто пять, а, наверное, и все сто!

— Да какой уж там к шайтану опрос, — отмахнулся Акылбек, схватил трубку и набрал номер.

— Здравствуйте, дорогой товарищ Батулин, — голос Акылбека был сейчас металлическим. — Вот вы мне передали письмо студии о писателе

Айболе, так вот меня интересует ваше личное мнение. Так, так! А почему вы поддерживаете? Так, так! Вы правы, с мнением главного редактора и парторга нельзя не считаться, но при одном условии, дорогой товарищ, если они знают того, о ком они пишут! Так вот, они оба не знают Айбола. Да очень просто — не знают и все. Парторг? Да в глаза его не видел ваш парторг. Кто он, кстати, такой? Ах офицер, демобилизовался с Дальнего Востока! И сразу написал вот такое! Печально. Очень печально! Неудачно он у нас начинается. Ну ладно, это, конечно, особый разговор,— он еще послушал.

— То есть это что же получается? Вы меня спрашиваете, что вам делать? Это я вас хочу спросить об этом же. Хорошо, скажу. Завтра в двенадцать часов прошу пожаловать на заседание Секретариата и объяснить почему наше указание до сих пор не выполнено. Там и о Волкове поговорим,— он положил трубку.— Вот черти,— сказал он устало и покачал головой,— в такую дыру могут тебя завести, только чуть им доверься...

А на другое утро Батурин прислал за мной машину и торжественно при секретаре вручил мне приказ. На этот раз приказ был совершенно ясен и недвусмысленен. Директору студии предписывалось восстановить меня немедленно с оплатой вынужденного прогула. То есть это было то, с чего Батурина и следовало начинать.

Я сдержанно поблагодарил, и даже пожал протянутую мне руку. И тогда он вдруг засуетился, схватил телефонную трубку и сунул мне.

— Что это? — спросил я не понимая.

— Вот,— сказал он сияя,— вот телефон, позвоните Акылбеку Ахметжановичу и скажите, что инцидент исчерпан и все в порядке.

Это было настолько наивно и в то же время жалко, что я не выдержал и засмеялся.

— Что это вы? — спросил Батурин растерянно.

— Да нет, ничего,— ответил я.— Только звоните-ка вы уж сами, пожалуйста. И всего вам доброго.

Я поклонился и пошел из кабинета. А он так и остался стоять с трубкой в руках. Я взглянул на секретаря. Он улыбался”.

Никак не выходил из головы Ахметжанова тот случай, когда погиб русский комиссар Алексей, по-казахски Алкей. Он давно был в Актогае. И вот после рассказа Айбола ему очень захотелось увидеть это место.

В этот целинный совхоз “Актогай” они приехали затемно, а ночью не очень-то оглядишься — осмотришься, и лишь начало светать, Акылбек встал потихоньку, вышел за околицу и подался в степь, в поля, они обступили поселок со всех сторон, буквально — полонили его, подчинив эту горстку домов и все неоглядное пространство своей щедрой, благодатной власти.

Акылбек взошел на невысокий холм в тот самый миг, когда и солнце проглянуло у горизонта, и можно бы дальше пройти, но в глаза хлынул

такой безудержный простор, такие неохватные дали, что ноги сами собой вросли в пригорок, так бы стоять тут вечность, глядеть — не наглядеться на величавую и нестареющую красоту земли и неба, от нее щемит сердце, и начинаешь понимать — не умом, а этой вот щемящей болью в груди — насколько близка тебе, насколько единственна и любима родная казахская степь.

У него это вошло в привычку: когда он выезжал в село, вставать чуть свет. Уйти куда-нибудь в поле, в рощицу, к речному берегу, где ни души, и затаиться, какие-то минуты побыть с природой с глазу на глаз. Так было и сейчас.

Он глядел на дремлющее село, оно досматривает утренние сны, вот-вот начнет просыпаться. А спутников Акылбека, сопровождающих его в поездке, пожалуй, сейчас не добудишься. Намотались вчера по целинным полям, наездились, устали. Пусть отдыхают. Ему тут в одиночестве так славно думается, так вольно дышится.

Нет, в самом деле — какая благодать!

И вдруг он вспомнил рассказ Айбола. Сердце больно защемило. Вот оно место, где люди умирали, мечтая о куске хлеба. Может быть, он стоит на том самом холмике, где увидев гибель близких, комиссар Алексей, показавшись Алкей, от невыносимого горя пустил пулю в лоб? Ахметжанов недавно был в Ленинграде. Там во время блокады погибло от голода полмиллиона ленинградцев. Им поставлен памятник-мемориал. И стоит он, грандиозный, беломраморный как укор, как проклятие немецко-фашистским вандалам. А здесь, в казахской степи, в мирное время погибло в пять раз больше людей. И Ахметжанов поневоле подумал: “А почему бы и нам не поставить такой же грандиозный памятник в честь тех безвинно погибших двух миллионов?! Но какому Молоху он будет поставлен в укор? Кого будет проклинять?”

Нет, нет, все это больше не должно повториться. Поэтому мы и подняли целину. Поэтому мы и создали этот безбрежный океан хлебов. Как велик наш народ, наша партия с ее аграрной политикой, создавшие все это несметное богатство”.

Он снова посмотрел на степь. Сердце его стало постепенно успокаиваться. И нельзя было не успокоиться. Кругом было величественно и прекрасно. Под утренним ветерком радостно шептались золотые колосья...

Ахметжанов снова посмотрел на Есиль, тот причудливой лентой, небрежно брошенной аллахом с неба, извивался правее холма, речные берега поросли непролазными тугаями, их сизую листву хлестал своей трелью разудалый степной соловей. От тугаев, оцепенелых, словно бы опившихся воды, с неподвижной и сытой листвою — от тугаев и реки тянулись лесозащитные полосы из молодых взрослеющих деревьев, их листва была темнее цветом и не так тяжела, она охотно поддавалась ветру, в утреннем солнце полосы эти трепетали, как бы охваченные розовым маревом, и о них плескалась золотым прибоем спелая пшеница.

Акылбек медленно повел взглядом вокруг холма. Ему почудилось, что на островке среди безбрежного и золотого моря, поля тянулись до горизонтов, по ним как в море-океане прокатывались волны, и слышен был легкий шелест колосьев. Он был негромок, этот шелест, едва слышен, но в чистой утренней тишине он потеснил и пение соловья, и трели жаворонка, он заполнил все видимое пространство между небом и землей, и дальше, дальше он тянется к солнцу и невидимым звездам — вкрадчивый и не-смолкаемый шелест зрелых колосьев.

Акылбек смотрел на эту благодать, улыбка блуждала по его лицу, и думал он о том, что в золотом пшеничном прибое оправдание нечеловеческого напряженья и тех безмерных сил, которые он, Акылбек, отдал возрождению родной степи, которые он отдал целине. А может быть, эта щедрая и плодоносная земля та самая, что называлась в легендах и сказках Жеруйюк — земля обетованная? О ней мечтали предки, о ней слагали песни. Сами собой вспоминались ему стихи из калмыцкого эпоса “Жангар”, они врезались в память с детских лет, он часто слышал мальчишкой, как напевали наподобие кыса эти строки акыны:

Счастье и мир вкусила эта страна,
Где неизвестна зима, где всегда — весна,
Где, не смолкая, ведут хороводы свои
Жаворонки сладкогласые и соловьи,
Где и дожди подобны сладчайшей росе,
Где неизвестна смерть, где бессмертные все,
Где небеса в нетленной сияют красе,
Где неизвестна старость, где молоды все,
Благоуханная, сильных людей страна,
Обетованная богатырей страна.

Так мерещилась и мечталась древним ойротам желанная недостижимая цветущая Бумба — страна. Она осталась в легендах. А это вот море пшеницы у ног моих не сказка — явь. Реальность. Можно сойти с холма и окунуться в шелестящий золотой прибой.

Ахметжанов вздохнул. Еще бы — не реальность! Как вспомнишь, что испытать пришлось, осваивая целину, так диву даешься, что удалось все это вынести, устоять на ногах и не дрогнуть. А ведь случались моменты, когда усилия тысячи тысяч людей могли пройти прахом, когда само существование целины стояло под вопросом.

Помнится, шел третий год целинной эпопеи. Опять-таки своим мужицким трезвым разуменьем Он отлично понял, что хлеб — вопрос вопросов. Идея поднять целину принадлежала не Ему, она давно обсуждалась в ЦК, обретая все более конкретные, зримые формы. Конечно, идея эта, блистательная, смелая и грандиозная — да и могла б ли быть она иной, являясь результатом коллективной мысли партии? — идея эта, приди она в голову одному человеку, сделала бы честь любому государственному деятелю. Вот

Он и ухватился за нее. Но Его, как всегда, подвело обыкновение хватать через край. Ведь надо чувствовать меру — знать, что можно, а что нельзя, и не валить все в одну кучу. А тут нашлись специалисты, которые объявили, что в России-де слишком много оставляют земли под парами, что это, мол, не по-хозяйски, нерачительно — земля, дескать, простаивает попусту, урожай она может давать и без этих “простоев”. Он и послушался их: запретил на целине оставлять поля под парами. То есть к азиатской степи подошел с меркой, годной, может быть, для средней полосы России. А степь — она шуток не любит. В степи суховеи. Пыльные бури. Началось выдувание чернозема, нарушалась структура почвы. И в результате — миллионы гектаров распаханых земель “сожрала” ветровая эрозия.

Потом разобрались, конечно, и было высказано авторитетное мнение, и стало ясно, что запрет паров был ошибочным шагом. Акылбек по памяти мог цитировать слова из той статьи, написанной людьми уважаемыми и авторитетными:

“Земля, ее недра, леса, воды — наше главное всенародное достояние. Однако хорошо ли мы распоряжаемся этим богатством? Всегда ли бережно к нему относимся? Думаем ли о его умножении, а следовательно — о тех, поколениях, которые придут нам на смену?..

В нашем сознании глубоко укоренилась вреднейшая мысль, своего рода предрассудок, будто земля, доставшаяся нам от предков, есть нечто неизменное, постоянное. Мы сплошь и рядом забываем, что почва, которая образует самый верхний и весьма тонкий ее покров, это живая, развивающаяся структура. Она возникает в особых условиях и подвержена воздействию геологических факторов климата, времени, живых существ и растений.

Земля — то есть ее плодородный слой — может истощаться, разрушаться, может в конце концов погибнуть, если те, кто хозяйничает на ней не считаются с природой, с биологическими законами...”

И в самом деле: там, где потребительски подходили к земле, стремясь лишь брать от нее и ничуть о ней не заботясь, думая лишь о сиюминутной выгоде и не заглядывая в завтрашний день,— там земля, вчера лишь поразившая своим плодородием, приходила в негодность, отказывалась давать урожаям.

Механизм явления был довольно простой: распаханые были уму не постижимые площади, а влаги недостаточно, а суховеи в избытке, и раздробленный плугами, иссушенный жестким солнцем степным плодородный слой почвы вздымался ветрами до небес. Особенно свирепствовали пыльные бури весной, в период сева, когда поля распаханые, сушь, всходы медлят, ветры дуют нещадно — изо дня в день, неделями. И беззащитная, неувлажненная земля бессильна перед ветром.

“Земля в беде” — тревожно и горько назвал свою книгу журналист Чивилихин. Она вышла в те трудные годы. Чивилихин писал: “В 1963 году

ветровая эрозия в Павлодарской области погубила миллион гектаров посевной площади, а в следующем году шестьсот тысяч гектаров плодородной почвы”. Такая же безрадостная картина была и в Северном Казахстане, и на Кокчетавщине, и в Кустанайской области.

В этот-то период Он и совершил поездку по целине, кое-где побывал, кое с кем поговорил, и, вернувшись в столицу, созвал совещание. Оно проходило все в той же овальной комнате. На нем опять присутствовал Светлов, ветеран революции, кавказец, присутствовали Акылбек Ахметжанов и, конечно, Кусепов, Арипов, Айгаков. В этот раз Он был очень сердит, раздражителен. Говорил Он по обыкновению безапелляционно и резко. Не очень-то распространяясь, Он объявил, где побывал на целине, и что увидел своими глазами.

— А увидел я то, что ни в какие ворота не лезет,— Он любил “подсолить” свою речь этакой прибауткой-пословицей.— Все, все, что мы там делали,— коту под хвост годится. Наши взгляды на целину устарели. Их надо срочно пересмотреть. Надо сеять по-новому и снова. А сеять будем так.

И Он выдал им очередную директиву: 35 процентов отвести под бобовые культуры, 25 — под кукурузу, 5 — под картофель.

— Сколько там остается? Ага, тридцать пять процентов. Их под зерно. Ну? — и Он обвел всех недовольным взглядом: мол, кто не согласен?

— Но хлеб-то нужен больше всего,— раздался чей-то робкий голос. Он тут же парировал:

— Да? А бобовые и кукуруза — это что же по-вашему, не хлеб?.. он посмотрел испепеляющим взглядом на подавшего голос.— Уверен, двух мнений быть не может. Таким, и только таким должно быть отныне распределение посевных площадей на целине.

— А я думаю, это неверным будет в корне,— поднялся с места Ахметжанов.— Все же главная проблема на сегодня — зерно. На ее решение мы должны снова бросить все свои силы. И не сдаваться до победного конца. К обузданию ветровой эрозии мы уже приступили. Постепенно, не сразу, конечно, но мы ее одолеем. И нашу целину мы должны использовать по своему прямому назначению.

Затем слово взял Светлов.

— Целину я знаю хорошо,— сказал он негромким ровным голосом.— Неудачи отдельных лет не должны огорчать нас. Высокие урожаи — и не только на целине, а взять любые земли — это результат долгой кропотливой работы. А в работе не всегда все ладится. Не надо спешить с выводами. И скороспелые решения принимать тоже не годится. Целине нужен комплекс агротехнических мероприятий, и внедрять их надо не с наскоками, а основательно. Бороться надо за плодородие земли. Тогда и целина оправдает наши надежды. Я полностью поддерживаю Ахметжанова. Бобовые и кукуруза нужны. Но целина должна быть в первую очередь житницей хлеба.

Выступили другие товарищи, поддержали Светлова и Ахметжанова. Было ясно: решать вопрос этот наспех нельзя. Но и медлить недопустимо — ветровая эрозия не отступала. Нужны были серьезные усилия ученых, научно-исследовательских институтов, чтоб разработать мероприятия, которые помогли бы поднять урожайность целинных земель, восстановить плодородие полей, испорченных эрозией.

А все же удалось отстоять целину, отстоять за ней право быть хлебной житницей. Тут важно было не дрогнуть, не проявить малодушия и выступить против волюнтаризма Его Самого. А допусти они слабинку, не окажи сопротивления, не плескался бы сегодня вот этот золотой прибой, не ходили бы волны по бескрайнему пшеничному океану.

Правда, после того совещания Он стал еще более неблагоприятен по отношению к Ахметжанову. Болезненно воспринял Он то, что Его идея не получила поддержки. Вообще, те случаи, когда Он оказывался в меньшинстве, когда Его линия “не проходила”, Он воспринимал как личное оскорбление и видел в подобных фактах ущемление своих прав.

Все это потом слилось воедино, и Он, видимо, почувствовал настоятельную необходимость ускорить смещение Ахметжанова.

И вот стоял Акылбек на вершине холма и думал о тех трудных днях. Он думал, как важно не идти со своей совестью на компромисс и найти в себе мужество не согласиться с самим господом богом, если тот не прав, хотя заранее известно, что подобная принципиальность никому еще безнаказанно не проходила. Она и Акылбеку вышла боком, но зато мое несогласие послужило толчком для всех, кто присутствовал на том совещании, думал он, развязало языки, и люди уже смелее, не боясь, высказали все, что думают о целине, и в результате сумели ее отстоять.

Дело не только в эрозии, на целине были и другие сложности, проистекавшие, впрочем, опять же из любви Его Самого ко всяческим реорганизациям. Чего стоило разделение обкомов и райкомов на промышленные и сельскохозяйственные, оно внесло сумятицу в работу, усложнило ее, партийному активу республики, и в том числе Ахметжанову, пришлось изворачиваться, правдами и неправдами находить пути, чтобы не стопорилось дело, чтобы оно шло вперед. Все это стоило сил и здоровья, но вот он — плещется у ног пшеничный океан, в нем оправдание нечеловеческих усилий тех трудных лет.

И думал Акылбек о той кропотливой работе, которую пришлось проделать, борясь за плодородие почвы. Он думал о том, как нелегко было привыкнуть к безотвальной пахоте, когда и после вспашки поля щетинятся стерней, и к необходимости вносить минеральные удобрения — зачем они, мол, тут на целине, ей и без того, дескать, силушку девать некуда. Шли поиски мер по снегозадержанию, и тут добрую службу сослужило уже проверенное средство — посадка лесных полос. Искались новые сорта семян, не поддающиеся суховеям, укорачивались сроки посева, чтобы

всходы успевали набираться сил в те недолгие дни, когда солнце еще не успевало “высосать” из полей сохраненную зимнюю влагу... Все это был второй этап той битвы за целину, которая началась еще в 1953-м.

Как раз в начале нового наступления на целину Ахметжанов и приехал в этот совхоз. Директором тут был первоцелинник, бывший фронтовик, человек заслуженный и многоопытный. Он сам вбил первый колышек на месте будущего совхоза, сам провел первую борозду. Он был из тех безотказных, надежных партийцев, для которых невозможное было возможным, он мог работать без усталости круглые сутки и мог заставить работать рядом с собой — тоже без усталости, тоже круглые сутки. Он, правда, действовал по принципу “Давай, давай!”, любую трудность брал штурмом, атакой в лоб, ему любой ценой важна была победа, и не было случая, чтобы он не выполнил план — неважно какой: будь то сжатые сроки сева или план хлебосдачи. Его совхоз был “маяком” на целине. А сам он был, что говорится, “кадровый командир производства”. Он и в мирное время, как и на фронте, знал одну лишь тактику — наступать, брать штурмом любые преграды.

Конечно, Ахметжанов знал его, и знал довольно близко, не раз беседовал с ним. И — это уже было правилом — совхоз его он ставил всем в пример. Но в тот свой приезд Акылбек остался недоволен совхозом. Хозяйствовать по старинке на целине было теперь не с руки. Земля требовала к себе уважения, земля хотела, чтобы с ней разговаривали на языке науки. Многие совхозы уловили эту перемену, взялись внедрять агротехнику, стали вносить под посевы минеральные удобрения. А тут, в совхозе, который слыл “маяком”, все оставалось по-прежнему. Минеральные удобрения использовались абы как. Они лежали на совхозных складах мертвым грузом, ссыхались в мешках, окаменевали. О лесонасаждениях здесь тоже вроде бы не слышали.

Ахметжанов осматривал поля и все больше мрачнел. Будь на месте директора кто-то другой, Акылбек выложил бы ему все без обиняков. Но уважая его прошлые заслуги и многолетний безупречный труд, Акылбек старался говорить тактично.

— Что ж это вы, Иван Павлович, агротехнику так не любите, а? И на удобрения скуповаты — держите их под замком на складах. Да и лесополос я у вас что-то не вижу.

— Это все мелочи, — убежденно ответил директор. — У нас земля безотказная, мы ее и без агротехники заставим давать урожай. Нам бы тракторов и комбайнов побольше.

— И по сколько центнеров с гектара вы собираетесь нынче взять?

— Обычно берем по восемь-девять. Это на два центнера больше, чем у соседей. А нынче возьмем не меньше десяти. Год был снежный, да и Есиль разлился почти на все наши поля.

— Значит, десять... А в будущем году?

— Все зависит от снегов и дождей. Будет влага, опять возьмем десять, — он улыбнулся, как улыбаются полководцы, не знающие поражений. — Думаю, это урожай хороший. Но мы дадим еще добавку к урожаю. На десять — двадцать процентов.

— За счет чего?

— А за счет освоения новых посевных площадей. Земли у нас видите сколько пустует? — и он повел рукой вдаль, за невысокие холмы. — Техники, техники дайте побольше. А уж мы из этой земли выжмем все, что сможем. Я думаю: десять центнеров — рубеж достаточно высокий.

— Мало! — сказал, как отрезал, Акылбек. — Двадцать центнеров с гектара. И это через пять лет — не далее. Понимаете? Двадцать! Это минимум. Только тогда целина скажет свое веское слово.

Директор опешил. Он ожидал похвалы.

— Хм... двадцать. Что-то многовато. На наших землях? Я их знаю слишком хорошо... Обольщаться не надо. А собственно — за счет чего можно взять двадцать центнеров?

— За счет агротехники. Удобрений. За счет научного подхода к земле.

Иван Павлович нахмурился и как-то сразу потускнел. Акылбеку стало жаль его, и он спросил уже мягче:

— Знаю, вы фронтовик, Иван Павлович. Видел у вас боевые ордена. Скажите: на каком фронте вы были в сорок третьем году?

— В сорок третьем? — озадаченно переспросил Иван Павлович. — Пойдите, пойдите... Зимой сорок третьего я находился под Орлом. Ну да, там-то я и получил свой первый орден. А... почему вы спросили об этом?

— А вот почему, Иван Павлович. Как раз в то время, когда вы находились под Орлом, когда вот-вот должны были начаться бои на Курской дуге, когда враги еще топтали нашу землю, партия в тяжелейшее для страны время приняла решение — взять под охрану леса. Вы представляете? Гремят бои, люди в окопах, войне конца не видно, а там, в Кремле, уже думают о мирных днях, думают... вот о сегодняшнем дне, в котором мы с вами живем. Миллионы гектаров водоохраных, почвозащитных и других особо ценных лесов выделялось в зону со специальным режимом.

— Что-то не пойму, куда вы клоните?

— А вот куда, Иван Павлович. Земля безотказная, говорите вы. Мы выжмем из нее все, что сможем. Но ведь и после нас на земле этой расти хлебам. От нас зависит, какой мы оставим землю — и не каким-то абстрактным потомкам, а тем, кто придет ее пахать и засеивать зерном буквально через пять-десять лет. Они вам спасибо не скажут. Как же так? В тяжелые годы войны отцы наши, старшие братья находили силы и время думать о сегодняшнем плодородии земли, а мы с вами в мирные дни навесили пудовый замок на склад с удобрениями, плюем свысока на какую-то там агротехнику, на лесополосы, будь они не ладны, на безотвальную пахоту

и... прочие фокусы, которые напридумывали для нас с вами ученые. Нет, Иван Павлович, так дело не пойдет. Надо не выжимать из земли последние соки, а стараться сберечь ее плодородие и приумножить его.

Ахметжанов замолчал, разговор был для него мучителен и труден. Молчал и Максимов. И в том молчании совершалась нелегкая работа человеческой мысли и совести.

— Знаете, Акылбек Ахметжанович, я старый фронтовик, — сказал Максимов медленно, с трудом подбирая слова. — Если уж на то пошло, я дважды фронтовик. Первые годы на целине было также трудно, как и на фронте. А фронтовики не умеют хитрить. Они режут правду-матку в глаза. Не только собеседникам, но и самим себе. Вот я и говорю, не столько вам, сколько себе: вы правы, а я... я не умею по-другому работать. И переучиваться, наверное, поздно.

Ахметжанов высоко ценил таких откровенных людей и был доволен прямоотой Максимова. Но в тот момент он понял и другое: пришло время ставить во главе хозяйств людей молодых, умеющих мыслить и работать по-новому, способных по научному вести порученные им дела.

Тогда-то Ахметжанов и перебрросил Максимова на советскую работу — заместителем председателя райсовета. А директором совхоза попросил назначить молодого агронома Пашкова, он два года назад окончил Тимирязевку.

Этот принцип чуть позже оправдал себя и в более крупном масштабе. Ахметжанова тревожило состояние дел в Северном Казахстане и на Кокчетавщине. И он предложил выдвинуть руководителями этих областей людей молодых и энергичных, хорошо знающих сельское хозяйство. Он не просчитался — дела пошли на лад.

Вот и Пашков — оправдал ведь доверие. Совхоз снова стал “маяком”, но это был новый “маяк”, здесь было чему поучиться даже с учетом тех новаций, без которых теперь и представить-то целину невозможно. А урожай какой сумели вырастить — Максимов счел бы все это фантастикой.

Ахметжанов стоял на холме, смотрел, как всходит солнце и его золотистые отблески ложатся на бескрайние поля. Он не слышал, как к нему подошел Пашков. Обернулся, а тот стоит рядом, коренастый, загорелый, с карими умными глазами. Любопытно, подумал Акылбек, а Пашков — что он ответит на тот же самый вопрос, который был задан когда-то Максиму.

— А по сколько же центнеров вы, Алексей Петрович, собираетесь получить с гектара?

— По двадцать.

— Мало! — сказал Ахметжанов, сам дивясь своей дерзости. — По тридцать надо, не меньше.

— Будет и тридцать, — ничуть не смутившись, ответил Пашков. — Дайте времени только. Мы поможем земле. Она не подведет нас.

Ахметжанов руками развел, рассмеялся. “Так-то, Иван Павлович, — мысленно обратился он к Максиму. — А вы говорили, что больше десяти центнеров с гектара нам не взять”. И он снова порадовался, что сумел заприметить Пашкова, сумел разгадать в молодом агрономе талантливо-го хозяина и хлебороба. В конечном счете, люди и решают успех любого дела, думал он. И до чего же важно не проглядеть в человеке талант, дать этому таланту простор и заставитосего раскрыться.

Он вернулся из поездки довольный. А целина готовилась к уборке своего очередного миллиарда пудов зерна.

Итак, Айбол вернулся в студию и снова сел за свой стол и приступил к работе редактора: читал, черкал, ставил на полях вопросительные знаки и галочки, вызывал авторов и консультировался. Ах, как бы ему хотелось редактировать не какую-нибудь однодневку с пением и музыкой, а по-настоящему стоящую картину!

То есть картин хороших на протяжении сорока лет Казахфильм выпустил не так уж мало. Некоторые, пожалуй, можно было бы назвать даже и отличными: “Амангельды”, “Джамбул”, “Девушка — джигит”, “Ботагоз”, “Его время придет”, “Крылья песни”, “Сказ о матери”. Но картины класса “Броненосец Потемкин”, “Чапаев” или даже хотя бы “Девять дней одного года” все-таки в этом списке не было. Это знали все работники студии. “Три вида искусства не даются нашим казахам: кино, балет, шахматы”, — говорили полуиронически, полусердито режиссеры и пожимали плечами: что, мол, тут поделаешь? Судьба! Все это сваливание своих грехов на судьбу Айбола злило до невероятности. Ладно, пусть мы проживем и без чемпионов мира по шахматам, а в хореографии, пожалуй, ничего не смыслю, но кино... нет, дорогие друзья, не сваливайте на судьбу то, в чем вы сами виноваты. Чрезмерно уж быстро и легко мы примирились со своей второстепенностью, с тем, что мы не Москва и не Ленинград, а самая обычная средняя киностудия, и никуда отсюда не попрушь. Медиана — середина советского кинематографа.

Вот этот подход и сердил Айбола до бешенства. Он отлично понимал, что при таком отношении и понимании — (никто не виноват! Рок! Судьба!) казахи не только никогда не дорастут до своего Эйзенштейна или Пудовкина, но и то, что имеют потеряют очень быстро. В искусстве стоять нельзя, если встанешь, значит, обязательно очутишься позади — таков закон. И в наших картинах действительно было все — высокий профессионализм, счастливые находки, прекрасная игра актеров, но не было подлинного озаренья, нет ничего такого, после чего зритель уходит взбудораженный и потрясенный, и даже не может понять, что же с ним случилось? Пожалуй, даже и ничего, но только он стал вдруг чуточку лучше относиться к людям, не так легко уживаться с хамством и несправедливостью. Словом, в нем прорезалось что-то новое, такое тонкое и неулови-

мое, что он и сам его не заметил, но оно уже в нем, оно живет, стучит и работает, и от этого ему уже не уйти.

Вот этого-то в картинах Казахфильма, по мнению Айбола, не было. А появится ли? Он страстно желал, чтобы оно появилось, делал все, что от него зависело, но от него зависело настолько мало, что единственное, чего он добился, это то, что его под конец обвинили в национализме. А самой главной бедой было то, что студию захватили сценаристы, которым было все равно, о чем писать, лишь бы денежки платили; режиссеры, не знающие жизни той страны, для которой они работали - консультанты, не отличающие кастрированного быка от коровы, а волка от собаки (раз на школьном просмотре закричали, засмеялись и захлопали ребята: «“Жучка! Жучка!” У волка-то хвост оказался крендельком...), халтурщики, холодные сапожники, что могли создать, кроме бездарной серой мазни. И Айбол понимал, что даже то, что как-то удавалось все-таки сделать, при таких условиях можно было считать почти за подвиг! И самым серьезным препятствием для изгнания этой братии был директор. Он их напиринимал, он за них держался, и за каждого их них готов был перегрызть глотку. Ах эти директора! Никто из них еще не ушел добровольно — всех снимали! То за бесхозяйственность, то за бытовое разложение (где пьют, там и льют!). И как же они не хотели уходить с теплого места, как отбивались и руками, и ногами! Вот и этот Лястунов был именно таков. Правда, освободили его значительно позднее, но напортить он успел все-таки изрядно и работать с таким директором было, конечно, неприятно.

И все-таки тот день, когда Айбол снова сел за свой рабочий стол, он считал одним из самых счастливых в своей жизни.

Из записок писателя Айбола.

“Всю жизнь я вынашивал одну мечту: написать сценарий об ученых металлургах. Не о металлургах вообще, а о металлургах Казахстана, то есть о тех людях, которых я хорошо понимаю и люблю. Так появилась моя первая картина “Тверже стали”. Сейчас я о ней вспоминаю с легким содроганием. Начать с того, что сценарий мой приняли только с доработкой. Это была практика нашей студии, получившая во время Лястунова силу закона. Он все время призывал к нам варягов. Так у меня вдруг появился московский соавтор, но... (да простит меня за это в общем-то очень милая, хорошая и добродетельная женщина!). Но как она была мне тогда не нужна! Какая страшная стена непонимания сразу встала между ней и мной! Затем пришел режиссер, консультанты, операторы. Они набрали актеров, стали работать и я сразу понял, что от моего замысла не осталось ровно ничего! На экране пышно разворачивался чувственный роман между красавицей — казашкой и молодым пригожим русским парнем. И вот сотни метров заняли влюбленные взгляды, вздохи, пожатья рук, прогулка при луне — все это, конечно, на фоне гор, лесов, лугов и водопадов. Це-

лый букет цветных открыток рассыпал перед зрителем режиссер, и мой замысел — проблема творчества, мужества, научного дерзання, одним словом — науки — оказался оттертым куда-то совсем в сторону. Кроме того, мне попалась опытная сценаристка, у нее уже давно сложился некий стандарт, железные правила хорошего тона. Она знала, что зрителю понравится, что нет, что пройдет, что вырежут; что “отражает”, что “не отражает”, и неуклонно доводила мой сценарий до своей кондиции, то есть до тихого мирного середнячка второй категории. И режиссер тоже попался соответствующий. Про консультантов же и прочих и говорить нечего. Вскоре я понял, что голос мой вообще ничего не значит, плюнул на все и перестал интересоваться съемками. Не снимаю вины с себя, но, во-первых, никакие тут поправочки уже не могли помочь, а, во-вторых, я заболел таким чувством тоски и безразличия, что просто не был в силах еще куда-то ходить, что-то говорить, доказывать, убеждать! Кроме того, — и это третье, — все мои советы и пожелания отнюдь не отвергались, нет, сохрани аллах! Их с готовностью выслушивали, принимали, меня даже благодарили за них, а потом шли съемки, и все оказывалось на прежнем месте. Одним словом, когда фильм вышел на экран (а он имел некоторый успех и у нас и за рубежом) я понял, что у меня осталась только одна возможность — считать свои замыслы несбывшимися. Сесть за новый сценарий и не подпускать к нему уж никого из московских спецов. И я сел и стал писать.

Писал запойно, увлеченно, мучительно, ночами, часами, не отрывая головы от бумаги. Писал, черкал, снова писал, снова чиркал. И в конце месяца передо мной лежал уже готовый отпечатанный на машинке сценарий полнометражного фильма “Другого пути нет”. Я прочитал и остался в общем-то доволен. Но теперь мне нужен был переводчик. Переводчик и никак не соавтор. В подстрочнике мои слова и мысли терялись и превращались во что-то уродливое, неуклюжее. В них не было цвета и запаха, но я знал, что иначе и быть не может. Я ведь стал говорить по-русски в очень зрелом возрасте, а моя мать вообще была аульной казашкой — всего этого никак не сбросить со счетов. Где мне было искать переводчика? Я пошел к русским друзьям. Мы посидели, поговорили, перебрали несколько имен и, наконец, остановились на одном. “Вот поезжай к нему, отдашь мое письмо, — сказал мне один из моих русских друзей, — поговоришь, он прочтет твой подстрочник и, если свободен, то он, вероятно, согласится”. “Он обязательно согласится, — сказал мне другой мой русский друг, — эта вещь понравится ему, она как раз в его плане”. И с письмом друга я полетел в Москву. Переводчик — высокий черноволосый человек лет пятидесяти — взял подстрочник, прочел его этой же ночью и утром сказал, что он согласен со мной работать. “Тема важная, разрешена она правильно, никаких красотостей, — сказал он, — а это сейчас главное”. А тема была — опять наука, то есть не вся наука, конечно, а моральный аспект, ее, я писал

о мужестве ученого. Это ведь совершенно особый вид мужества, чаще всего для других совсем незаметный. Самое главное в таком мужестве не порыв, и даже не вдохновение, а стойкость, сосредоточенность, преданность своей идее. И непрерывная работа: годы, десятилетия работы (а кто, как не я, знал, как точна знаменитая фраза Эдисона: девяносто девять процентов корпенья и один процент вдохновения). Я взял две примерно равных по творческим возможностям личности — учителя и ученика. Несоразмерны были не их таланты, а моральные качества. Для учителя мораль, правда, были, выражаясь словами Канта, действительно “категорическим императивом”, лютеровским “на этом я стою, и не могу иначе”, он погибнет, но от своей правды не отойдет, и черное белым его назвать не заставишь. Ученик исповедует теорию моральной относительности. И вот, несмотря на огромные способности и трудолюбие, он отходит от настоящей науки, отходит незаметно, извиняясь, извиваясь, даже с большой неохотой, но все равно отходит. И все. И вопрос о нем кончен. Больше он, как выражаются юристы, не дееспособен. Он творческий импотент. Отныне его доля не искать и творить, а только осваивать и присваивать чужое. Администрировать, а не руководить. Зачем, в самом деле, не спать ночами, бродяжничать, подвергать себя черт знает чему, когда все и так плывет в руки?

А дальше сюжет разворачивается так. Ученик присваивает себе все научные исследования своего учителя, погибшего на войне. И делает это так ловко, что придраться или даже поставить под сомнение его приоритет невозможно. Ведь они оба — ученик и учитель — были в одних и тех же местах и экспедициях, и работали вместе над одной и той же проблемой. И ученик отдает должное погибшему: и первый свой труд посвящает ему, в институте вешает его портрет, какие-то труды переиздает со своим предисловием, что больше желать мертвому? Итоговая книга ученика выходит в свет и производит в научном мире сенсацию — еще бы! — обнаружено еще колоссальное месторождение одного из самых дефицитных в мире цветных металлов. Шум, бум, цветы, поздравления, начинаются разработки. И тут вдруг появляется погибший. За это время он пережил две, а то и три жизни — войну, плен, продажу без вести, работу на Крайнем Севере рядовым геологом, смерть двух жен и вот, оставшись совершенно один, он решил посетить свою родину. Приезжает — и тут начинается что-то совершенно непонятное. Ученик, который сначала встретил учителя с распростертыми объятиями, постепенно становился его врагом. Иначе и быть не может, такова вся внутренняя логика событий. “Если делаешь все вполсилы, разрывайся и сам пополам”, — писал Николай Асеев. Но самое непонятное и неприятное для преуспевающего ученого это другое — у него растет сын и воспитан он в тех самых правилах добра, которые отец всегда провозглашал и исповедовал. Сын все его клятвы принимал за чистую

монету и верил отцу. И вот оказалось, что все, что произносилось в этом доме, только “слова, слова, слова!”. Высокие принципы оказались сами по себе, а отец сам по себе. И наступает расплата.

Такова была сущность морального и психологического конфликта, на котором я построил сюжет. Ведь, повторяю, я назвал сценарий “Другого пути нет”. Итак, мой переводчик активно включился в работу, и через месяца два русский текст лежал отпечатанным у меня на столе. Он и раньше бы его кончил, но, как всегда, после окончания вещи мне стали приходить в голову другие ситуации, другие диалоги, более острые и ясные ключевые позиции, и я замучил переводчика своими досылками, доделками и переделками. Но он был человек мужественный, не ворчал, а работал. Итак, через два месяца перевод, полностью удовлетворяющий меня, уже лежал на столе директора.

Ох, если бы мы немного помедлили, если бы покопались еще, если бы кто-нибудь из нас заболел, и уже не Вареная Башка сидела бы в этом кабинете! Он прочел сценарий и сказал “нет”. Я спросил почему. Он улыбнулся мне в глаза и отдельно ответил:

— А потому что нет. Иной причины не существует.

Что я мог ему сделать? Ему здоровому, злорадствующему, полностью бессовестному и гордящемуся этой бессовестностью человеку? Тому, что он может без объяснений, походя взять и бросить мой труд в корзину под столом, и никто тут ему не указ, он — хозяин. Господи, как он был высок и несгибаем среди нас и как хорошо умел гнуть свою толстую шею в каком-нибудь ответственном кабинете Большого дома! И несмотря на это, все равно дни его уже были сочтены, его отправляли на пенсию, за штат, и он знал это. Так вот назло всему, напоследок — “нет”!

— Слушайте.— сказала я,— но вы заключили договор с переводчиком. Вы его вызвали, он здесь, деньги ему до конца не выплачены. Как же вы с ним-то собираетесь рассчитываться?

— А никак,— любезно ответил Вареная Башка.— Как он приехал, так и уедет.

— Но ведь это не работник вашей студии,— сказал я.— Это писатель. Его книги вышли почти во всех столицах мира — Нью-Йорке, Оттаве, Токио, Париже, Милане, Лондоне. Удобно ли с ним так поступать?

— Удобно! — заверил Вареная Башка,— мне все удобно. Я же руководитель.

— Но ведь худсовет еще не смотрел сценарий,— сказал я.— Поставьте его на обсуждение, послушаем, что он скажет.

Он усмехнулся, нет, даже не усмехнулся, а как-то похрюкнул — до того ему нравился весь этот разговор. Ведь в этом кабинете он был всем, а я ничем, просто неудачником, бедным просителем, а над такими он и любил, и умел показывать свою власть.

— Худсовет — это и есть совет,— объяснил он мне.— Он советует мне. А я уж волен слушать его или нет. Его постановления имеют силу только тогда, когда я их запрошу, и обсуждает он только то, что я вынесу на его обсуждение.

— А вы не вынесете?

— Ну, конечно, нет,— усмехнулся он и потянул к себе какую-то бумагу.

Я повернулся и вышел. Расчет у нас получился быстрый и полный. Ах ты, дурацкая, злая, Вареная Башка!

И еще один эпизод вспомнился Айболу. Вспомнился потому, что им началась и кончилась целая большая пора его жизни. Он решил написать кинокомедию. До этого его друг Капан Сатыбалдин коротко и ясно объяснил ему, почему у него ничего не вышло со сценарием. Чтобы снять такую картину,— сказал Капан,— нужен был серьезный режиссер с настоящим трагическим дарованием. Вот он бы преодолел все препятствия. Но такого режиссера в Алма-Ате нет. Таких и в Москве-то раз-два — и обчелся. Другое дело — кинокомедия. Ее снимет любой талантливый ГИКовец. К комедии Айбол тяготел давно. Его прельщал самый механизм ее; в основе комического на сцене,— говорил старик Дидро,— лежит парадоксальная, но простая ситуация, персонажи комедии не знают о себе еще то, что уже знает о них зритель,— или наоборот: они знают о себе то, что еще не узнал о них зритель — в обоих случаях все разрешается смехом, то есть драма, трагедия вырастают из подлинной жизни, они могут быть даже довольно точной моделью ее и иногда действительно бывают такими, например, документальные драмы, очень иногда близкие к действительности; комедию же всегда всецело вынашивает и моделирует автор. Из жизни можно взять только ее сюжет и то в самом общем смысле этого слова, может быть, отдельные реплики, даже сценки, но никак комедийную ситуацию целиком. В ней все должно быть начислено, выверено, приведено в точное соответствие. Кроме того, Айбол считал, что в комедии существует такой же катарсис, как и в трагедии. Но если в трагедии происходит очищение зрителя страданием (именно так и употребляет этот загадочный термин в своей “Поэтике” Аристотель), то в комедии эту же очистительную работу продельывает смех. Зритель уходит не потрясенный, не задумавшийся (как в трагедии) над каким-то исконным и часто неразрешимым вопросом бытия, а освеженный, возбужденный, подбодренный, а иногда и убежденный смехом — ему очень хочется хоть в чем-то походить на того веселого и бравого героя, с которым он только что расстался. Нет, в самом деле, надо написать комедию — Айбол так увлекся этой мыслью, что забыл все остальное.

Итак, комедия! В два месяца она была написана, проверена на читателях и слушателях, и теперь надо было найти только режиссера. Айбол опять пришел к Капану: “Прочти и скажи”.

Тот прочитал и сказал:

— Да, комедия у тебя получилась настоящая, но для такой вещи требуется уже не ГИКовец, а настоящий режиссер комедиограф, если не Шакина Айманова, масштаба хотя бы Шернияза. Если он прочтет твою комедию до конца, считай, что полдела сделано.

— А почему он ее не прочтет до конца?

— Да очень просто, потому что он читает до конца только такие сценарии, в которых хочет играть сам. А хочет играть он только в таких сценариях, автор которых уже имеет свое имя. У тебя же, мой друг, увы! — имени еще нет.

Писатель развел руками.

— Никогда бы не подумал такого о Шерниязе.

Развел руками и Капан.

— А это как раз очень понятно. Это общая болезнь всех, не имеющих собственного независимого имени.

Айбол рассмеялся.

Это у Шернияза-то нет имени?

— Какого? Актерского? Есть и очень даже большое. Но ему нужно режиссерское имя, а это нечто совсем другое. Теперь вторая опасность: Шернияз прочтет всего пять страниц, но будет говорить, что прочел всю рукопись, и она его не заинтересовала. Это его болезнь — отказывать не читая. Но вот тут-то тебе и придется считаться с его именем. Как-никак, а большой актер!

— Ну что ж, сделаем опыт, посмотрим, — сказал Айбол.

И действительно решил посмотреть. Отдавая сценарий в переплет, он перепутал страницы, и только начало и конец оставил нетронутым. А потом отнес Шерниязу и попросил прочитать.

И через десять дней Шернияз вернул ему сценарий и сказал, что внимательно все прочел, но это его не устраивает. Почему? — ну тут Шернияз быстро выбросил несколько обычных обтекаемых фраз, годящихся на все случаи жизни. Они могли относиться к этой рукописи так же, как к любому другому произведению мира. Когда Айбол пришел к Капану, тот вздохнул и рассмеялся:

— Ну, я же тебе говорил! Беда с ним! Большой актер лезет в режиссеры, и, конечно, зашивается на каждом шагу. Слушай, попробуй-ка Жакетова. Может он...

Нет, — сказал Айбол, — аллах с ним, с Жакетовым. Не надо! Никому я больше свой сценарий не передам. И вообще надо кончать с этим делом, никакой я вообще не сценарист! Это ясно.

Из записок писателя Айбола.

“Милый, добрый тонкий человек, дорогой мой товарищ Шернияз. Ты был одним из замечательных комедийных актеров моего народа и, конечно, он никогда не забудет тебя. Не забуду и я. Но если бы ты знал, как мне

было горько в те дни, когда ты вернул мне мой сценарий, не прочитав его. Я ни в чем сейчас не виню тебя, так уж все сложилось, не до меня тебе тогда было. Когда горит свой дом, будешь ли думать об избе соседа? Ты как будто обладал всем — талантом, признанием, деньгами, — только вот покоя и счастья у тебя не было. Да если говорить до конца-то и дома своего тоже не было. Сейчас уже можно о тебе говорить так — тебя уже нет с нами! И вот ведь гадость — смерть пришла к тебе тогда, когда счастье — режиссерское счастье — как будто наконец, улыбнулось тебе. Твоя последняя большая работа — вышла на экран, и зритель повалил на него. Друзья тебя хвалили, завистники тоже, пресса била в ладоши. Вот именно тогда и подстерег тебя тот подлый самосвал. Можно было спокойно пройти прямо, но ты побежал наискосок, ты ведь вечно куда-то спешил, и вечно всюду опаздывал, и машина отбросила тебя, и ты стукнулся головой о гранитную балюстраду. И умер, не приходя в себя. После тебя осталось несколько фильмов, несколько ролей в кино и куча анекдотов. Вот и все, пожалуй, “остальное ищи в произведении”, как написано на могиле Полада”.

А вот когда ты, мой милый друг Шернияз, отказал мне в помощи, израненная моя душа проклятой Вареной Башкой больше не выдержала и я решил — уйти из кино совсем! Не моя это область! И вернуться к литературе! И я вернулся.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Привычка — вторая натура, и ничего не мог поделать с собой Акылбек, тянуло его к людям, он начинал испытывать неясную тревогу, если дела захлестывали и не удавалось вырваться хотя бы в месяц раз в один из пригородных совхозов. К лету тревога усиливалась, тяга к живому человеческому общению становилась нестерпимой, и когда подступал июль, макушка лета, и чабаны откочевывали на джайляу, он правдами и неправдами старался вырваться из кольца нескончаемых дел и укатить куда-нибудь в глубинку. Хотелось слышать голоса простых людей, их неспешные рассуждения о жизни, знать, что их заботит. И потом — лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Немудрящая истина эта стала правилом жизни Акылбека. Нет, пожалуй, такого колхоза во всех шестнадцати областях республики, нет такого аула, урочища, где хотя бы однажды не побывал Акылбек.

В этот раз он решил объехать Тарбагатай — тот угол Восточного Казахстана, что граничит с Китаем.

Пять-шесть машин быстро катили по горной асфальтированной дороге между высокими стройными елями. Порой машины замедляли ход, натружено урчали моторами, одолевая подъемы, а одолев их, миновав очередной перевал, с ветерком мчались вниз. Вот и жизнь человека тоже, как горная дорога — один перевал одолеешь, глядь — за ним другой, там

еще и еще... Но что ни говори, она и прекрасна, жизнь. Как эта дорога в горах. Акылбек жадно вглядывался в царственные ели, обступившие дорогу, в лицо ударял пряный воздух, несущий запахи альпийских лугов и хвои. А над головой стояло удивительно синее и близкое, как в детстве, небо.

Он бы мог не заметить проселок, вдруг отделившийся от шоссе и протянувшийся вглубь лесной чащи. И он бы его не заметил, если бы проезжал тут впервые.

— Насколько не изменяет мне память, дорога на рудник Таргын,— сказал Акылбек молодому русскому парню, работнику обкома партии, не по годам полноватому, он сидел рядом.

— На бывший рудник,— уточнил тот полуобернувшись назад, как бы желая удостовериться, что проселок действительно существует.— Рудник в прошлом году закрыли. Но люди в поселке живут. Там сейчас овцеферма.

— Да, да.— машинально откликнулся Акылбек. Мысли его были в далеком прошлом.

В самый разгар войны, зимой сорок третьего года, Акылбек Ахметжанович прибыл на рудник Таргын. Здесь добывали бесценный по тем временам молибден, придающий броне наших танков прочность, необходимую, чтобы противостать стальной силе фашистов — танковой армии Гудериана. Танков требовалось много, а значит много требовалось и молибдена.

В тот год зима была особенно суровой. Еще у обкома, садясь в машину, Акылбек обратил внимание на поземку.

— Быть бурану,— сказали ему.— Лучше бы переждать.

А то он сам не знал, как лучше. Конечно, надо было дожидаться хорошей погоды. Но война не ждала. И не могли ждать танковые заводы — им нужен был молибден сейчас, сию минуту, и каждый килограмм его был дороже всех сокровищ мира.

Было безумием ехать в такую погоду, но и не ехать он не мог. Едва они перевалили Малый Тарбагатайский перевал, как началась пурга. Они добрались досюда, до только что встреченного проселка, когда весь мир исчез в круговерти. Свистящий, воющий лес, ураганный ветер, он валил с ног — тут было отчего испугаться. Снежный заряд так лупил по их полуторке, что казалось она развалиться. Это теперь у грузовика и лошадиных силенок побольше, и проходимость повыше, и скорость — разве сравнить ее с тогдашними скоростями. Полуторка еле-еле ползла против ветра. А буран все усиливался. Самое страшное, если мотор заглохнет, тогда перед ними встанет безрадостная перспектива — замерзнуть или умереть с голоду. Это поняли и спутники Акылбека, один из них тоже из Алма-Аты, второй из области. Вид у них был не бойцовский, они стали уговаривать Акылбека остановить машину и спрятаться в лесу. Но этому воспротивился

шофер. И тут Акылбек присмотрелся к нему внимательней. В шофере проглядывала военная выправка. Он был танкистом и оставался бы им до последнего дня войны, если бы не пустой рукав гимнастерки, подоткнутый под ремень.

— Ну спрячемся мы под деревьями, а даль что? Буран зарядил не на час, он с неделю может продержаться, тогда в лесу хоть волком вой,— сказал шофер.— Нет, надо пробиваться к руднику, пока не заглох мотор.

Восемь часов кряду он заставлял свою колымагу двигаться вперед и только вперед, отвоевывая у пурги метр за метром. Когда до рудника Таргын осталось около километра, машина забуксовала в сугробе. Это был конец. Но они с шофером и тут не сдались.

До сих пор Акылбек помнит этот невысказанный, страшный километр. Каждый шаг они одолевали с нечеловеческими усилиями. Это длилось четверо суток. Они пробивались к руднику. Они бы погибли, заплутав в буране, но безрукий танкист знал тут каждую пядь земли, он оказался бывалым человеком — они хоть и ослабли, но даже не обморозились.

Акылбек и в тот раз выполнил свою задачу, невозможное сделал возможным. Несмотря на морозы, несмотря на усталость, рабочие рудника взяли обязательство дать Родине вдвое больше молибдена. И слово свое сдержали.

И вот сейчас увидел он этот полузаброшенный проселок, вспомнил ту давнюю поездку на рудник и все, что было тогда пережито, захочешь забыть, да не сможешь! Что ж, он не сетовал, такое было время. Каждый человек, где бы он ни был — на передовой или в глубоком тылу, чувствовал себя солдатом, чувствовал себя частицей того, что мы называем коротко и просто — народ. Но сколько грозной и великой силы таится в этом понятии!

В отличии от иных своих коллег Акылбек Ахметжанович никогда не смотрел на народ как на некую массу людей, над которой он властен. Волнение и гордость испытывал он, думая о своем народе. И что бы он ни делал, какие бы решения не принимал, он старался предвидеть, насколько они будут нужны и полезны народу. А если случались осечки и становилось ясно, что людям не по душе мероприятие, проводимое в жизнь, он старался исправить промах и как можно быстрее. Он видел в народе самого высокого судью, самого пронизательного критика и самую близкую защиту. И бывало, приходилось ему идти наперекор начальству, не соглашаться с вышестоящими товарищами, предлагавшими заведомо неверное решение, которое народ не одобрит, не примет, здесь чутье Акылбека срабатывало безошибочно, хотя ему и выходила боком его строптивость, и тучи сгущались над его головой. Но он готов был ради народа все вытерпеть, все пережить.

Заметив, что встреченный проселок поверг Акылбека Ахметжановича в задумчивость, тот обкомовский парень сказал:

— Видно, здешние стежки-дорожки вам знакомы. Чует сердце мое, вы тут не впервой.

Скромность Акылбек не считал пороком, и не любил выставлять себя на показ, хвастать преодоленными трудностями, рассказывать взахлеб о безвыходных ситуациях, из которых он, конечно же, нашел блестящий выход. Даже о делах незаурядных, в которых — себе признаться можно в этом — был проявлен его личный героизм, он старался помалкивать. Он и сейчас не стал рассказывать попутчикам о том недельном бурене, сквозь который надо было пробиться, чтобы хоть на день раньше попасть на рудник. Ну расскажи он об этом — все будут слушать с почтительным вниманием, и восхищаться. К чему все это? Он лишь уклончиво сказал:

— Да, во время войны мне довелось побывать на руднике Таргын.

Машина, как норовистый конь, вдруг рванулась вперед и, одолев последние метры подъема, взлетела на перевал. Акылбек невольно подался вперед — так неожиданна была открывшаяся панорама. Далеко внизу, из края в край, сколько мог охватить глаз, лежала зеленая долина. В туманной дымке, как серебряный пояс, небрежно брошенный и забытый, поблескивал Иртыш. И земля, подобно персидскому ковру, покрыта цветущим разнотравьем.

До чего же красива земля, до чего же богата! И вся она в руках человеческих, а руки эти должны, обязаны быть трудолюбивыми, рачительными, добрыми.

Акылбек невольно улыбнулся. Год назад он тоже ездил — правда, не в середине лета, а в его начале — в один из рисосеющих районов Кызыл-Орды. Там земля была скупой на зелень, но люди ее были гостеприимны и щедры.

Районное начальство сопровождало Ахметжанова в знаменитый колхоз — быть может главную житницу риса в республике — зная, что едет Акылбек, люди поджидали его у конторы колхоза. Собрались все, и стар и млад, каждому хотелось повидать его, послушать, что он скажет. Выйдя из машины, Акылбек направился к группе аксакалов, стоящих отдельно и чуть в стороне. Он поздоровался со стариками за руку.

— Как ваши дела, аксакалы? — обратился он к одному из них, белому как лунь и по виду самому старому.

— Спасибо, дорогой. Мы чувствуем заботу о простом человеке и, слава аллаху, обуты, одеты и сыты.

Ему хотелось потолковать с ними, но он и рта не успел открыть, как послышалось, что кто-то командует рядом: “Проходите. Стоять не положено!” Он обернулся на голос. Милиционер оттеснял за угол дома школьников, видать, первоклашек, они тоже пришли встретить гостя.

— Не гоните детей, — остановил Акылбек блюстителя порядка. И помахал ребятишкам: — Идите сюда.

Те сперва робко, потом смелее придвинулись к нему. Он смотрел на озорные круглые личики, на любопытные глазенки.

— Итак, что вас привело сюда? — спросил Акылбек, улыбаясь. Наверное, самая смелая из них, девчушка со взбитыми вихрами сказала:

— Хотели посмотреть дедушку Акылбека.

Акылбек рассмеялся:

— Ну вот он я, перед вами. Как — ничего?

Девочка оглядела его с ног до головы:

— А вы выше моего дедушки.

Тут подал голос мальчуган рядом с ней:

— Учителя вас хвалят.

— А мама говорит, вы самый добрый, — сказал мальчонка самый худенький и робкий. — Она ездила в Алма-Ату. С заявлением. И ей помогли.

И тут самая красивенькая девочка, она молчала до сих пор, сказала рассудительно:

— Вы, наверное, действительно хороший человек. Все люди говорят так.

Акылбек рассмеялся снова:

— Ну хорошо. А сами-то вы в каком учитесь классе.

— Первый закончили. Мы уже второклассники, — загалдели они наперебой.

— Ай да молодцы! — сказал он. — Вот что: меня вы увидели, а теперь покажите-ка мне свою школу.

Дети пришли в восторг:

— Пойдемте!.. Пойдемте!..

В окружении детей и колхозников Акылбек пришел в школу. Но едва он увидел ее, лицо его омрачилось. Старый неприглядный дом послевоенной постройки, с покосившимися окнами и дверями, с обвалившейся штукатуркой... Возможно, когда-то здесь был амбар для зерна.

Акылбек редко выходил из себя. В минуты гнева он становился предельно сдержанным, говорил, тщательно подбирая слова и не повышая голоса. И хоть речь его внешне звучала спокойно, виновники невольно вытягивали руки по швам и бледнели.

Он обратился к группе сопровождавших его руководителей области и района и подозвал к себе управляющего “Облрисотреста”, невысокого полноватого человека.

— Вы предельно заботливы, когда принимаете рис у колхозов, — сказал он с укоризной. — А когда дело доходит до нужд хозяйств, до их культурных и бытовых запросов, вы проявляете некоторую рассеянность.

Акылбек сделал паузу. Вокруг стояла мертвая тишина.

— Осенью, в начале сентября, я специально заеду сюда... Я думаю, к тому времени вы успеете построить новую школу. Причем, просторную, светлую, теплую. И красивую. Надеюсь, вы меня поняли?

— Так точно! — отчеканил управляющий трестом, он даже подтянул живот и уже не выглядел таким полным.

Осенью Акылбек не смог приехать в колхоз. Но получил сообщение от управляющего трестом, что здание выстроено, детишки в новую школу

перебрались. И хотя было ясно, что сделано все там наилучшим образом, но — видно привычка такая! — Акылбек должен был увидеть школу своими глазами. И прежде чем ехать нынче в Восточный Казахстан, он вырвался ненадолго в тот самый колхоз рисоводов и успокоился: школа получилась что надо...

Но отпустить его просто так рисоводы не могли. В тот вечер он был в гостях у того самого аксакала, с которым они обменялись рукопожатием в первый приезд Акылбека, а побеседовать так и не смогли. Старик заколол барана, подал к столу бесбармак, а голову баранью на блюде преподнес Акылбеку, как того требуют освященные веками обычаи.

— За то, что позаботились о наших детях, заставили построить школу, большое вам спасибо,— сказал аксакал.— Каждый поступок хорошего человека — пример для всех. И до вас приезжал к нам секретарь райкома, но этот замухрышка не подавал нам руки, считал ниже своего достоинства. А вот с прошлого года, как вы пожали мне руку, бедняжку нашего секретаря как подменили, он первый приветствует нас,— говорил старик, посмеиваясь.

“А народ все видит, все примечает,— размышлял между тем Акылбек.— Пройди я в тот раз мимо стариков, не поздоровайся с ними, и для меня нашлось бы прозвище, как для того секретаря — не “замухрышка”, так что-нибудь еще в таком же роде. С народом надо не заигрывать — уважать его надо и чутко прислушиваться к тому, что он тебе говорит...”

Это было тоже в прошлом году. Он выехал из Семипалатинска в Абайский район. Подъезжая к райцентру, он в группе встречающих заметил очень видного собой пожилого человека. Акылбек поздоровался с людьми, а того человека пригласил к себе в машину. Так он познакомился с Ахатом — сыном известного двоюродного брата Абая, Шакарима. Ахату было за семьдесят, жизнью он был доволен и сетовал лишь на то, что хочется ему работать, а районное начальство никак не идет навстречу, отзывает ему в этой малости.

— Может, они и правы,— говорил он грустно.— Пора и честь знать. Семьдесят — это годы, которых одним суждено достичь, другим нет. Вот ведь — списали меня в старики.

— Ну, отец! Ваши ли годы... Хорошему джигиту дважды в жизни дают по пятьдесят,— рассмеялся Акылбек.— Вы еще сто лет проживете. Поверьте слову моему!..

— Доброе слово это уже полсчастья. Спасибо. А все же работать я хочу...

Что ж, теперь старик работает гидом в музее Абая. Вот это хозяйский подход к делу. Дело даже не в том, что человек на восьмом десятке полон энергии, а в том, что он образован, прекрасно знает и русский и казахский языки и, конечно, творческий путь Абая ему известен не по наслышке. И лишь потому, что он сын Шакарима, его не решились использовать на

идеологическом поприще — Акылбеку и говорить-то не пришлось ни о чем, достаточно было посадить Ахата в свою машину, как районные товарищи пересмотрели свою точку зрения. А в музее Абая Ахат стал лучшим гидом.

Акылбек вновь нахмурился. Ведь было уже принято решение: обратить внимание ученых на творчество Шакарима. Интересно, как его выполняют? Пора бы уже ученым дать свое резюме и приступить к розыскам и собранию всего написанного Шакаримом. Это ему принадлежит стихотворный перевод на казахский язык “Дубровского” Пушкина. Акылбек читал его и до сих пор помнит строчку: “Иные люди, шапки сняв, послушливо кивали головой”. Как точно передана ненавистная Акылбеку холуйская коленопреклонность. На людей вокруг он смотрел сквозь призму этой строки. Его тошнило от тех, кто ловил каждое слово Акылбека, чтобы преподнести его миру, как откровение. А все с одной лишь целью — обратить на себя внимание, найти способ продвинуться вверх по службе. Как там у старика Крылова сказано: “Услужливый дурак опаснее врага”. Подхалимаж — в человеческом характере Акылбек считал его самым низким свойством.

Что он ценил превыше всего в людях? Бескорыстное служение добру. И себя он понимал так, что его жизненное призвание — делать людям добро. Это стремление было для него естественным, как дыхание. Он был его рабом. Но не сожалел об этом. Недавно, беседуя с одним из друзей о смысле в жизни, он сказал:

— Меня поражают возможности человека. Но я преклоняюсь не перед умом ученых, проложивших дорогу в космос и открывших тайны микромира. Я преклоняюсь перед человеческим сердцем, способным на добро откликаться добром и сострадать чужому горю. Достижение разума возвышает человека над природой, но лишь поступки сердца делают его бессмертным. Человек прожил бы без открытий Эйнштейна еще сто лет, но человечество не проживет и дня, если забудет о гуманизме и о главном призвании своем — делать друг другу добро...

А машина между тем давно уже спускалась вниз и катила по безбрежному джайляу. Акылбек и не заметил, как прибыли к месту назначения.

Машина остановилась. Акылбек выбрался наружу, размял затекшие ноги, оглянулся по сторонам. И снова удивился. Они стояли на вершине холма, а вокруг, куда ни глянь, тянулась всхолмленная степь и, сколько хватало глаз, виднелись отары и табуны коз. С холма они казались камнями, разбросанными по склонам и впадинам. От них рябило в глазах. В какой-то миг сердце Акылбека обдало жаркой волной: “А ведь это все наша, родная земля...”

Неподалеку, возле камышовых зарослей, стояли четыре простенькие юрты. Вокруг были разбросаны обычные в аульной обстановке вещи — седла, сбруя, домашняя утварь. Ясно было, что это юрты чабанов. Непо-

далеку паслась отара. От нее отделился всадник с огромной собакой рядом. Он подъехал к машине, спешился. Это был пожилой человек, довольно известный в здешних краях — старший чабан по имени Атымтай. Вглядываясь в приезжих, он вроде бы и узнавал их лица, и не узнавал. Но заметив среди них секретаря райкома, он приветствовал всех:

— Да будет светел ваш путь!

— И да продлятся дни твои, почтенный,— ответил ему секретарь райкома, человек уже тоже в годах, с прямым и открытым взглядом.— Приехали к вам в гости. Это Акылбек Ахметжанов — думаю, вы узнали. А это — сопровождающие его товарищи...

— Узнать-то узнал,— ответил чабан.— Да только не сразу — глаза проклятые подводят.

И он обратился к высокому гостю:

— Хоть почета у тебя намного больше, но по возрасту я старше, а потому прими мои наилучшие пожелания,— и он почтительно пожал ему руку.— Дорога к нам не близкая, спасибо, что не убоялись дальнего пути.

Он приветливо посмотрел на всех приехавших:

— Милости просим к нашей юрте. Как говорится, чем богаты — тем и рады.

И все направились за стариком к юртам. В юртах было безлюдно, лишь в одной из них домовничала старуха с двумя пятилетними внуками, похожими на маленьких индейцев, у них вон и лук есть и стрелы, да в полном одиночестве гулил младенец в бесике. По убранству юрты нетрудно было догадаться, что живут здесь зажиточные люди. Акылбек шел первым и как переступил порог, так и остановился в растерянности. В переднем углу чуть ли не во всю стену висел портрет, и с этого портрета в упор на Акылбека смотрел Акылбек.

— Байбише, посмотри, кто к нам приехал,— входя следом, заговорил хозяин.— Сам Акылбек, сын Ахметбека. Узнаешь? Ну а раз узнаешь, так пошевеливайся, гостя принимай.

Он обернулся к маленьким “индейцам”, они открыв рот смотрели на необычных гостей.

— А ну — бегом к отцу в отару. Одна нога здесь, другая там. Да скажите — пусть захватит овечку получше.

— Дорогой мой,— сказал Акылбек,— может не стоит колоть барана? Я думаю, и так найдется, что перекусить.

— Э, нет! — запротестовал старик.— У меня самого скот еще не перевелся. А зачем держать его, если не ради такого случая?

Но тут вмешался секретарь райкома, захотел, как видно, показать, что радеет за поголовье скота, за высокие показатели:

— Смотри старик, обязательства ты взял высокие. Оно и правда! Стоит ли зря переводить скот?..

Чабан посмотрел на него с укоризной:

— Не от того рдеет стадо, что из него баран попал в котел, а от того, что пастух неумелый. А я, слава аллаху, пасти овец не разучился.

Секретарь стушевался и не нашел, что сказать.

И вот уже самовар дымит у юрты в ожидании бесбармака, подан холодный шубат, идет неспешная беседа о житье-бытье. О том, что у старика уже выросли два помощника сына, у каждого по отаре, и третий подрастает, окончил нынче десятилетку, с братьями у отар.

Пока варилось мясо, пили чай, старик временами перерывал свой рассказ и посылал невестку или сына глянуть отары. А рассказывать он мастак, слушать его было интересно, хотя речь шла о вещах обыденных: о выпасах, кормовой базе, кошарах и о том, как проходит окот, о привесах и сколько удастся настричь шерсти. Слушать его было одно удовольствие.

— А выпаса у вас на крутых склонах,— задумчиво сказал Акылбек.— А ну-ка, пошастай по ним день-деньской... Хотя автолавка-то у вас бывает? А кинопередвижка?

— Да как сказать? Ближний ли свет — добираться до нас, но, справедливости ради,— добираются... Недавно приезжала Бибигуль Тулегенова. Ах, как она поет! Вы бы послушали “Толкыма” или “Гаухар тас”, да не там, не в столице, а тут — на джайляу. Как запела, так сердце слезой изошло.

Старик, было, приумолк, но тут же лукаво глянул на всех:

— Да и мы сами с усами. У нас ведь свой есть певец. Как заскучаем, так и зовем его на помощь. А ну, сынок, где тут наша домбра?

Старших сыновей и невесток старик отправил к отарам, лишь младший, последыш, сидел у двери. Старику не терпелось, как видно, похвастать талантами сына, старик сам прошел в передний угол, снял со стены домбру, украшенную перьями филина, подал ее сыну:

— Послушаем, как ты у нас поешь.

Ломаться парень не стал, он подкрутил ушко домбры, подправил деку, ударил по струнам.

Я молод еще, жизни толком не знаю.
Что меня ожидает завтра?
Коли я улечу из родного гнезда,
Где найду такого, как ты, опоры — отца?

Парень пел не горлом — душой. И при словах “Где найду такого, как ты, опоры-отца?” он глянул на Акылбека, и от слов этих у Акылбека дрогнуло сердце, на глаза навернулись слезы. То была знаменитая “Песня об отце” Нургисы. Отзвенела она и настал черед “Макпала” Ахана-сере:

Словно в степи сладко пел соловей.
Твой голос не дал мне покой, Макпал.
Я спешил сюда издалека, не жалея коней,
Так не косись, смотри сюда, Макпал.

Мальчик пел, и голос его крепчал от песни к песне, и было ясно, что это незаурядный певческий дар.

А потом пришло время ехать дальше. Акылбек искренне благодарил хозяина за гостеприимство, желая ему успехов и всяческих благ. И, конечно, спросил:

— Может у вас будут какие-то просьбы? Я готов выполнить их. Если это, разумеется, в моих силах.

— Просьба есть, да не знаю, как к ней подступиться.

— А вы напрямик говорите. Не стесняйтесь.

— Что ж, дело вот какое. Сам я чабан, и сыновья у меня чабаны, и невестки. Мой отец, и мой дед, и мой дальний предок Куйнебай — все пасли овец. Дело это трудное, но и почетное. Да и живем мы, слава аллаху, вы сами видите, не хуже других. И в достатке, и в почете. У нас и ордена есть и медали... Но неужели всем нам на роду завещано только это одно — пасти овец? А если кто-то из детей моих захочет стать инженером, летчиком, врачом? Дороги-то для всех открыты, но отсюда, с отгона, они уж больно далеки. Вот мой меньшей прошлый год хотел поступить в институт, где учатся, чтоб находить из-под земли богатство, но... Срезался. Не то по физике, не то по мизике. Парень-то способный, но все-таки сельская школа — не городская. Срезаться-то срезался, а все твердит: “Хочу учиться”. Все с книгами да с книгами. Видно, эпоха такая настала...

Старик не сказал “устроить сына в институт”, он только изложил ситуацию. Растроганный пеньем парнишки, Акылбек не мог остаться равнодушным к словам старика.

Я думаю, мы примем меры, чтобы облегчить путь в вузы детям чабанов. Акылбек выразительно посмотрел на своего помощника и попросил его:

— И все-таки запишите имя, фамилию и адрес этого мальчика. Так будет вернее.

И пока они добрались до другого района, Акылбек все думал о словах старика и о судьбе его младшего сына, и о судьбе тысячи чабанских детей. Конечно, приехав в незнакомый и далекий столичный город, они теряются в непривычной обстановке, им трудно конкурировать с городскими детьми. А что если не ехать им за тридевять земель? Пусть они сдают экзамены на местах, в привычной обстановке, на родном своем языке. И по приезде в область он тотчас дал об этом соответствующее указание.

А сын чабана тогда же был специально вызван в Алма-Ату и принят в институт. Правда, не в политехнический, а в консерваторию. Это ему больше подойдет.

Люди знали, если уж человек обратился за помощью к Акылбеку, он получит ее. Народ любил Акылбека за это.

Народ-то любил, а вот Кусеповы, Айгаковы — не очень.

Из записок писателя Айбола.

“Давно ничего не писал, а этот месяц выдался у меня совершенно особенным. Вот об его событиях мне и хочется записать.

Собственно говоря, событие-то было одно, все остальное ему сопутствовало. Началось с того, что я почти полдня просидел в приемной Акылбека Ахметжановича. Только после обеда он принял меня. В тот день Акылбек был настроен как-то особенно светло, улыбался, много говорил, глаза у него сияли. Когда я постучался к нему, он встал и сам пошел мне навстречу.

— Ну, я вижу, вы только что получили какое-то особенно радостное известие,— сказал я.

— Получил,— ответил он, показывая жестом руки куда мне сесть и сам усаживаясь напротив.— Получил, получил! Только не сейчас, а вчера вечером. Нам возвращены те южные плодородные районы, которые, помнишь, были переданы нашим соседям несколько лет назад. Состоялось совместное решение обеих республик.

— Да вот это радость! — воскликнул я.

— И очень большая. А согласованная формулировка решения такова: нельзя отрывать какую-то часть коренного населения республики от его родного народа. Нельзя нарушать целостность республики.

— Ну, а Москва? — спросил я.— Ведь у нее тоже могут быть какие-то свои соображения?

— Москва согласна. Я сегодня говорил с Андреем Ивановичем.

— Ну, спасибо, спасибо ему,— я, кажется, даже руки потер от радости.— Андрей Иванович столько уж сделал для нас хорошего. И вот теперь он снова доказал свою любовь к нам.

— Э, нет, брат, совсем не в этом дело,— засмеялся Акылбек.— Любовь любовью, конечно, этого никак не отнимешь, но прежде всего — справедливость. Будь уверен, захоти мы оттяпать два района от соседей, Андрей Иванович был бы первым против нас и никакая тут любовь не помогла бы. Где народу будет лучше: там, у соседей, или у себя на исконной родине — вот главный вопрос. А насчет заботливости и сердечности — я расскажу тебе другой случай. Ты ведь, конечно, что-то слышал о штурме пика Победы в августе 1955 года? Только кое-что?... Так усаживайся поудобнее и слушай.

Пошли на этот штурм двадцать семь человек. И правильно говорят казахи: в счастье человек виден только наполовину, а в беде он раскрывается весь. Многое раскрылось в этой истории.

Дни в ту пору стояли жаркие, ясные.

Солнце палило нещадно. В горах начали таять снега, по ущельям заструились ручьи.

Люди шли через сочные-сочные альпийские луга, через горные боры, мимо вечнозеленых тяньшанских елей, все выше и выше. И скоро веселое зеленое царство кончилось. Исчезли птицы, прекратился шум горных потоков, они вступили в зону льда, снега и вечного молчанья. Высоко над

ними сверкал пик Победы. Может он, конечно, и не был крышей мира, но его всегда считали поясом недоступности. Ибо возвышался он почти на семь с половиной километров над уровнем моря и подходов к нему не было. Скалы здесь отвесные, с крутейшими подъемами и острыми базальтовыми выступами. Вот стоит такая совершенно прямая и обледенелая стена или высится гигантский клык, а под ним пропасть и пойдика-ка заберись на него! А крутизна такая, что кажется, какой-то титан рубанул мечом по горе, отрубил одну половину и отбросил, а вторая осталась и торчит. Вот по таким скалам и стенам — то голым, то покрытым льдом и снегом — над пропастями и ущельями и надо было взбираться на высоту около шести километров. Кажется, все сделала природа, чтоб не допустить сюда человека. Разверзла пропасти, настроила ледяные ловушки, преградила дорогу скалами и стенами. И остались эти вершины в течении тысячелетий неприступными и неизвестными как лунные горы. Ощеренные гребастые хребты, перевалы, ущелья в несколько сот, а то и тысяч метров глубины. Человек плохо выдерживает даже короткое созерцание этих ледовых бездн. У него дух захватывает, голова у него кружится, сердце сдает; пропасть так и тянет его к себе — хочется бежать или наоборот упасть на землю и зажмуриться. Впрочем, какая там земля? Лед, снег, камень — вот и все. Бывают здесь и обвалы. Редко, но бывают. Каменные породы не везде ведь монолитны, за многие миллионы лет их расшатали и ветры, и арктические морозы, и солнце, и ливни. Порода сверху раскрошилась, распалась на отдельные слои и глыбины, это так называемые “живые камни”. Они очень опасны. Достаточно самого небольшого толчка и даже просто сотрясения воздуха, чтоб такая глыбина поползла, увлекая за собой другую, третью, десятую, сотую, и вот уж могучий каменный поток с грохотом сметает все вокруг, летит, гремит и рушится в пропасть.

Двадцать семь альпинистов входили в состав специальной экспедиции. Перед ними была поставлена особая задача — завершить десятилетнюю работу по покорению и исследованию пика Победы. Руководил экспедицией известный мастер, инструктор по альпинизму Евгений Михайлович Колотильников. Маршрут был выработан такой: Алма-Ата — Фрунзе — Иссык-Куль — турбаза “Ледник Звездочка”. Находилась эта турбаза почти на самой китайской границе, и с нее-то и должна была двинуться в дорогу экспедиция. Восхождение происходило по восточному склону Алатау. Путь этот несколько более удлиненный (северный путь был бы короче), но зато и более безопасный. Впрочем, никаких особых опасностей и не предвиделось. Все участники подъема были люди сильные, хорошо натренированные, они были снабжены всем необходимым. Сама же экспедиция была организована на редкость предусмотрительно.

Ее разбили на три отряда.

Восхождение осуществлял первый отряд. Им руководил опытный мастер Шатилов, в этой группе было пятнадцать человек. Вторая группа была

как бы запасная. Она располагалась где-то на середине трассы. И, наконец, третья группа командная — оставалась на турбазе. Она должна была держать радиосвязь с обеими группами и отдавать распоряжения. Руководил ею сам Колотильников. Все три группы были снабжены рациями, а первая группа, кроме того, несла продуктов на двадцать дней. Одновременно в горах работала и вторая экспедиция узбекской Академии наук. Она штурмовала тот же пик, но с другой, с северной стороны, и ею руководил мастер спорта по альпинизму Владимир Осипович Рацеки. Как потом говорили специалисты, такое одновременное восхождение двух экспедиций и штурм пика с разных сторон был крупной тактической ошибкой. Каждой экспедиции хотелось достичь вершины пика первой, а такое соперничество в альпинистском деле — на редкость выверенном, размеренном и подчиняющемся строжайшей дисциплине — дело очень опасное. Но приказ был дан и экспедиция тронулась в путь.

Итак, казахстанская группа шла с востока. Перед ней открылся таинственный, безмолвный и страшный мир голубых ледников, глубоких снегов, камней — древних, как сама планета. Чудовищный дракон, растянувшийся на несколько тысяч километров, лежал перед ними. Оно, это чудище, было каменное, костлявое, поросшее лесами и мхом, ощерившееся гребнями и гранитными ребрами. У чудища этого были страшные клыки, когти и смертельные ловушки под ними. Его бока и чешуя горели кровавым светом — всходило низкое, багровое солнце. Выше! Выше! По гребням и скалам, по снегам и льдам. И вот уже и камней нет, и над альпинистами только синее холодное небо да сизые заснеженные пики. Вперед! Вперед к ним! Два раза в сутки радист включал рацию:

— Я Эдельвейс, — кричал он, и голос у него был хриплый, простуженный. — Пройдет сто метров! Впереди ледник “Снежное крыло”, иду на него.

Это было хорошее известие, и его сразу передавали дальше, в большие города и наблюдательные пункты. Если же в назначенный час этот хриловатый голос не выходил в эфир, немедленно включались все рации турбазы, и тогда через некоторое время в наушниках звучало опять:

— “Ледник Звездочка”! Я Эдельвейс! Я Эдельвейс! Взял еще пятьдесят метров! Задерживал оползень. Пройдет рядом. Вижу стоянку.

И снова тишина. Снова белое безмолвие, в котором только и было, что ветер, да морозное солнце, да снежные вершины под ним.

Катастрофа пришла неожиданно. Сначала ветер подул быстрее и резче, потом змейками побежала поземка, снег закрутился, зазвенел как стеклянный. И вдруг все перевернулось, закружилось, словно обрушилось в пропасть, или небо рухнуло на горы и смешалось со снегом. Все стало белым, мутным, невидимым. И ветер сразу превратился в ураган. Стоял такой рев и вой, как будто горы, молчавшие тысячелетия, вдруг обрели голос и закричали, заревели по-звериному. Все слилось в ураган звуков. Снежная буря в горах! Как же она отлична от степного или лесного бура-

на! Каждая гора, ущелье, пропасть имеют тут свой собственный особый голос. В ущельях, в узких проходах, где буран мчится со страшной скоростью, звук получается резкий, высокий, похожий на паровозный гудок. Там же, где горы высоки и могучи, ветер, ударяясь об них, ревет, ухает и завывает. Все это сливаясь, перебивая и заглушая друг друга создает неопишемую какофонию, хор древних фурий, или существ, сорвавшихся с цепи. Человек в такие минуты теряется, слепнет, глухнет. В горах как будто бушуют тысячи буранов, все с разных сторон и направлений. Собственно говоря, направление-то у ветра всегда одно, — но бесконечные ущелья, заслоны, пропасти, вершины словно ломают его на части, создают тысячи вихрей, воздушных воронок, смерчей и ураганов. Все крутится, падает, летит — и уже совершенно нельзя понять, где ты и что с тобой. Хлопья взметенного снега облетают тебя словно вата, набиваются в ноздри и уши дышать становится трудно, человек задыхается, хватая воздух ртом. Но есть и горшая беда — ветер не только валит путника с ног и ослепляет его, но он еще и закидывает его камнями — крупные, круглые глыбины, валуны, сорванные откуда-то с разрушающихся утесов так и летят во все стороны. Спасенье одно — добраться до стоянки или зарыться в сугроб, в подножье ледников или скал с подветренной стороны.

Буран застал отряд на плоскогорье, покрытом обледенелым снегом. Ни пропастей, ни круч здесь не было. И вот пятнадцать человек, связанные друг с другом толстым альпинистским канатом, двинулись против ветра. Они были нагружены тяжелыми рюкзаками и двигались медленно, склонив головы и пряча лицо от бившего наотмашь вихря. Так они походили на быков, собравшихся броситься на врага. Они шли, падали, снова вставали и снова шли.

Руководитель отряда был упрям и настойчив. Впереди, знал он, километра через полтора находится хорошее укрытие — он сам им однажды пользовался, — и он вел отряд туда. Люди были голодны, устали, еле стояли на ногах. Он понимал все это, и все равно не давал им ни остановиться ни перевести дух. Он знал: надо идти против ветра, в этом единственное спасение. Ветер бил и бил в лицо. Но в этих страшных прямых ударах для опытного альпиниста заключался и некий шанс на спасенье, удары ориентировали: идя им навстречу, можно было добраться до цели. Но ветер вдруг изменил направление. Это было пустышное изменение, но во время снежной бури всякое изменение оказывается очень важным, решающим! Ах, если бы руководитель мог по компасу проверить азимуты стоянки. Но он упустил время, и сейчас был бессилен что-то поправить. Это была ошибка, за которую ему пришлось потом расплатиться жизнью. Но сейчас он шел впереди всех, уверенный, властный, непререкаемый — и вел всех за собой. Стало быстро темнеть. В этих широтах темнота наступает почти сразу. А провести ночь в горах во время снежной бури — это такое испытание, которое выдержит не всякий даже опытный альпинист. Тебя об-

ступает такая плотная мгла, что ее хоть ножом режь, руки своей не увидишь! Только слышен вой ветра, да летят в лицо ледяные иглы.

Руководитель партии был очень опытным альпинистом, и он вдруг каким-то шестым чувством понял, что сбился с пути и сейчас они идут по кромке пропасти. Он хорошо знал ее, она тянулась вдоль всего плоскогорья, и была поистине бездонна. Тогда он остановился и повернул отряд в другую сторону. Направление, кажется, было взято верное — подальше, подальше от этого разверстого ледяного ада. Но тут ему снова пришлось остановиться, к нему, сгибаясь так, что казалось они не идут, а ползут на четвереньках, подобрался радист и еще двое участников экспедиции. Трое заслонили спинами четвертого, и тот передал, что они сбились с трассы, попали в буран и сейчас находятся на высоте семи километров. Что делать, как найти дорогу?

— Немедленно зарывайтесь в снег! Немедленно! — прокричал им с турбазы руководитель экспедиции.

Собственно говоря, это был совершенно излишний приказ. Сами альпинисты знали, что по уставу полагается поступать только так — но руководитель знал и другое: на высоте 7 километров человек теряет тридцать процентов ориентировки и сообразительности, ему нужен приказ, директива, распоряжение — и руководитель кричал до хрипоты: — Сейчас же в снег, немедленно! — Но Эдельвейс уже не отвечал. И, наконец, охрипший радист сказал безнадежно:

— Не отвечают. Там что-то случилось.

А случилось там нечто очень страшное.

Таково было начало рассказа Акылбека Ахметжановича. Конечно, он не сообщил, да и не мог сообщить всех тех подробностей, которые я привожу здесь. Это я уже сам собрал их потом, разговаривая с участниками и свидетелями этих событий. Рассказов было много, но все они сводились к одному: пожалуй ни разу и нигде людям, попавшим в беду, не была оказана такая мощная и согласованная помощь, как в этом случае. Все государство, его учреждения, научные институты, заводы, войска, авиация в течении десяти дней стояли как на вахте возле пика Победы, где крутилась метель и гибли люди. Был создан специальный штаб, который дежурил у телефонов и рации дни и ночи. И во главе его стоял Первый руководитель республики Андрей Иванович Светлов.

В этот день, вернее ночь, он засиделся, зачитался и лег против обыкновения очень поздно. А в четыре часа утра дежурный офицер уже постучался в дверь его спальни. Было совсем еще темно. Даже и заря не обозначилась еще над горами.

От стука он быстро проснулся и сел.

— Войдите,— сказал он.

— Товарищ генерал-лейтенант,— тревожно доложил молодой офицер (военные гордились, что секретарь ЦК бывший боевой генерал, один из

героев Малой земли — новороссийских сражений и всегда обращались к нему так), — в горах неладно, просят к телефону.

Светлов оделся и вышел в соседнюю комнату.

— Слушаю вас, — сказал он.

Звонил дежурный Дома правительства. Только что получена радиogramма с турбазы “Ледник Звездочка”. Второй день в горах метель. Прервана связь со штурмовой группой из пятнадцати человек, которая вышла четыре дня тому назад с базы для восхождения на пик Победы.

— И давно нет связи? — спросил Первый.

— Четвертый день, — ответили ему.

— А погода там какая?

— Погода там ужасная, снег. Буря. Ветер. Ломаются деревья.

Больше первый секретарь ничего не спрашивал. Он скомандовал с военной четкостью.

— Позвоните моему помощнику. Пусть Александр Васильевич сейчас же приезжает в Дом правительства и соберет, — записывайте — председателя Совмина, председателя комитета госбезопасности, министра внутренних дел, начальника военного гарнизона, председателя комитета физкультуры, несколько крепких бывалых людей из клуба альпинистов. Записали? Ну, еще начальника гражданского воздушного флота! Все! Передайте, что сейчас приеду. — Он положил трубку. — Машину, — приказал он дежурному, уже проходя в умывальную. Там он обтер лицо холодной водой, сделал несколько быстрых гимнастических упражнений, побрился и вышел. Машина ждала его у ворот.

— Ты понимаешь, — сказал мне Акылбек Ахметжанович, — раз Андрей Иванович приехал на машине, это значит случилось что-то действительно необычайное — Андрей Иванович не любил ездить в Дом правительства на машине. Он жил всего за пять кварталов и всегда проходил их пешком. Идет он — стройный, с четкой военной выправкой, летом с открытой головой, зимой в папахе, а рядом Чехочихин, молодой красный офицер с огненно-рыжими волосами, вот так идут, мирно о чем-то беседуют, Андрей Иванович кивком отвечает на приветствия прохожих, улыбается им. Все, кто проходил ровно в девять часов утра — Андрей Иванович по-военному пунктуален и никогда не запаздывает — могли наблюдать эту картину. В эту же августовскую ночь был по-настоящему встревожен и расстроен.

— Ну как же это могло случиться? — спросил он меня тогда. — Все они опытные альпинисты и знают, как вести себя в таких случаях.

Я, конечно, только развел руками — никто тогда не мог ответить на этот вопрос. Ответ пришел только дней через десять.

Через двадцать минут все приглашенные прибыли в Дом правительства, а еще через пять минут в кабинете Первого началось совещание. За

эти считанные минуты Андрей Иванович успел связаться с турбазой и принять решение.

Он коротко и четко доложил собравшимся о случившемся и кончил так:

— Товарищи, с турбазы “Ледник Звездочка” сообщают, что буря продолжается. Значит, времени у нас почти нет. Альпинисты в смертельной опасности. Их положение и местонахождение нам не известны. Рация у них не работает. Значит, их жизнь зависит только от нас, от нашей расторопности и оперативности. Назначаем комиссию по спасению. Председателем ее штаба буду я, членами...— и он быстро назвал несколько имен.— Все, товарищи.

— Так может, Андрей Иванович,— сказал кто-то,— председателем назначим кого-нибудь другого? У вас же без этого столько дел. Завтра вот начинается совещание механизаторов...

— Его проведут другие товарищи,— отрезал Андрей Иванович.— Теперь все для меня отходит в сторону. Ну, как я смогу где-то заседать, когда я знаю, что где-то тут, близко от меня погибают наши люди, и я им не могу помочь. Какие уж тут заседания! Ладно, все, товарищи. Члены комиссии остаются, остальные свободны.

Вот так и начала работать комиссия. Ни ее председатель, ни ее члены не покидали здания ЦК ни днем, ни ночью. Когда жена Андрея Ивановича позвонила ему и сказала, что завтра именины дочери, очень им близкого человека, и он обещал быть на них, он ответил:

— Прости, но сейчас никак не смогу. Поцелуй ее за меня, извинись и скажи, что в следующий раз буду обязательно, а сейчас никак, ну никак...

Он сидел у телефона и обзванивал чуть не всех членов правительства. Микоян срочно выслал военный самолет. Наготове были специальные части армии. Андрей Иванович вместе с заместителем председателя комитета физкультуры Петром Аркадьевичем Деражинским ездил на заводы и заказывал альпинистическое снаряжение, необходимое для поисков, а затем сам следил за их выполнением. Он до поздней ночи находился в своем кабинете и отвечал на все звонки.

Тут Акылбек Ахметжанович слегка улыбнулся, посмотрел на меня и сказал:

— Здесь есть один маленький штришок, который до тебя, может, не доходит, а мне он сразу бросился. Ведь Андрею Ивановичу не обязательно было все брать на себя — он мог назначить председателем любого из нас, и тогда бы тот и был бы за все, про все в ответе, а Первый остался бы в стороне, но понимаешь, не в правилах Андрея Ивановича сваливать что-то на чужие плечи. Помочь этим людям он считал своим долгом, и никому другому, кроме себя, доверить это не мог. Так вот, говорю, он иногда даже спал на диване в своем кабинете. А с гор приходили неутешительные сведения — буран метет по-прежнему и военный самолет раз за разом безрезультатно возвращается обратно. На земле ничего не разглядишь. На тре-

тый день ветер изменил свое направление на 180 градусов. И тут руководитель совершил, пожалуй, свою самую крупную и во всяком случае ставшую роковой ошибку. Он решил повернуть отряд обратно. Ведь ветер-то изменил направление, а в его мозгу застряла одна-единственная мысль — идти против ветра. Против ветра. Против ветра. Только в этом спасенье. И тут произошло самое губительное: вместо того, чтобы найти место с глубоким снегом, где можно было бы зарыться в сугроб и греть друг друга телом (помнишь, у Некрасова в “Русских женщинах”: “А ураган в степи застал — закапывайся в снег” — улыбнулся Акылбек Ахметжанович), так вот вместо этого руководитель привел их в такое место, где снега вообще не было, — там все выдул ветер, осталась одна черная, голая, твердая, как железо земля. И вот люди шли и шли по ней, даже не шли, а как-то ползли против ветра, пристегнутые к одному жгутовому канату. Идти, идти, идти! — мозг не способен был воспринять и переварить что-нибудь кроме этой односложной команды. Зачем идти, куда идти — об этом никто уже не думал. И когда руководитель вдруг останавливался, поворачивался спиной к ветру и засыпал — стоя! все идущие сзади него валились на снег и мгновенно засыпали, но через двадцать-тридцать минут руководитель вдруг упрямо поворачивал лицом к ветру, дергал канат, и все вставали, шли, ползли, карабкались вслед за ним, ослепленные, оглушенные и равно ничего не думающие и не понимающие.

— Ученые говорят, что такое состояние вообще характерно для всех закруженных ветром, — сказал Акылбек Ахметжанович, — расстраивается вестибулярный аппарат, человек теряет всякую ориентировку, и как бы сходит с ума. Он может кружиться возле своего дома и не видеть его, или пройти и замерзнуть у забора. Может сойти с дороги и пойти в сугроб или повернуть в другую сторону. Конечно, тренировка снимает многое, но все-таки не все — и главное, — как видишь, не всегда. К тому же, на третий день кончились все индивидуальные пакеты, и люди стали голодать. А рация сдала почти сразу. Она была дорогой немецкой марки, но очевидно руководитель недаром в свое время возражал против ее приобретения. Если бы его тогда послушались, то может ничего и не случилось бы.

И потом я узнал, что ориентируясь все время по этому изменяющемуся ветру, вожак со своей партией несколько суток крутился на одном пятчке возле пропасти, то есть там, где и не могло быть никаких сугробов. Ведь их намечает к подножью утесов. Так и в деревне — глубокий снег всегда ложится к заборам.

Итак, пятнадцать человек. Первым шел руководитель. За ним странный человек, по прозвищу Глыба. Он и верно чем-то напоминал ее — огромную, кряжистую, безмолвную. А силен он был, как буйвол, на него в экспедициях всегда навьючивали самые тяжелые ящики и рюкзаки. И он тащил их шутя, как бы играючись, и когда его спрашивали не тяжело ли, отвечал: “Э, да я еще столько, да еще полстолько, да еще четверть столько

протяну сто километров”. Он вообще, несмотря на свою молчаливость, был очень смешлив и смеялся над любым анекдотом или шуткой. И добродушен он был тоже очень. Когда молодые спутники на привалах начинали рассказывать разные невероятные истории о его похождениях (а какие у него могли быть, по совести, похождения?), он только загадочно молчал, посмеивался и кивал головой: да, да, было! В списках экспедиции он числился как Главенко, но так его никто не называл. За ним шел студент института физкультуры Ураз — молодой парень лет двадцати. Был Ураз строен, красив, порой задумчив, порой отчаянно весел, с нежным, почти девичьем лицом и таким же характером. Очень любил песни и хорошо танцевал. В отряде его любили и знали, что кроме Ураза у его матери нет никого, отец и братья погибли под Москвой. Перед самым походом у него с Глыбой был такой разговор:

— И значит, кроме тебя, у матери больше никого-никого нет? — спросил Глыба.

— Никого, отец, — ответил Ураз.

— И в летах, наверное, мать?

— Да, не молодая, конечно, но держится еще хорошо, — ответил Ураз, — на твоей свадьбе, говорит, песни петь буду.

— Это она хорошо держится, пока ты с ней, — вздохнул Глыба. — Эх, парень, парень, куда же ты идешь? Если чего с тобой случится, е матерью что будет?

— А как же вы?

— Ну я! Я перед тобой старик. У меня никого сейчас нет, а ты...

С тех пор они и подружились, и сейчас шли вместе. Глыба впереди, Ураз за ним. Но уже с утра третьего дня Глыба почувствовал неладное: идти им становится все труднее. Парень тяжелел и тяжелел. Конечно, могло статься, что не парень тяжелел, а просто сам Глыба устал. Но об этом Глыба даже и не подумал. Он не смел, не мог устать, ведь в отряде он считался самым сильным. На одном очень коротком привале, когда все повалились на жесткий ледяной наст — Глыба подтянул канат к себе и увидел, что парень лежит без сознания. Он окликнул его, Ураз не ответил. Как же этот полумертвец мог идти в течении нескольких часов, подумал Глыба и сейчас же понял: парень не шел, его просто волокли за собой два сильных человека, спереди он — Глыба, сзади молодой студент из того же института физкультуры, как и Ураз. Решение у Глыбы созрело мгновенно. Он отстегнулся от каната, поменялся местом с человеком, замыкающим партию и взвалил парня на плечи. Так они прошли еще полдня. А потом и Глыба выдохся и отряд тянул уже их двоих. Ураз висел как мешок, лишь иногда его тело сотрясала короткая судорога. Дальше идти с отрядом в таких условиях было не только безрассудно, но, пожалуй, и преступно. И Глыба решил. Он отстегнул железный крючок своего джутового пояса, когда все встали, он остался с парнем на месте. Так они и лежали — один полу-

мертвый от усталости, а другой, может быть, уже мертвый. Но долго лежать на голом льду они тоже не могли. Глыба почувствовал, что еще полчаса и он вообще не встанет. Надо непременно встать, пойти и отыскать спасительный сугроб. Иначе конец. Когда-то Глыба прочел книгу с мудреным названием “Белая смерть”. Так вот она какая — эта белая смерть! — понял он.

Он встал, сделал несколько шагов, таща на себе уже совершенно недвижимое тело юноши, и вдруг они оба мгновенно — так мгновенно, что Глыба не успел даже испугаться или понять что с ним произошло — ухнули в ледяной провал.

Люди в течении двух дней кружились над пропастью и только какая-то непонятная сила удерживала их на самой кромке ее.

Четыре дня бушевал буран, а на пятый улегся и так же внезапно, как и налетел. Снова сияло солнце и было больно смотреть на этот гладкий мертвый, словно выглаженный снежный покров. Он был настолько чист, что не содержал в себе никаких форм и очертаний. Его однородность утомляла и гнала глаза человека своей неживой правильностью.

Как только буран стих, Андрей Иванович перенес штаб в горы. И два раза в день посещал его на самолете. Но штаб в горах был также бессилён, как и штаб в городе. Поисковые самолеты почти сутками кружились над горами и возвращались на базу ни с чем. Ни одной черной точки нельзя было заметить среди этой мертвой белизны! — Андрей Иванович седьмые сутки не покидал свой кабинет. Там иногда и спал, там и ел. Над горами кружили самолеты, а в горах работали два отряда — горно-саперная часть, снаряженная всеми хитрыми приборами военной техники, в том числе миноискателями — вдруг под снегом звякнет что-нибудь металлическое, — и специальный альпинистский отряд. Спасатели больше всего шарили около скал. В штабе было высказано предположение, что рухнула сверху снежная лавина, да и засыпала всех. Двигаться по снегу было трудно. Тут даже и аэросани не помогали — они ведь не приспособлены для гор, в горах их заедает на каждом шагу. Итак, 27 человек как сквозь землю провалились. Никто их не заставлял и даже не уговаривал пойти на этот подвиг — штурмовать самый большой пик Алатау, они сами вызвались на него — и пошли весело, с шуточками-прибауточками, одолели все препятствия, поднялись над морем на шесть километров — и вот, очевидно, погибли! Когда обычные поиски оказались безрезультатными, когда сдали все самолеты, аэросани и миноискатели, Андрей Иванович дал приказ: разделить все пространство этих мест на квадраты и обшаривать его квадрат за квадратом. Просто идти по снегу и шаг за шагом прощупывать покров длинными шестами.

Сам он сидел в кабинете и каждый час вызывал штаб: “Есть что-нибудь новое?” — спрашивал он и ему отвечали: “Ничего, Андрей Иванович”, и через час снова: “Что-нибудь обнаружили?” и опять: “Нет, ниче-

го". Наконец, не выдержав такого напряжения, первый секретарь сам снова вылетел на самолете. Он видел как на всем огромном пространстве поисков копошились люди, где шли они цепочками, где группами, где по одному — прощупывали, прослушивали, обыскивали каждый метр. И нигде ничего не обнаруживали. Светлов возвратился и позвонил секретарю ЦК Узбекистана. И оттуда, сняв с Памира спасательный отряд, прислали людей и самолеты. Но и это было напрасно.

На третий день нашли рюкзак. Он лежал как раз посредине предполагаемого места катастрофы. Это был первый обнадеживающий признак. Раз человек кинул груз, а сам двинулся дальше, значит он надеялся еще на спасенье. И поиски начались именно на той полосе, где нашли этот всегда такой мирный, а сейчас выглядевший просто зловеще предмет.

А штаб не знал покоя. Телефоны звонили и звонили. Телеграммы летели и летели. Звонили родственники, товарищи, просто знакомые — звонила вся страна, узнавшая о трагедии в горах Алатау. Спрашивали, советовали, умоляли, хотели принять участие.

На пятый день поисков Андрею Ивановичу сообщили, что уже второй день в бюро пропусков сидит старая казашка и ждет вестей о сыне.

— То есть это как второй день? — возмутился первый секретарь. — Слушайте, да как же можно быть такими бессердечными и черствыми? Двое суток продержат несчастную женщину у дверей! Почему я не узнал о ней раньше? Немедленно же ее ко мне! Эх, вы... — и не договорил, потому что был очень рассержен.

Старуху провели в кабинет Василия Александровича — помощника Светлова. Когда она сидела в кресле и пила чай, к ней подошел Андрей Иванович и сказал:

— Ну вот и сиди, матушка, тут. Будем ждать вместе. Авось и дождемся хороших вестей с гор.

Так старуха и осталась в здании Дома правительства до конца поисков.

На седьмой день нашли пятнадцать человек узбекской экспедиции. Они спаслись потому, что сразу зарылись в сугроб близ какого-то утеса, но потом снег завалил их так, что они оказались как бы запечатанными. Так и лежали они все семь дней как в медвежьей берлоге. Они были уже без сознания, и в течении нескольких часов пришлось бороться за их жизнь.

Сына старой казашки среди них не оказалось. Старуха неподвижно сидела в кресле и ждала. Молчаливая, вся ушедшая в себя, с сухим скорбным лицом. И Андрей Иванович сказал тогда Акылбеку Ахметжановичу:

— Вы знаете, кого она мне напомнила? Ту старую учительницу, что вот также сидела у гроба своего сына. Помните? Сидит, гладит его по сложенным рукам и молчит, молчит. Не плачет, а ровно ждет чего-то. Ну эта хоть ждет известий о своем сыне, а что ждала та? Только смерти разве. Меня вообще поражают эти старые казашки. Другие бы ревели во весь голос, а эти...

— По казахскому обычаю, когда на что-то надеешься и ждешь нельзя плакать, а то обязательно накликаешь горе,— ответил Акылбек Ахметжанович,— таково старинное поверье. Переживай все в себе.

— Господи, скорее бы нашелся ее сын! — тоскливо воскликнул Андрей Иванович,— честное слово, ничего кажется так в жизни не хотел, как этого!

— И Ураз нашелся. Глыба сам погиб, но парня спас. Произошло что-то совершенно невероятное: сам Глыба расшибся о ледяной пик, а парень пролетел мимо, попал в ледяную воду и простоял в ней все дни поисков. Как он мог остаться после этого жив, не лишиться сознания — ведь он недавно перенес операцию аппендицита,— как вообще не расшибся, пролетев пятнадцать метров — все это понять нелегко. Но словно шальной бог случая, сжалившись над горем матери, пощадил этого парня наперекор всем закономерностям и даже здравому смыслу.

— Матушка! Ваш сын нашелся, жив! — воскликнул Андрей Иванович, вбегая в кабинет своего помощника.

Старуха встала какой-то неровной качающейся походкой, подошла к Андрею Ивановичу и сказала:

— Спасибо, мой родной! — Теперь по ее лицу текли обильные слезы,— спасибо,— повторила она, зашаталась и упала бы, если бы ее не подержали.

И отходя, Андрей Иванович облегченно вздохнул и сказал:

— Нет, в самом деле, какое это счастье! — и первый раз за эту неделю улыбнулся.

Из двадцати семи нашли шестнадцать — одиннадцать пропали бесследно. Когда об этом доложили Андрею Ивановичу, высказав мысль, что дальнейшие поиски уже не имеют смысла, первый секретарь отрицательно покачал головой:

— Нет, будем продолжать искать, не растворились же они в снегу.— И поиски продолжались еще с неделю.

— Вот такая эта история,— закончил свой рассказ Акылбек Ахметжанович,— история, надо сказать героическая.

— И глубоко человеческая,— сказал я.

— Да, это прежде всего! Я не знаю, есть ли в истории еще такой пример, чтоб руководитель огромной страны, отбросив все свои дела неделю занимался только одним — спасением погибающих. Право, не знаю! Я ведь говорю, он в самые горячие дни даже ночевал в своем кабинете, и еще помню такой случай. После всего Андрей Иванович сделал членам ЦК доклад и показал отснятую пленку поисков. И тогда кто-то сказал:

— Под суд начальника экспедиции!

Но Андрей Иванович покачал головой.

— Нет, подполковника Евгения Михайловича Колотильникова судить не за что — он ровно ни в чем не виноват. Я его знаю с Отечественной

войны. Он служил в армии маршала Гречко, рядом с нашей восемнадцатой, и с боями дошел от Москвы до Праги. И в этом деле ему тоже нельзя сделать ни одного упрека. Виноват начальник штурмового отряда. Это он нарушил устав и пропустил время, когда легко можно было зарыться в сугроб и переждать бурю. Не хочется говорить плохо о мертвом, но приходится — люди же погибли! Только спросить с него за это ничего уже не спросишь...

— Да, справедливый был человек Андрей Иванович. Справедливый и человечный! Когда его назначили на большой пост в Москве и забирали от нас, многие чуть не плакали. Я помню, как один из работников нашего аппарата, старый коммунист мне сказал тогда: “Жаль, что его берут — он изучил нас досконально со всеми нашими достоинствами и недостатками. Поэтому с ним легко было работать. Придет другой — пока он вживется да изучит обстановку, людей, сколько времени пройдет!” Да, вот так говорили! — и Акылбек Ахметжанович слегка развел руками.

Я понял этот жест и сказал:

— Но этим, в конечном счете, другим оказались вы, так что долго изучать страну и народ новому руководителю не пришлось.

— Да, вышло так, — снова улыбнулся он, — и своим выдвижением я тоже обязан Андрею Ивановичу. Он настоял, чтобы меня назначили на это место. Ведь одним из самых главных стремлений Андрея Ивановича было не приглашать людей со стороны, а растить местные кадры. Это было наше общее стремление, и работали мы дружно, споро, понимая друг друга сразу же, иногда с полуслова. Видимо, это и подразумевал Андрей Иванович, когда недавно выступая в Алма-Ате на торжественном собрании, посвященном двадцатилетию освоения целинных земель, сказал, что годы, проведенные в Казахстане, он считает одними из самых счастливых в его жизни. Они и для нас счастливые. Мы от него научились многому.

— Хотя бы спасать людей, попавших в беду, — сказал я, — не считать жизнь человека пустяком, а бороться за нее силами всего государства.

— Это ты про тот случай в степи, — кивнул головой Акылбек Ахметжанович. — Да, да!

А случай в степи был такой.

В знойный августовский день потерялись в степи двое водителей. У них испортилась машина, починить ее было невозможно, поэтому они ее бросили и пошли пешком. Решили дойти до ближайшего колхоза. И, конечно, заблудились. А заблудиться в степи — страшное дело! Ведь степь так же однообразна и так же не имеет примет, как и снежный покров в горах. Но она еще и бескрайняя, жгучее степное солнце палит словно с четырех сторон, и где восток, где запад — днем никак не разберешь. Иное дело ночью — тогда дорогу можно отыскать по звездам. Степные казахи это умеют. Ну, а если ночь беззвездна? Тогда ты пропал. Умрешь от жаж-

ды, от перегрева, скосит тебя солнечный удар, и только через несколько лет кто-нибудь наткнется на твои кости. Да и то вряд ли — птицы растаскают. Есть у поэта Ивана Ерошина такое стихотворение, оно очень нравилось Ромэну Роллану: лежит в степи череп, а над ним распустился огненно-красный тюльпан. Вот это, наверное, такой случай. И вот на второй же день после того, как обнаружили в степи сломанную машину без людей, Акылбек Ахметжанович организовал поиск. Были вызваны самолеты и вертолеты. Обшаривали степь квадрат за квадратом, и почти через сутки нашли водителей, лежащих в бессознательном состоянии на берегу какой-то речушки, поросшей тальником.

— Да, — сказал Акылбек Ахметжанович, — этот случай в степи тоже попортил мне немало крови, но пример ледяной гибели тех несчастных одиннадцати человек стоял у меня перед глазами, и я подумал: вот когда мне был преподан наглядный урок бережного, подлинно государственного отношения к жизни человека. После того, что сделал в те дни Андрей Иванович, просто невозможно было отказаться от поисков, нельзя было не послать самолеты. Понимаешь, нельзя и все!

— Да, понимаю, понимаю...

Я шел домой и думал: да, много качеств требуется от руководителя, так много, что их все даже и не перечислишь. И все-таки все они почти ничего не стоят, если не пронизаны глубокой человечностью.

Сегодня после разговора в кабинете я это понял особенно ясно.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

В морозный ясный день самолет Акылбека возвращался из Ирана. Акылбек летал туда во главе делегации Верховного Совета СССР.

Иран в сознании восточного человека всегда страна сказочная и фантастическая. В культурной же и духовной истории Казахстана роль его совершенно особая. Предки казахов басмалы еще в седьмом веке совершали набеги на цветущие долины Тигра и Евфрата. Но вместе с пленниками и награбленными сокровищами они вывезли из страны и другое состояние — передовую по тому времени иранскую культуру. Акылбек Ахметжанович знал, что на евро-азиатско-африканском континенте насчитывается несколько таких, так называемых “очагов цивилизации”. Так вот любой такой, даже самый отдаленный очаг, как бы своеобразен он ни был, обязательно связан незримыми нитями с Ираном. Эта сказочная страна испокон веков находилась на скрещении всех торговых, военных и культурных путей. Есть старинная иранская легенда: умирая, один великий царь поделил землю между тремя сыновьями. Иран достался среднему, Ираджу. Тогда два других сына, сговорившись, убили брата и захватили его владения. С тех пор и пришли в мир войны. И вот идут и идут не переставая третье тысячелетие. В этой легенде отразилась одна историческая ис-

тина — ни одна из великих войн не обошла Иран. С незапамятных времен была обжита каменистая почва этой страны. Здесь в горах Загроса и зародилась первая цивилизация. Во всяком случае именно тут — в узких горных долинах — и возник Шумер. А потом по протоптанным ею дорогам пришли все завоеватели и “бичи мира” — цари, полководцы, просто удачливые авантюристы. И о какой бы великой державе — будь это Урарту, Хетты, Туран, Афины или великие Кушаны — не зашла бы потом речь, все равно приходилось начинать с Ирана. И две с половиной тысячи лет существует почти в тех же самых границах эта великая страна. С того самого времени, когда первым Ахеменидам удалось, когда силой, когда лаской и обманом объединить под своим владычеством мелкие сатрапии и княжества.

После этого были века нескончаемых войн и династийных убийств. Персидские войска захватывали Египет, высаживались в Балканах и чуть не разгромили Афины. Воюя со скифами они дошли до центральной Европы на западе, и до Индии на востоке. Где-то там, в степях Средней Азии и сложил под сакскими мечами свою буйную голову самый великий и дерзкий из захватчиков древнего мира — легендарный царь Кир. Только Александр Македонский положил конец этой династии полубогов, рыцарей и разбойников. Он все предал огню и мечу. Казалось, страна уже не воскреснет, но прошло как будто совсем немного лет и на старых развалинах возникла новая династия — Аршакидов. С тех пор в течении с 3 века до нашей эры и до 3 века нашей эры не было для Рима, а потом для Византии более жгучего, острого и постыдного вопроса, чем парфянская опасность. Аршакидов сменили Сасаниды. Никогда искусство в Иране не достигало такой высоты, как в это время — сасанидское серебро стоит в одном ряду с греческой скульптурой и византийскими фресками. Арабы превратили в развалины чудесные города и храмы этой блистательной династии, но дух изгладить не могли, и еще через полстолетия начинается великое иранское Возрождение, давшее миру Рудаки, Авиценну, Беруни, Хайяма. Затем новое нашествие — теперь монгольское — обрушилось на эту многострадальную землю, и опять все было выжжено, вытоптано, предано огню и мечу. И хотя снова через самое короткое время поднимаются из руин разрушенные города и начинает пульсировать жизнь в зеленых оазисах, но фениксы из своего пепла восстают только в легендах. Столетия войн и разрушений не могли пройти бесследно даже для такой страны, как Иран. С конца средневековья начинается глубокий упадок иранской культуры...

А на западе вырастают новые державы и выходят на арену истории новые силы. Вот уж к берегам седого Каспия летят первые легкокрылые корабли первых колонизаторов. Прямых колониальных захватов иранская земля никогда не испытывала, но мало кто пострадал так от всех переделок мира, как Иран. К началу XX века экономика и культура его оказа-

лись отброшенными почти в средневековье. Экономическая слабость сковала страну жестким параличом и подлинным владельцем ее становится международный нефтяной консорциум.

Но тут в России произошла социалистическая революция. Она потрясла весь Восток и Иран оказался первой страной, связавшейся с молодой республикой дипломатическими отношениями. Старые неравноправные договоры, заключенные до 17 года, были ликвидированы, и молодое Советское государство отказалось от всех уступок и ограничений, насильно вырванных у слабой восточной страны опытными царскими дипломатами. 26 февраля 21 года был заключен новый договор. Согласно ему обе стороны обязались “не допускать на своих территориях образование и деятельность организаций и групп, ставящих своей целью борьбу против Персии и России”. А также согласились “запретить пребывание на их территории войск или вооруженных сил какого-либо третьего государства, пребывание которых создавало бы угрозу границам и интересам и безопасности другой Высокой Договаривающейся страны”. Статья шестая этого договора, кроме того, давала Советскому правительству права ввести в Иран войска, “если какая-либо третья держава попытается превратить иранскую территорию в базу для военных выступлений против России и если правительство Ирана окажется не в силах предотвратить эту опасность”. Именно на основании этого пункта наша страна вынуждена была в 1941 году ввести в Иран части Советской Армии. Тогда в Иране сразу после объявления войны вдруг появилось необычайное количество всевозможных немецких “туристов” и дипломатических представителей. После размещения советских войск на территории Ирана буржуазная печать начала на все лады оплакивать участь этой страны, якобы навсегда потерявшей свою независимость. Дело в том, что территория так называемого Азербайджанского Ирана непосредственно примыкает к границам Советского Союза, и населена она в основном азербайджанцами. Вот кто-то на западе, да и у нас даже заговорили о “Великом Азербайджане”, объединившем обе территории. Но в назначенный срок, точно выполняя договор, Советская сторона вывела все свои войска. Это еще больше содействовало дружбе двух соседей. Именно поэтому отмечая миролюбивую политику Советского Союза, Иранское правительство в 1962 году заверило Советский Союз в том, что “оно не предоставит никакому государству право иметь ракетные базы всех видов на территории Ирана”. Однако это обещание неоднократно нарушалось шахом, и притом в пользу США. Несмотря на это, дружественные отношения еще больше укрепились после обмена визитами между Л. И. Брежневым и правительством Ирана. Акылбек Ахметжанович, кроме того, знал, что Советский Союз согласился оказать своему южному соседу всю возможную экономическую помощь. На основе ее будет построен металлургический завод, проведен нефтепро-

вод и начнутся новые изыскания и разработки нефтяных месторождений. Нефть — это самое большое богатство страны. Десять процентов всего разведанного мирового запаса нефти находится в Иране. Но знал Акылбек Ахметжанович и другое: Иран является членом военного блока СЕАТО. Это создавало определенные трудности в развитии отношений двух держав, в то же время не следовало забывать и того, что иранское правительство и прогрессивные слои населения, в последние годы все более выступают в поддержку мероприятий, направленных на укрепление всеобщего мира. Иранское правительство высказалось за полный вывод израильских войск с территории арабских государств, а также за всеобщее и полное разоружение. Также не оставляло никакого сомнения, что и шах и иранское правительство всячески стремятся к расширению экономических контактов со странами народной демократии. Только накануне приезда Советской делегации в Иран шах побывал с официальным визитом в Польше, и в Румынии, и в Венгрии, и в Болгарии, Чехословакии и Югославии.

Так складывались отношения Советского Союза с этой древней страной, когда Акылбек во главе делегации впервые ступил на ее почву. За время пребывания в Иране он встретился с председателем сената Шариф Имами, с премьер-министром Амиром Аббасом Ховейдом — встреча проходила в знаменитом Ниарванском дворце — с самим шахом, сыном основоположника нынешней династии Реза-Шаха Мохаммедом Реза Пехлеви.

Встречался Акылбек и с простыми людьми — рабочими — нефтяниками, ткачами, земледельцами. Выступал на вечере общества Иран — СССР, говорил с рабочими Иранской национальной нефтяной компании. Когда он сказал, что советская делегация приехала в эту страну затем, чтобы еще сильнее укрепить традиционную дружбу двух народов, его слова были покрыты аплодисментами. Делегация отбыла, заключив новые экономические договоры.

“ИЛ-18” подлетал к Алма-Ате, Акылбек сидел в кресле, рассеянно смотрел в окно и думал. Перед его глазами все еще стоял знаменитый мраморный дворец, стены его залов были инкрустированы тончайшими зеркальными плиточками. Они слагались в пышные причудливые узоры, венки, гирлянды. На стенах висели ковры. Они были огромны. Сто, сто двадцать, полтора метра. На одном ковре был изображен Персеполис — гигантский дворец царей Дария и Ксеркса. Посетил Акылбек и шахскую сокровищницу, музей Гулистанского дворца. Там хранились драгоценности нескольких династий. Ему показали огромный глобус — Иран на нем был вымощен алмазами, океаны — бирюзой, а все прочие страны — драгоценными камнями — сапфиром, рубином, изумрудом. Хранилась здесь и коллекция тронов падишаха. Трон Фат Али-шаха, того самого, при котором был убит Грибоедов, трон шаха Музафар Эддина, и трон его отца, знаменитого Надир-Шаха. Был этот трон отлит из чистого золота и укра-

шен почти 27-ю тысячами драгоценных камней. Когда-то этот шах забирал Хиву и захватывал прикаспийские земли Казахстана, чтобы помешать хану Абулхаиру принять русское подданство. Были собраны в этих залах также доспехи и оружие 17-19 веков и художественные произведения, живопись и скульптура на исторические темы. Не меньшее впечатление на Акылбека произвела и древняя площадь в городе Исфагани. Она называлась шахская площадь или Майдане шах. Именно этой площадью тысячу лет тому назад и восхищался Фирдоуси в “Шах-наме”. Но эта площадь не только прекрасна, она еще и потрясающе огромна. Говорят, что больше нее только площадь святого Марка в Венеции. Окружена Майдане шах двумя сотнями мечетей, среди которых особенно заметна мечеть с качающимся минаретом — седьмое чудо света, как говорят и верят местные жители. Но самое большое впечатление на Акылбека произвел подлинный шедевр средневековой восточной архитектуры — мечеть Масджеди-шах. В ней семь куполов и все они разные. Если встать под самый главный купол, то можно услышать настоящее акустическое чудо. Стоит топнуть или даже просто шелкнуть пальцами один за другим отзовутся все семь куполов. Но не сразу, а так сказать, в порядке очереди. Но отойди на шаг в сторону, и тебя охватит такая гробовая тишина, что хоть караул кричи, а тебя не услышат.

Был Акылбек и в знаменитом шахском дворце, так называемом дворце сорока колонн. Колонн, положим, в нем всего двадцать, но они отражаются в мраморном бассейне — посередине портика — и до того спокойно тут вода, так чисты и отчетливы эти изображения, что действительно кажется, что колонн сорок. В этом дворце шах принимает только самых почетных гостей.

Видел Акылбек Ахметжанович и развалины Персеполиса в Ширазе — древнейшей столице Ахеменидов. Они колоссальны, и когда смотришь на них, то на память приходят Колизей, Акрополь, развалины Пальмиры. Александр Македонский сжег и разрушил город — так он рассчитался со столицей, откуда постоянно ползли в мир войны — с родовым гнездом Дария, Ксеркса и Кира. Остальное доделали песок и время. Теперь на этом месте желтая пустыня, вытоптанная, мертвая земля, ветер свободно гуляет среди мраморных обломков и кажется, будто тут было жилище гигантов и вдруг ударила молния или произошло землетрясение и не осталось ничего, кроме этого мраморного кладбища. “Кладбище мамонтов” — почему-то подумалось Акылбеку. И он улыбнулся. “Ба! Да я, кажется, становлюсь поэтом”.

“Хорошо, а что имеет Казахстан? — думал Акылбек, смотря в окно на пролетающие под ним белые заснеженные равнины. Ведь мы насчитываем не меньше веков, чем Иран. А что у нас есть? Полуразрушенный мавзоль “Айша-Биби”, памятник 11 века, грандиозная мечеть Ходжа Ахмета Яссави, построенная Тамерланом, да еще, пожалуй, “Мертвый город” —

огромное кладбище, обнаруженное недалеко где-то на Мангышлаке. Вот, кажется, и все. Да, не больно-то много. С Ираном никак не сравнишь! Ну хорошо, говорят наши предки, все эти саки, аргу, кипчаки, уйсуну были кочевниками, а раз они кочевали, какие же у них могли быть города? Подъехал казах, поставил юрту, уехал казах — снова снял юрту, вот и все! Какие же там строения? Чему здесь сохраняются? Хорошо, положим, что так, но ведь не ими же, все-таки кипчаками и древними уйсуну начиналась наша земля. Отнюдь нет! Всюду в степи наталкиваешься на следы древних разработок — кто-то рылся в этих местах, добывал медные, серебряные, золотые руды, выплавлявая из них металл. Кто и когда? Неизвестно. Только редкие находки — как золотые метеоры вдруг проносятся в этой непроглядной тьме, — вот, например, знаменитая каргалинская диадема, на ней идут маралы, летят птицы и крадется дракон, очень похожий на семиреченского тигра. Все это наши казахстанские звери, порождение наших степей и предгорий. А в этом году на Иссыеке в кургане раскопали скелет сакского юноши, облаченного в одежду, обшитую золотыми бляхами. И вокруг него тоже лежало много золота — оружие, чаша и мелкие поделки. Откуда все это? Где все это делось? Где взялись формы для литья, где выплавливалось это золото и работали над ним чеканщики? Неужели под открытым небом или в юрте? Плохо в это верится что-то! Нет, были, были на нашей земле великие казахские города — они стояли сотни лет, их только потом сожгли и вытоптали орды Дария, Аттилы, Чингиз-хана и Тимура, а обломки засосали пески и dokonчили степные ветры. Александр Македонский покорил Индию, захватил Иран, а от наших предков — саков — получил отпор. Они его остановили где-то возле нынешней станции “Сырдарья”. После этого он и направился к берегам Ганга. Вот в китайских летописях написано, что он пошел Индию, потому что не мог одолеть сильно укрепленные города среднего течения Сейхун-Дарьи. Неужели и это все вымысел?

О нет, это далеко-далеко не вымысел: казахи действительно героический народ. Тяжела и горька была судьба этой степной страны, расположенной на стыке между Востоком и Западом. Многочисленны ее беды. Но она с честью вынесла все эти испытания, никому не уступив ни пяди своей отчей земли. Как-то Акылбеку кто-то сказал, что самый непокорный в истории народ — шотландцы: двести с лишним лет непрерывно вести войну за свою независимость и отстаивать ее!

— Это верно, — ответил Акылбек, — в Европе — да.

А про себя подумал: а в Азии — мы. Семьсот лет непрерывных войн с захватчиками. И многие из них погибли, растворились, а некоторые даже ушли в историческое небытие, а мы остались. Кризис наступил только в последние десятилетия 19 века. Вот тогда действительно мог наступить национальный крах, народ колебался, умы волновались, их тянуло то в одну, то в другую сторону, до катастрофы было совсем недалеко. И на

месте одного гиганта могли возникнуть десяток немощных карликов, но грянул Октябрь, и все сплотилось снова. Нет, казахским народом можно гордиться. И Акылбек гордился им, как гордятся малые дети делами и подвигами своих знаменитых отцов.

Да, не вымысел и очень может быть — подумал Акылбек снова, — что были и города, и крепости, и многое другое, чего мы даже не знаем, но сейчас ничего нет — ни обломков, ни развалин. Все под землей. Придет время, и все, вероятно, обнаружат, соберут и покажут людям — но вот беда, такая огромная и культурная страна, как Казахстан, до сих пор не имеет своего археологического музея, а то, что имеется, например, отдел в Центральном музее Казахстана, никакого сравнения с иранскими коллекциями и хранилищами не выдерживает. Тут надо вот что... — он вынул свой блокнот — надо рекомендовать Академии наук республики создать специальный археологический музей, и воспроизвести в нем — хотя бы в небольших макетах — все главнейшие архитектурные памятники нашего прошлого. Работа это большая, трудная, но сделать ее все равно необходимо. Прав М. Горький, без прошлого нет ни настоящего ни будущего. Я бы сказал даже так: прошлое — это единственное, что уже существует. Современность — сиюминутна, в строгом смысле ее и нет даже, она течет и меняется каждую терцию секунды, будущего тоже еще нет, оно еще только должно наступить, а прошлое — вот оно — оно лежит перед нами, твердое, застывшее, данное миру раз и навсегда.

Обязательно надо выделить средства на этот археологический музей и как можно скорее, и без этого вон уж сколько потеряно времени. А вещи — они ведь тоже живут и умирают, как люди.

И он снова вспомнил Иран, город Шираз, край роз и соловьев, родину величайших поэтов Востока — Саади и Хафиза. Еще растет над могилой Хафиза та чинара, под ветками которой шесть веков тому назад писал стихи поэт. На могиле его гладкая, совершенно голая плита — Цветов на эту могилу иранцы не кладут. Хафиз — сам роза поэзии — так говорят они. Но посетителей много и большинство из них пришли сюда погадать. Гадают по томику стихов поэта. Надо поднять его над головой и открыть наугад любую страницу.

Хранитель музея — а здесь рядом и мемориальный музей — предложил так испытать судьбу и Акылбеку. “Ну что ж, попробуем”, — улыбнулся он, и высоко поднял книжку. Ему выпало:

“Минули дни несчастий и невзгод
И больше никогда не повторятся.
Написано на небе, что Добро,
Оказанное ближнему, живет
И никогда не пропадет бесследно...”

И сейчас, сидя в кресле, он опять повторял эти слова: “Добро! — может быть, самое великое из слов, когда-нибудь слетевшее с человеческого

языка. “Не называйте меня больше Дон-Кихотом Ламанчским, называйте меня Доном Алонсо по прозвищу “добрым”, — сказал умирая Дон-Кихот. Так словом “добрый” Сервантес окончил свою книгу. Да, добро! добро! Кажется, это единственное, что не утомляет в жизни и от чего потом никогда не саднит душу!

И снова он думал об Иране. Не о стране — Музее, одной из древнейших культур мира — ведь даже Рим перед Ираном младенец, — а об Иране сегодняшнего дня — скудной, слабой и совсем юной стране: она бедна, слаба так, что даже не в силах распорядиться своим достоянием. Нефть и цветные металлы принадлежат компаниям США, ФРГ, Франции и Италии, Англии. Доходы текут в чужие карманы. Компании богатеют, народ нищенствует, роскошь и нищета, деспотия и демократия мирно уживаются рядом. Страна не в силах воспитать и выпустить своих специалистов — большинство студентов обучаются в Европе или Америке. А у нас в Казахстане, — подумал Акылбек, — полста вузов! Да! Иран не Казахстан! У них мавзолеи и гробницы, у нас же Караганда, Темиртау, Джезказган и целина. Но и мраморные дворцы у нас будут обязательно. Только не построенные три века назад, а созданные сегодня — в 1965, 1966, 1967 годах!

Стюардесса объявила:

— Пристегните ремни. Мы прибываем в столицу Казахстана Алматы. Температура воздуха...

— Да, мраморные дворцы, — подумал Акылбек, — завтра же вызову людей и узнаю, как идет строительство дворца имени Ленина.

Из записок писателя Айбола.

“Расскажу об одном, хотя и странном, но все-таки, наверное довольно обычном заблуждении моей юности. Лет двенадцати от роду я твердо решил стать героем и начал воспитывать в себе волю. Что это значит — быть героем — я в ту пору знал из романов Дюма да популярных биографий Амундсена и Нансена; знал я также наизусть сказки и былины о Ер-Таргыне, Ер-Саине, Кобланды батыре, Алпамысе. Да разве перечтешь тех сказочных богатырей, о которых пели в нашем народе? Ну, а какое главное качество героя? Конечно, бесстрашие! Он никогда и ничего на свете не боится и потому может все. Вот и я решил стать таким же. Для мальчишки это несложно: для начала я стал приставать к первым силачам и забиякам — и потом долго ходил то с расквашенным носом, то с подбитым глазом. На нашей речке водились шайтаны и джины — это знали все ребята и все старухи аула. Так вот я ночью вставал, одевался и до самого утра ходил, содрогаясь от страха и холода по каменистым и совершенно безлюдным берегам. Шайтаны выли из-под кустов и глыбин, но близко ко мне не подходили. Таким образом, годам к шестнадцати я достиг как бы первой степени совершенства. А потом я вдруг как-то разом понял, что даже и храбрым быть не обязательно, чтоб сделаться героем. Разве были храбрыми

Джульетта и Баян-слу? Наоборот, это были всего-навсего слабые, нежные, пугливые девушки. Они, наверное, могли горько расплакаться от любого пустяка — порезанного пальчика, потерянного колечка, обидного слова. Но за свою любовь они не задумываясь пожертвовали жизнью — И поэтому в памяти людей на многие века, вернее, до скончания веков, стали примерами великого мужества и самоотверженности.

Это верно и есть самое главное — быть верным себе, соглашаться жить только так, а никак иначе, стоять на своей правде до конца, не раздумывая жертвовать за нее головой, вот кто может быть таким, тот обязательно станет героем, даже когда он не хочет этого.

И на войне я это понял очень ясно.

Служил у нас в полку сержант Севастьянов. Человек он был мирный, тихий, уживчивый, и хотя я никогда не слышал, чтобы он кричал или даже просто повысил голос на своих бойцов, но люди его не только уважали, но и любили, а на груди его красовался орден Боевого Красного Знамени. Осенью 1941 года во время великого отступления такие ордена приходилось видеть не часто. И однажды — дело было около Старой Руссы — я спросил его, как же он сумел заработать такую высокую награду. Это было уже в половине сентября. Шли постоянные дожди и окопы заливало так, что в них можно было только стоять. Где-то впереди шли бои за город. Здесь они уже отгремели. Мы занимали линию обороны возле переправы. Река в этом месте вышла из берегов — так ее забило обгоревшими танками. Мы стояли рядом, у меня был автомат, у Севастьянова ручной пулемет Дегтярева. Когда я спросил его об ордене, он некоторое время молчал, подумал, потом ответил мне с какой-то странной неловкостью, даже некоторой оторопью:

— Честное слово, не знаю.

И даже слегка ладонями развел.

Я засмеялся.

— Да как же так?

Засмеялся и он.

— Да вот так! Нет, в самом деле, не знаю. Прибыли мы на передовую и сразу же угодили под обстрел, то есть так бил нас немец, что и не высунешься. А сбоку точным прицельным огнем строчил пулемет. Бойцы-то все молодые, только-только из дому, от мамы, учить их, конечно, учили, но под огнем никто из них не стоял. Ну и отстреливались они кое-как, пряча голову. А я даже и стрелять не мог, я же видишь, близорук, как заяц, а тут еще очки разбились. Поперек стекла трещина, ну что делать? А немцы-то бьют, да бьют, точно, методически, будто в яблочко. Я и думаю: вот так они часа два в нас попалят и — прощай, батальон! А мы сбоку от пулемета находимся, и он, собака, ни на минуту не смолкает. И вот уж не знаю, как это случилось, и что меня толкнуло, только поднялся я во весь рост,

заорал “За Родину!” и кинулся прямо на пулемет. Без винтовки, без гранаты, без ничего! — одну бутылку с горючей смесью держу над головой за горлышко, ору и бегу. А оглянулся — и за мной как один человек весь мой взвод тоже бежит: “Ура!” А за нашим взводом и другой взвод, а за ним третий... И вот весь батальон поднялся. А я впереди всех. Бегу, ору и бутылкой размахиваю. Как меня тогда сразу же не срезали, когда я весь был на виду — до сих пор не помню, чудо какое-то, но все было тогда как в тумане. Только помню: добежал я до дзота и швырнул с размаху бутылку. Взрыв еще помню, белый дым, и тут меня что-то как шарахнуло по ноге! Боли, однако я не почувствовал, только так, сотрясение во всем теле, и еще что-то горячее в меня вступило. Лежу и вижу — сапоги, сапоги, сапоги! Сапоги всего батальона. И больше ничего не помню, потом уже в полевом госпитале мне сказали, что тогда мы не только этот дзот захватили, но и все немецкие окопы забрали и вообще здоровый участок отхватили. Вот и все.

Рассказал мне все это Севастьянов и даже плечами пожал: “какой же это подвиг? Так, порыв, случайность — нашло какое-то затмение, ну я и побегал как дурак на верную смерть”. А я подумал: “только такой человек и может считать себя настоящим, на которого в решительнейшие минуты жизни находит такое затмение, что он даже забывает о том, что он смертен. Способен ли я на такой подвиг?”. В том-то и дело, что последнее время я стал в этом сомневаться. Да в общем и было отчего: по диплому я горный инженер, но по совести какой же я инженер, если уж лет пятнадцать как не был в забоях. Состою в Союзе советских писателей, выпустил в свет три повести, шесть поэм, опубликовал около сорока песен. Они нравятся и их поют. Всего этого со счетов, конечно, не сбросишь, но все равно все это не то. Настоящую народную песню, такую, чтоб ее пела вся страна, я не создал; повести мои выходят, читаются, нравятся, но все равно никому от них по-настоящему ни холодно, ни жарко. В них много моего личного, но нет главного — отсутствует мой неповторимый жизненный опыт, мое представление о мире, о добре и зле, о времени и о себе. А ведь именно об этих вопросах я думал много, упорно, подчас мучительно, и хотя не смог на них ответить, но ведь даже задаться ими тоже великое дело.

Так я и дошел до сознания того, что мне надо написать еще одну книгу. Роман о том смутном и темном периоде, который историки окрестили “временем культа личности”. Произведения об этом уже появились, их даже было не так уж и мало, но я понимал, что все это не то. Писались эти книги или повести вяло, бледно, в расчете на то, что тема выручит, а бумага все стерпит, и читатель получал вместо живой правды ложный пафос, пустое рассуждение и нагромождение ужасов. Я смотрел на все это совсем с другой стороны, я думал о судьбах старой казахской интеллигенции. На моих глазах с ней произошла какая-то странная подмена, вдруг исчезли про-

фессионалы, старые опытные работники и место их заняли совершенно случайные люди — одни из них были хотя и честны, но молоды и неопытны и не справлялись с работой. Другие вообще не имели о ней никакого представления, о третьих откровенных карьеристах и проходимцах — и говорить было нечего. Судьба, история, нелепый случай, как разбушевавшийся океан потопив одних, вынес на своих гребнях и выбросил на высокие и крутые склоны этих третьих, и очутившись на таких вершинах, о которых они и мечтать-то не смели, эти третьи плотно угнездились там, и всех, пытающихся добраться до них, попросту скидывали вниз. Так я представлял себе несложную психологию этих вполне случайных и даже не очень умных людей. И отсюда же, по моему мнению, проистекала их ненависть к тем, кто позволил себе свободно мыслить, а не следовать трафаретам и прописям, кого они подозревали в самостоятельности суждений, в оригинальности мышления, в творческой потенции. Любой демократизм, — а в науке особенно, — их пугал, и они расправлялись с ним так скоро, как только могли. Трусы, лизоблюды, люди воробьиного мышления и горизонта, они вдруг заполняли собой нашу науку и наше искусство, подменяли творчество ремеслом маляра, талант — гладкописью копиистов. Но не о подобных недобрых порождениях культа личности, а об их неминуемом конце я решил написать роман. Работал я над ним два года, писал днем и ночью, а иногда чуть не сутками не отходил от письменного стола. Писал, перечеркивал, снова писал, снова черкал, и когда рукопись была готова, то буквально едва таскал ноги. Ведь кроме всего прочего, я переживал все несчастья своих героев, я боялся за них, любил их, жил их жизнью. Книга вышла и моментально разошлась. Было много рецензий, говорили об остроте ситуации, о простоте и достоверности, о психологических рисунках героев и, наконец, о стиле (и никто из критиков не обратил внимания на главную мысль книги: на то, что служенье чужой, недоброй воле так же как и механичность и заданность мышления способны взрастить только пустые души, узкое серое понимание мира и действительности). Но прочитав эти рецензии, я подумал и о другом: хорошо! Все это — и положительные и, порою иногда, хвалебные отзывы, и письма читателей, и рукопожатия друзей — наверное я все-таки заслужил. Но тогда какого же дьявола я торчу тут, когда мое место дома, за письменным столом, там я должен сидеть и работать один. Ведь когда я берусь за перо, то за все, про все — и талантливое, и посредственное, и просто плохое, что вышло из-под моих рук, отвечаю только я и никто больше, ибо в этот момент нету большей власти над созданным мной, чем моя. В кино же я просто никто — гаечка, кнопочка в огромном громоздком агрегате. А работает этот агрегат часто и плохо, и нечисто, и неточно; стоит по целым месяцам без работы или вдруг начинает рвать и губить свою же продукцию. Я же, кнопочка, все это вижу и ничего сделать не могу. Вот отсюда и мои бессонницы, и ост-

рое недовольство собой, а иногда такая тоска, что от нее хоть в петлю лезь! Нет, я должен писать — вот и все! Значит, мне надо уйти из студии. Да, но сделать-то это как? Хорошо профессиональному заслуженному литератору, либо безумному юнцу, для них тут все просто и ясно; у меня же семья, дети, и нету ни громкого имени, ни сберкнижки, ни долгосрочных авансовых договоров. Да и как поручиться за то, что я каждый год смогу выпустить по новой книге? Работать же и писать... Ну вот я работаю в кино, и где у меня время и свободные мозги для творчества? И тут у меня вдруг блеснула одна безумная идея — я все сразу же отбросил — такой она мне показалась нереальной. Но ночью, сидя над чужой рукописью, я ее обдумал со всех сторон и утром позвонил в секретариат Акылбека Ахметжановича с просьбой записать меня на прием.

Он не заставил меня ждать и принял дня через два.

Я пришел к нему и прямо сказал, что вот ходят упорные слухи о том, что директор издательства просится на другую работу — тут ему все не нравится — так вот, если на его место еще не подыскали более достойную кандидатуру, то я бы предложил себя.

Выслушав меня, Ахметжанов улыбнулся.

— Однако,— сказал он,— нельзя сказать, чтобы вы были уж очень скромн, мой друг.

Он был в отличном настроении.

— А что мне остается делать? — развел я руками.— Меня тоже не тянет в администратуры, но ведь я должен писать, в этом мое призвание, а что я в кино? С редакционной же работой я знаком хорошо.

— Понятно,— кивнул головой Акылбек.— Все это, дорогой, очень и очень понятно! Ну что ж попробуем.— Он поднял трубку и набрал номер ответственного работника, который занимался по издательским делам,— это я говорю,— сказал он,— я, Ахметжанов. Вы, кажется, еще не нашли нового директора издательства? Нет? Отлично! Так вот у меня есть кандидатура... Я рекомендую...— он посмотрел на меня и четко назвал мою фамилию.

— Ну, что ж,— сказал он, кладя трубку и снова опускаясь в кресло,— кажется все. Иди домой и жди — тебя вызовут.

Из записок писателя Айбола.

“Я пошел домой и стал ждать. И, действительно, через несколько дней меня вызвали в Высокий дом к тому самому ответственному работнику, с которым Акылбек Ахметжанович при мне говорил по телефону.

Я знал этого человека больше понаслышке, чем по личным встречам и впечатлениям. Раньше он работал на целине, и говорили, что неплохо работал. А ведь именно его участок был там одним из самых трудных, сложных и каверзных. К тому же он был еще довольно молод, с мягкими чертами лица, как говорится, в теле. И это тоже располагало к нему.

“Полный,— значит добрый человек” написал как-то Сервантес в “Дон-Кихоте”. И в Казахстане с конца второго тысячелетия в это так же свято

верили, как и в Испании конца 16 века. Говорили еще о мягкости, вежливости, обходительности этого человека. Вероятно, все это так и было. Но с первых же слов и взглядов, когда я вошел в этот высокий кабинет, мне почувствовался некий холодок, который как бы пронизывал меня насквозь. Холодок этот исходил из вежливого наклона головы, сдержанной улыбки его хозяина, от массивного стола, за которым он сидел. И скоро я понял причину этого. После нескольких минут разговора как-то мягко хозяин кабинета повернулся направо, подхватил какую-то тонкую папку, полистал и протянул мне.

— Вот прочтите,— сказал он.

Но я поглядел, а читать не стал.

— Так я пятнадцать лет как это знаю. И эту бумагу, подписанную Шаяхметовым, тоже знаю. Да, тогда меня сняли с поста директора за перерасход нескольких тысяч рублей. По теперешнему счету это ровно 780 рублей. Только зачем это вы мне сейчас показываете?

Он также плавным движением руки взял папку и бросил на стол.

— Исключительно для того, чтобы напомнить вам, какую огромную ответственность вы ныне на себя возлагаете. Ведь прежде всего издательство — это крупнейшее финансово-хозяйственное предприятие. Оно вращает миллионами, а вы знаете старые русские пословицы, во-первых, о том, что копейка рубль бережет, и потом о том, что она счет любит. Вот что я хотел вам напомнить.— Я молчал, но очевидно мое лицо было достаточно красноречивым, потому что он вдруг встал и подошел ко мне.

— Ну, ну,— сказал он совершенно иным тоном,— простым и дружеским.— Все совсем не так страшно. Подумаем, решим.

Я ушел от него окрыленный. Но я не знал, что еще три месяца будут раздирать до крови и без того мое раненое сердце чьи-то стальные когти нежелания. Этот вопрос, в конечном счете, решился в мою пользу лишь после вторичного вмешательства Акылбека Ахметжановича.

Его заместитель принял меня вторично.

— К тем советам, которые я давал в прошлый раз,— сказал он совершенно невинным голосом,— могу добавить только одно: желаю всего наилучшего. Работайте спокойно, а мы всегда вам поможем. В случае чего звоните прямо ко мне.— И я был уже у двери кабинета, когда он окликнул меня снова.— И еще я вам хочу сказать: работайте, а нас, читателей, не забывайте. Мы ждем ваших новых книг! Очень ждем!

На этом мы и расстались”.

Надо сказать, что эти годы были ознаменованы бурным ростом казахской литературы, особенно количественного. Да еще одним потрясающим событием. К читателю вновь окончательно вернулся Сакен Сейфуллин, Ильяс Джансугуров, Беймбет Майлин, Сабыр Шарипов — классики казахской литературы, рано ушедшие из жизни. Их приход был огромным

событием или даже открытием целого нового материка, но однако, ведь как бы не звучали эти имена, они все-таки были “дорогими теньями” и принадлежали прошлому, да и материк-то этот был все-таки затопленной Атлантидой. А время требовало новых литературных свершений, новых взлетов. И как “болезнь роста” на передовую линию вступил именно “второй обоз”. Они не брали талантом, а мягкой жестокостью характера. Они ни на кого не кричали (впрочем, иногда кое-кто из них разрешал себе истерику, но именно только разрешал, когда это было к месту), ничего не ломали, они просто настойчивостью подавляли. Подавляли критиков, издателей, руководителей, словом, всех, от кого что-то зависело, они давили их с мягкой непостижимой и неутомимой постепенностью, да и даже не давили, а просто засасывали медленно и верно, как болотная топь, и люди сдавались. Но беда была не только в этом. Главное зло заключалось в том, к чему все это приводило. Если человек написал (а тем более напечатал) плохую вещь — это, конечно, нехорошо. Но это просто нехорошо. И все. Много хуже, если эта плохая вещь сойдет за удовлетворительную, и совсем беда, если удовлетворительную назовут хорошей. Но подлинная катастрофа — и личная и общественная наступает тогда, когда такого середнячка нарекут гением, даже и на посредственное будет уже не способен, — он начнет писать все хуже и хуже, пока не превратится в полного графомана, но это же будет и общественное бедствие, потому что посредственность, нареченная гениальностью, автоматически срежет уровень искусства на целый горизонт — тот самый, что отделяет творца от подражателя. Словом, бедное то общество, в котором королем поэтов нарекают не Блока, Есенина, Маяковского, а Игоря Северянина. А в России и такое однажды случилось. И, ох сколько же этих голых королей — обыкновенных рысаков, возомнивших себя кулагерами — ведь они действительно стояли с ними и когда-то в одной конюшне, — так что же еще нужно для их понимания? - перевидал за время своего директорства писатель Айбол! И как правило, были все эти люди угрюмые, настороженные, каждую секунду готовые вцепиться в горло любому, усомнившемуся в их первородстве. Но настоящие таланты все равно появлялись. И особенно среди молодежи. И вот им надо было помочь, влить их в русло великой общесоюзной литературы. И первое, что сделал Айбол, это создал специальную переводную редакцию. Десять-пятнадцать лучших книг казахских авторов в переводе на русский язык стало выпускаться ежегодно. Такого в издательской практике Казахстана еще не было. То есть, конечно, русские переводы появлялись и раньше, но тут все дело заключалось в авторах — мастиных переводили охотно, а начинающий же автор, или тот, у которого не было никаких связей, ни на что рассчитывать не мог. А это не только тормозило связи казахской литературы с русской, то есть одной из главных мировых литератур, но и отражалось на росте собственно казахской. Пи-

сатель, замкнутый в узкие рамки одного языка, притом, языка в мире мало распространенного, в большого писателя никогда не вырастет. Для Айбола это было аксиомой. После этого и ряда подобных же мероприятий (по предложению секретаря по идеологии стал выпускаться молодежный альманах, была образована детская и юношеская редакция, обновился состав редакторов), в литературу сразу пришло несколько новых молодых имен. Укрепились и собственно производственные дела, скакнул тираж, вырос издательский план, в два раза увеличились доходы.

Все это, конечно, имело, да и не могло не иметь, обратную сторону: угол падения, — учат физики, — равен углу отражения. Появились недовольные, ведь всех, говорит народная пословица, и солнышко не обогреет. Не обогрел всех — да этой целью и не задавался, и Айбол. И очень скоро это обнаружилось. Из печати вышла новая книга директора издательства “Опасный мост”. С нее все и началось.

Из записок писателя Айбола.

“Он сидел передо мной за массивным столом, на своем круглом вращающемся кресле, худой и прямой как палка, и как положено цензору смотрел на меня всепонимающими глазами и говорил, говорил о том, что роман мой вызвал самые разнородные мнения.

После этого вступления он сделал мне несколько комплиментов. Так, он сказал, что моя книга очень легко читается, что в ней интересные характеры, хорошо отработанный диалог — что она написана на острую, политически нужную тему: что я в ней затрагиваю вопросы, о которых до сих пор писатели молчали, а публицисты отделялись общими фразами — все это так. И в этом моя несомненная заслуга. Но в то же время, — и он слегка крутнулся в кресле — я — (по мнению некоторых весьма компетентных читателей) — перегнул палку в другую сторону. Я оправдываю тех, кого оправдывать ни в коем случае не следует, а в ряде случаев даже скатываюсь к голому объективизму. Это оставляет двойственное и неприятное впечатление. Так говорят некоторые мои читатели и почитатели. Имею ли я что-нибудь на это возразить? — и он замолчал покачиваясь в кресле туда-сюда и улыбаясь.

— Я? Возразить?

На несколько секунд встал в тупик. То-есть я, конечно, знал что роман мой по теме и по исполнению был не вполне обычен для нашей литературы. В нем рассматривалась судьба старой казахской интеллигенции. А она была очень непроста. И подчас по — настоящему трагична. Если лучшая, наиболее прогрессивная ее часть, такие люди, как Сакен Сейфулин, Сабир Шарипов, Адильбек Майкотов, Турар Рыскулов сразу же поняли значение прихода Октября в степь, и без колебаний пошли ему навстречу, то другая, и может быть значительная часть, не сумела сразу правильно сориентироваться или даже разобрать, что произошло. Ведь 1918 год всего

на два года отстоял от 1916 года — года национально-освободительного восстания и года массовых казней, сожженных аулов, открытых убийств. Разгул озверевшей солдатчины, карательные отряды, виселицы в степи все еще стояли перед глазами этих людей. Что России две — Россия Ленина и Россия царя Николая — они не понимали, да, вероятно, с их опытом и классовой ограниченностью и не могли понять. И поэтому идею раскола они механически переносили на весь русский народ, на Советскую власть, и мечтали о разрыве с любой Россией, какая она ни была. Что с ними стало бы уж на следующий день после такого разрыва и какая — говоря языком того времени — империалистическая акула — западная или восточная — их поглотила бы — об этом они не задумывались. Итак, это был откровенный и даже, может быть, фанатичный национализм. Но я этого и не скрывал. Я только считал, что это одна сторона вопроса — существует и другая, на нее тоже не следует закрывать глаза: была бы не только непростительной вульгаризацией, но и прямой политической ошибкой, просчетом, считать, что все эти невежественные и слепые люди, были прямыми врагами народа, что ими двигали только корысть или Коран, ибо все они были сыновьями крупных феодалов или их подголосков. Нет, в эту массу входили и сыновья батраков и пастухов, и даже народные учителя. Правильная политическая ориентировка, ясное, незамутненное историческое мышление, как и подлинное классовое чутье, — удел далеко не каждого. Поэтому причислять к врагам безоговорочно всю эту массу мог только неумный начетчик, аппаратчик, ничего не знающий, кроме инструкций. Ведь от всех подобных вопросов эти люди всегда отделяются хлесткими как взмах нагайки — словечком “национализм”! (В их устах это слово свистит так же, как и “нацист” и “нацизм”).

Я не скрывал трудностей и неравномерности всего этого грандиозного исторического процесса. Среди этой массы попадались и откровенные бандиты — и их было даже немало. Правдой было и то, что многие из подлинной старой интеллигенции так и не смогли преодолеть свое прошлое. Конец таких людей, конечно, был печален, а у кого даже и бесславен: одни погибли, а другие сами себя лишали родины.

И об этом я тоже писал. Писал и о том, как эти люди нуждались в руке помощи. Увы! Не везде она им была протянута и не все ее приняли. А кое-где вообще не руку протягивали, а шарахали кулаком по голове. Человек падал и не вставал или вставал и становился уже настоящим врагом.

Вот все это я и изложил человеку во вращающемся, покачивающемся кресле.

Он выслушал меня до конца, подумал; покачался еще немного, и наконец сказал:

— Да тут вы, вероятно, правы, Вульгаризация — вот постоянная опасность, подстерегающая наших писателей и ученых. В литературе, и в исто-

рии — нет, пожалуй, ничего более неприятного чем она, но тогда вот другое (тут он немного замаялся)... Вы иногда излишне увлекаетесь и предоставляете трибуну врагу. Что вы на это скажете?

А что я скажу? Как мне ни было горько, я даже усмехнулся. О, как же навязла в зубах за добрые двадцать лет эта безмозглая, шутовская формула — недоброе наследье прошлого. Враг по мнению многих идеологов — может либо молчать, либо рычать, говорить же ему было не положено, человеческая речь принадлежала только положительным героям. Конечно, в этом был свой резон — нет ничего легче, чем переспорить рычащего или переговорить молчащего. Халтурщики этим пользовались, конечно, вовсю. Они лихо рубили врагов, как Дон-Кихот на чердаке бурдюки с вином, приняв их за великанов. От таких побед оставался уже один шаг до теории бесконфликтной драматургии. Вот так она, очевидно, и возникла.

— Объясните, пожалуйста, раз вы с ними уж говорили, что они хотят этим сказать? — попросил я. — Что это у них конкретно значит — “предоставить трибуну врагу”?

— Ну ведь отрицательные герои у вас говорят, защищают свою позицию, так? — спросил он.

— Так, — ответил я, — а по их мнению, они должны ругать ее, топтать ногами. Но ведь говорят-то они страшные вещи. А они что? Считают, что наш народ настолько слеп, что уже не в силах отличить черное от белого, а белое от красного?

Кресло остановилось и стояло только чуть колеблясь туда-сюда.

— Но обыватель... — сказала кресло впрочем не особенно уверенно.

— Слушайте, — сказал я резко. — К чему тут обыватель? Я не считаю мой народ толпой обывателей. И работаю я на советского читателя, поэтому мне нужно, чтоб этот читатель мне верил. Верил, что я не высасываю что-то из пальца. А если я буду писать, как вы хотите, то меня и читать не будут. Что касается остроты высказываний, то вы читали Вишневского, “Оптимистическую трагедию”?

Он вдруг засмеялся, встал и протянул мне руку.

— Ну ладно, — сказал он мне, — ладно! Будем считать, что инцидент исчерпан. И компетентные читатели тоже иногда ошибаются. Я так им и скажу это! Всего хорошего!

Что я могу сказать об этом человеке напоследок? Очевидно он был таким, как должен быть всякий хороший цензор — осторожным и неторопливым, я же — увы! — был типичнейшим писателем с не больно легкой судьбой! — Я поминутно взрывался, был неспокоен, резок и все принимал с наиболее острой стороны. Поэтому понятно, что при разговорах нам приходилось нелегко. И теперь я понимаю и то, почему при разговорах он так осторожно покачивался в своем любимом кресле. Оно было спокойное, уютное и не походило на меня, — скрюченного и сжатого как

пружина, готовая развернуться в любой момент. И что же? “Преданье старины глубокой, дела давно минувших дней”. Их всегда вспоминаешь с чувством юмора и легкой печали!

Стояла алма-атинская тихая золотая осень. Может быть это повлияло, я ушел от него успокоенный и даже какой-то облегченный. Но где-то в глубине души думал, что он просто придирается к моей книге. Книга хорошая, а мнение его — предвзятое.

Конечно, это была только самая первая шальная мысль — потом остыв, я подумал и о другом. А почему моя книга должна была всем обязательно понравиться? Может быть на самом деле не так глубока и интересна? Ну, что ж? Учтем! Писатель, художник, композитор - это тот самый бешеный конь, которого никаким арканом не остановишь. Буду думать, писать, зачеркивать, рвать, снова писать и может быть и в конце концов я добьюсь своего!

А позже стороной я узнал, что эта моя книга и Ахметжанову тоже не понравилась. Это меня и огорчило и озадачило. Ведь он был внимательным, даже дотошным читателем, и поэтому его мнение значило для меня очень многое. Мне хотелось узнать, в чем дело, но так я тогда ничего и не выяснил. Сначала он меня не принял, а потом я узнал, что он уехал на целину — в общем увидеться мне тогда так и не удалось.

Есть такая пословица: собака лает, а караван идет. Ну, с караваном все ясно. А вот какую цель преследует собака?..

Освоение целинных и залежных земель в Казахстане зарубежные социологи определенного толка восприняли как личное оскорбление. Буржуазная пропаганда спустила с цепи всех собак. Напирали на волюнтаризм — на то, что освоение целины вызвано, мол, не объективными законами экономики, а субъективными обстоятельствами, единоличной волей отдельных руководителей. Муссировался тезис о “командной экономике”. Дескать, народное хозяйство Советов подчинено волевым актам “политической верхушки партии и правительства” - они как хотят, так и вертят: для них не прибыль главное и не экономические выгоды, а слепое исполнение приказов на местах.

Ну, советологов — тех медом не корми, лишь дай им повод поупражняться в вопросах национальной политики. Они усмотрели в распашке целины ни мало ни много окончательное и бесповоротное присвоение казахских земель Россией, что, по их мнению, есть явное национальное угнетение. А главное — земля, мол, эта не пригодна для земледелия, а значит “целина так и останется непереваренным куском в прожорливом брюхе России”. Ну и так далее, все в том же роде.

Что самое поразительное — эти мудрствования, доводы, экипированные расчетами и статистическими выкладками, были разбиты в пух и прах еще в начале нынешнего века. И сделал это не кто иной как В.И. Ленин.

Он словно бы предвидел шумиху желтой прессы о “непригодности” земель на восточных окраинах России. Но то, что непригодно сегодня, может стать очень даже пригодным завтра, писал он еще до революции. А в первые же годы советской власти определил не только методы и пути освоения “непригодных” целинных земель, но и указал, как практически надо решать эту задачу в тесной связи с процессом революционного переустройства общества. В сущности, освоение целины было воплощением ленинских идей. А что касается “волюнтаризма”, “командной экономики” и прочих измышлений советологов, то ведь об этом есть поговорка: собака лает, ветер носит. Придумать можно все, что угодно. Если же говорить об истинном положении вещей, то надо отметить, что программа освоения целины разрабатывалась на Пленумах и Съездах нашей партии. К тому же загодя была проведена скрупулезная работа соответствующих ведомств и ведущих ученых по изучению материальных и трудовых ресурсов.

Четверть века спустя Л.И. Брежнев напишет в своей умной книге “Целина”: “... в краях и областях РСФСР, Казахстана и в других республиках прошли сотни различных совещаний и собраний, которые показали, что коммунисты, широкие массы трудящихся одобряют и поддерживают идею партии об освоении целины и пахотных залежей”. И еще он писал: “Казахский народ оказался на высоте истории и, понимая потребность всей страны, проявил свои революционные, интернационалистические черты”. Это к вопросу об окончательном присвоении казахстанских земель. Ведь вот, не зная броду, не надо бы соваться в воду господам советологам, а хоть разочек побывать на целине, да глянуть в лица тех, кто ее поднимает, кто возрождает к жизни голые необжитые степи, поговорить с казахами, прислушаться даже не к словам — к интонациям и ощутить ту гордость, которую казах испытывает, когда слышит слово “целина”, понятное без переводчиков не только в нашей стране. И не с одними казахами поговорить — в первые же годы освоения целины сюда приехали работать, жить, строить завтрашний день посланцы братских республик. И приехало их семьсот тысяч человек. Целину называют у нас интернациональной школой коммунизма.

Свести на нет весь этот шум советологов было несложно. Требовался всего лишь навсегда хороший урожай на целине. И все фонтаны красноречия иссякли бы сами собой в желтой прессе.

И вот он пробил, звездный час целины. В 1956 году Казахстан дал Родине свой первый миллиард пудов зерна. У советологов из-под ног была выбита почва: за счет целины зерновой баланс нашей страны возрос на 25 процентов. Такого не знала еще мировая история. Да, да, ни один народ за все время существования человечества не делал такого резкого скачка в производстве главного продукта питания.

Лиха беда начало. А надо, надо было, чтоб этот результат был постоянным, ежегодным.

Вот почему Акылбек Ахметжанов в канун жатвы по давней своей привычке объездил почти половину республики. Надо было своими глазами увидеть, убедиться, как обстоят дела на целине. С руководителями областей он загодя подсчитывал, что можно ожидать от нынешнего урожая. Прикидки радовали, да и хлеб был хорош. И все же Акылбек тревожился. Одно дело вырастить хороший урожай, другое дело — убрать его вовремя, без потерь. Особенно в условиях целины, где и климат не балует, и дороги не радуют, и расстояния просто космические.

Синоптики тоже утешить ничем не могли: они сулили дождливую осень. На жатве дождь был врагом номер один, тем более в северных областях Казахстана. Пшеница там не всегда вызревает до срока, может и припоздниться, а осень здесь короткая, солнышко проглянет сквозь тучи на денек-другой, поманит недолгим бабьим летом, и сразу — холода, заморозки, дождь со снегом. А хлебушек — вот он, только-только созрел...

Вырастить хлеб на целине - дело не легкое, но убрать его — вот проблема проблем.

Правда, что Акылбек дал указание, не дожидаясь массового созревания зерна, приступать к отдельной уборке там, где пшеница уже “подошла”... Но сердце — оно не на месте.

А в уборке целинного хлеба участвовала вся страна. Тысячи комбайнов и грузовых машин прибыли с Украины, с Кубани, из южных областей России, где жатва шла к концу. Солдатам был дан боевой приказ: помочь целинникам. Целые механизированные дивизии трудились на хлебной страде.

Каждый целинный миллиард давался ценой небывалого напряжения. День и ночь сотни тысяч автомашин и комбайнов, надрывая моторы, бороздили поля. Густой вереницей двигались по целинным дорогам грузовики и автопоезда с хлебом нового урожая. Ни на минуту не затихала жизнь на элеваторах.

А природа не брала в расчет все эти хлопоты, она жила без рассуждений, и если наступали сроки, проливалась дождем. Причем, безо всяких регламентов. В иных областях дождь лил неделями. Пшеница принималась снова зеленеть. У шоферов начались великие осенние муки. Машины буксовали, вязли на обочинах дорог, по самый кузов садились в колдобины. Рвались стальные тросы буксиров, пытавшихся выволить транспорт. Но нервы у людей были прочнее тросов.

Целинники ловили каждый день, каждый час хорошей погоды. Едва пшеница начинала поспевать, ее спешили скосить, пусть в валках дозревает. По сути дела шла великая схватка человека с нерассуждающими силами природы.

Вот в этот-то напряженный момент Акылбек и приехал снова на целину. Естественно, принять Айбола он не мог, просто не до того ему было.

В небесной канцелярии словно бы ожидали его приезда, дождь прекратился в тот же день. И ласковое теплое солнце явилось на чистом и

вдруг без единого облачка небе. Люди шутили: “Никак это вы, Акылбек Ахметжанович, привезли к нам погожие дни. Мы вас давно поджидаем!..”

А погода установилась на редкость ясная, теплая. Пшеница, которая полегла, было, от непрерывного дождя, опять приподняла колос. И такая погода стояла по всему целинному краю. Как бы стараясь ее удержать, Ахметжанов мотался из области в область, приободрял людей, ухитряясь оказаться в самый раз там, где обнаруживался прорыв, где нужно было проявить и власть, и волю, и незаурядный организаторский дар.

Уборка шла к финишу, судьба очередного миллиарда была предпрешена. Кое-где рапортовали о выполнении плана хлебопоставок государству. Некоторые области пошли, что говорится, на рекорд — сдавали хлеб сверх плана. Уборка теперь шла лишь в глубинках, оттуда же еще не везде был вывезен хлеб.

И тут снова обрушился дождь. Да какой! Осенний, непрерывный ливень — синоптики в тотчас же сообщили, что он переходит в снег, что следом грянут заморозки, переходящие в зимние холода. В тот же день Ахметжанов получил сообщение, что в одном из отдаленных северных районов хлеба не вывезены, лежат на токах, и пшеница не вся еще скошена.

Дело было вечером, наутро он собирался вылететь в Алма-Ату. Руководители области только что доложили ему: уборка заканчивается повсеместно, не сегодня — завтра весь автотранспорт будет переброшен в отдаленные районы, откуда незначительное количество зерна пока что не успели вывезти. О том, что в глубинках лежит на токах тысячи пудов пшеницы, ему никто не говорил.

Когда помощник сообщил ему неожиданную весть, Ахметжанов находился в гостинице, он уже намеревался лечь спать, но тут ему стало не до сна. Шутка ли, столько хлеба под угрозой гибели! Если в ближайшие сутки не закончить уборку и не вывезти зерно и если дождь не утихнет и перейдет в снег, то все это зерно станет непригодным, ни один элеватор не согласится его принять.

В считанные минуты Ахметжанов добрался до обкома. Особой проницательности не требовалось, чтобы понять: здесь тоже встревожены. Несмотря на поздний час инструкторы, заведующие отделами “висели” на телефонах, надрывая голоса, требовали, умоляли, торопили кого-го невидимого — там, на том конце провода.

Он прошел к секретарю обкома. Тот, увидев Ахметжанова в армейском брезентовом плаще, растерянно привстал с кресла.

— Сколько? — Ахметжанов задал этот вопрос, едва переступив порог кабинета.

— Что... сколько? — секретарь обкома был бы рад избежать ответа на этот вопрос.

— Хлеба не вывезено — сколько?

— Десять тысяч пудов,— упавшим голосом ответил секретарь обкома.

— А на корню — сколько?

— Пять тысяч га.

— Почему не сообщили об этом днем?

— Да... понимаете — хлеб сверхплановый. Районы с обязательствами справились. А это уже сверх всяких норм. Ну а погода стояла хорошая, мы и не торопились. Думали, успеем. Послезавтра намечали перебросить туда воинские эшелоны, занятые в других местах... Эта проклятая погода! Все карты перепутала. Шальной циклон с Таймыра...

— Какие меры приняты сейчас?

— Только что разговаривал с командованием воинской части. Час назад ребята закончили вывозку хлеба из хозяйств, закрепленных за ними. Работали геройски, два дня не спали. Но дождь опередили — вывезли зерно. Ну, их начальство вначале ни в какую: мол, что еще там за глубинки? Ребята и так вымотались, дайте им вздремнуть час-другой. Пришлось объяснить, что положение крайнее, что вся надежда только на них. В общем, они объявили боевую тревогу и... уже в пути.

— Молодцы, солдаты! — у Ахметжанова отлегло от сердца. — А сами теперь что собираетесь делать?

— Да вот хочу мобилизовать еще кое-какие резервы.

— Не стоит. У воинских частей сил больше, чем достаточно, чтобы вывезти наши запоздалые хлеба. Да и находятся они к глубинкам, по-моему, ближе всех других автоколонн.

Ахметжанов на мгновение задумался:

— Вот что,— сказал он решительно.— Теперь у нас с вами все равно — сон не сон. Давайте-ка сами туда выедем. А вдруг понадобится наша помощь? Как, согласны?

— Я-то согласен,— живо откликнулся секретарь.— Но... мы сами делаем все, что надо. Вам-то зачем ехать такую даль ночью?

— То есть как это — зачем? А десять тысяч пудов хлеба?.. Когда-то казахи, чтобы купить два — три мешка пшеницы, ехали почти за четыреста километров. С улутауских гор да на Атбасарскую осеннюю ярмарку. Причем, на верблюде. А здесь... десять тысяч пудов. Да на "Волге". Так что...

Ахметжанов глянул на часы:

— На сборы вам — тридцать минут. А пока соедините меня с Москвой. С Андреем Ивановичем.

А дождь все лил и лил...

Три новеньких "Волги" словно ракеты пронзили ночную ненастную тьму. Им предстояло пройти четыреста километров до "ближайшего" села Кзылтал злополучной глубинки.

Было уже далеко за полночь, а до Кзылтала оставалось еще километров двести. Кроме шофера и Ахметжанова все в машине дремали. Акыл-

бек, занятый мыслями, смотрел в освещенное фарами пространство мчащейся навстречу дороге. Вдруг он схватил шофера за руку:

— Тормози!... Кто-то стоит у дороги. Шофер просигналил, замедлил движение, съехал к обочине, остановился. Обе машины, идущие следом, тоже остановились. Ахметжанов выбрался из кабины, за ним потянулись и остальные. А к их машине уже подбегал человек. Это был пожилой мужчина, русский. Он весь вымок. Щеки, покрытые щетиной, ввалились, он запыхался, и было видно, у него что-то стряслось.

— Все как с ума посходили, — начал он вместо приветствия. — Два часа пытаюсь остановить какую-нибудь машину. Куда там! Даже не притормозят. Да все военные машины. И мчат в одну сторону, туда. Хотя бы одна шла в центр. Спасибо, вы остановились.

— Что случилось-то? — спросил Ахметжанов.

— Да вот паренек, сын учительницы нашей. Скрутило его, а что с ним — понять не можем. Я-то сам шофер, ну и повез его в область. Километров тридцать отъехали, машина заглохла и — ни в какую! А тут еще дождь припустил. Назад возвращаться? Так парень-то при смерти. Думаю, дай-ка я до большака его донесу, а там на попутной. Мать его плачет, я говорю ей: ты закройся в кабине — тепло и сухо и никто не тронет. А я пойду помаленьку. Ввалил его на горб, а он тяжелый. Ну и почти всю ночь с ним топал. И вот стою уже два часа, а попутных машин, как на зло, — ни одной. Все жмут в другую сторону, да с такой скоростью, что и подходить-то страшно...

Голос его вдруг осекся и, боясь, что откажут, он чуть ли не выкрикнул просьбу — мольбу:

— Помогите... в больницу. Ведь помрет мальчишка.

— А что с ним?

— Да если бы знать... Бредит. Пожалейте парня. Вся надежда на вас.

Он говорил еще что-то, но Акылбек уже отдавал распоряжения:

— Одна “Волга” вернется обратно — с этим товарищем и больным парнишкой. Другая машина — срочно к той женщине в грузовике. Она, бедняжка, там от страха и горя, поди, сама не своя. Доставить ее домой и успокоить.

Он посмотрел на секретаря обкома:

— А мы с вами и... вот с моим помощником — продолжим путь. Через пять минут все три “Волги” разъехались в разные стороны.

Все такие струи дождя полосовали лобовое стекло машины, и “дворник” неумоимо очищал полукружия окошечек для шофера и Акылбек... Мальчик попал в беду. Подросток, казах, между прочим. Кто он ему, этому старому русскому дядьке? Брат? Сын? Родственник какой, хотя бы самый дальний? А никто. Даже не односельчанин. Шофер, видать, проезжий. Он не раздумывая кинулся на помощь незнакомой казашке, чтобы спасти ее сына. Это в крови у нас, у советских людей. То что называется торжественно и очень уж официально-интернационализм, дружба между

народами. Да, да, искренняя и непоказная дружба, основанная на человечности и на глубоком уважении одной национальности другой. Столкнешься в дороге с таким вот случаем и невольно подумаешь: чего стоит вся эта шумиха продажных шелкоперов за кордоном о том, что целина — да, мол, ни что-нибудь — насилие русских над казахами.

И вспомнился ему теперь уже далекий случай, когда они с Андреем Ивановичем были на целине, еще в первый год ее освоения. Тогда они стали свидетелями похорон одного паренька — кстати, тоже единственного сына старой учительницы, его убил какой-то приезжий бандит. Ведь вот попади тот факт на зубок советологам, ох и расписали бы они его, разукрасили и, конечно, сопоставили бы национальность убитого и убийцы и, конечно же, сделали бы, свои далеко идущие выводы. А любопытно, что они сказали бы по поводу сегодняшнего случая, стань он известен им? Акылбек представил себе непроглядную темень, непогоду и холод на осенней степной дороге и этого немолодого уже русского человека, который, забыв обо всем на свете, несет на руках совсем ему чужого черноголового подростка — лишь бы спасти его, лишь бы не дать ему погибнуть. Вот оно — негромкое мужество. Вот оно — непоказное истинное братство.

Когда вдали показались блеклые огни Кзылтала, брезжил рассвет. А когда добрались до токов, и вовсе рассвело. Теперь дождь шел со снегом. Дул холодный пронизывающий ветер. Только что из-под погрузки ушла последняя машина с последней тонной зерна. Секретарь райкома, пожилой казах с глазами, покрасневшими от бессонной ночи, доложил Ахметжанову:

— Машин была тысяча, не меньше. Управились часа за три. Подмели все подчистую. Успели в самый раз до снега. Да что там говорить: не солдаты — орлы!

Он оживился от своих же собственных слов, и будто бы не было бессонной ночи, сумасшедших тревог. Но вдруг лицо его потускнело, и на нем враз проступили и напряжение и усталость:

— А вот на полях... не успели. Под снег уходит хлеб.

Акылбек оглянулся. Поля подступали к селу, они простирались до невидимых сейчас, за снежной пеленой, горизонтов. Совсем недавно по ним бродил золотогривый привольный ветер — степняк, и колосья шелестели, их тяжелело зерно, клонило долу. Теперь все скрылось в снежном крошеве, стало белым-бело в какой-то час, и земля не скинет уже до весны подбитого морозцем и плотного одеяла снегов.

— Сколько трудов зря пропало! — тихо сказал Акылбек. И сердце его вдруг судорожно сжалось. Так не было давно. Не столько боль ошеломила, сколько растерянность и тревога. Он испуганно глянул на своего помощника, словно бы эта боль должна была сообщиться и ему. Но тот ничего не заметил и Акылбек осторожно выдохнул, радуясь, что эта немочь осталась его малой тайной, и может быть он сумеет одолеть ее на ногах. Ведь собственно, что случилось-то? Ну, пошаливает сердце — ви-

дать, понервничал немного... Он старался не думать о последствиях, его страшило лишь одно, что об этом приступе узнает старый доктор, а доктор — человек крутой, он уложил в постель Акылбека, и — никакой работы, никаких резких движений.

Он попытался осторожно сделать вдох, сердце саднило, но — ничего, терпимо. Нет, он лежать не хотел. Ему хотелось двигаться, работать, все и везде успевать, быть с людьми, среди людей, чтобы вместе с ними делать жизнь нашу лучше, счастливей, чтоб сколько станет сил править большую важную работу времени, чтоб преумножить радость и по возможности искоренить горькую боль.

Но несмотря на сердечный приступ и несмотря на занятость, он не забыл того шофера, который на спине таскал ненастной ночью казахского паренька, пытаюсь его спасти от гибели. Он выяснил, потом, что фамилия того шофера — Кириллов, что он из-под Рязани, что он отец восьмерых детей, и что это такое — беда с ребенком, ему ли объяснять, что он работяга, передовик и т. д. и т. п. И когда награждали целинников за образцовый труд, самоотверженность на жатве, Ахметжанов собственноручно занес фамилию Кириллова в список тех, кто удостоен ордена Ленина.

Да, Казахстан в том году сдержал свое обещание, сдал государству миллиард пудов целинного хлеба. Но, как говорят казахи, “не хотящий видеть и верблюда не разглядит” — советологи продолжали гнуть свою линию, нести околесицу про целину. Советский народ на них не сердится. И то: должны же они отрабатывать свой гнусный хлеб, снимать свою жатву.

А целина уже вступала в свой третий этап, когда высокий урожай и его стабильность должны стать нормой.

Между тем Айбол узнав, что Акылбек Ахметжанов приехал, он сначала собирался проситься к нему на прием, потом — отказался. “Разве сейчас ему до меня? — подумал он.— Ведь республика собирается рапортовать о сдаче миллиарда пудов!...”

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Разговор предстоял серьезный Сегодня Акылбек решил, наконец, поговорить с Жантаевым, уже давно добивавшемся аудиенции. До сих пор он умышленно оттягивал эту встречу. Тому имелись причины. Жантаев, хотя и был довольно молод — ему чуть больше сорока — занимал ответственный пост. В своем стремительном продвижении по службе он неизменно проявлял себя энергичным, инициативным, думающим руководителем. Учреждение, которое он теперь возглавлял, с его приходом стало работать четче, повысил роль отделов, а находящиеся в их подведомстве предприятия намного увеличили выпуск продукции. За короткий срок были построены и пущены в действие новые комплексы, цеха.

Однако в последнее время до Акылбека стали доходить сигналы, порочащие Жантаева: мол, хотя он сам любит поговорить о недостатках в работе других, в свой адрес критики не терпит. И самое неприятное: Жантаев в подборе кадров руководствуется гнилым принципом землячества, родовых связей. В подтверждение приводились факты: на командные посты у него в большинстве случаев подобраны свояки его и жены.

Обвинения были серьезные. Именно от этого, от всяких “землячеств” неоднократно предостерегал его Андрей Иванович Светлов, будучи в Казахстане.

“Конечно, все зависит от личности человека, думал Ахметжанов, от того какую жизнь он прожил, в какой среде, что знает о людях, что сохранил в памяти, какой мечтой осенен, какой тревогой томим. Какова его нравственная суть, гражданская позиция, таковы будут его деяния. Но откуда оно, это самое проклятое “землячество”, разделяющее казахов во все века, у представителей молодого поколения, выросшего и воспитанного в наше время? Кому они нужны все эти отмершие, ушедшие в прошлое “жузы”, “роды”, “племена”?

Обдумывая все это, Акылбек и оттягивал встречу с Жантаевым, говорил о нем с близко знавшими его людьми. Большинство подтверждало уже известное ему, а некоторые даже пытались внушить Акылбеку мысль о необходимости снять Жантаева с занимаемого им высокого поста. Рассуждая строго логически, они были правы. Зазнавшийся руководитель не может быть проводником идей партии. Но надо ли и при такой ситуации сразу рубить с плеча? Нет, нельзя. Сначала необходимо выяснить, способен ли в принципе хороший, знающий свое дело работник избавиться от появившихся в его характере преходящих, дурных черт? Ведь и большие руководители это тоже люди, и ничто человеческое им не чуждо. Это означало, что нужно сначала стараться уберечь такого руководителя от заражения гнусным недугом чванства, нетерпимости и критики своих недостатков. Ну, а коли он не будет прислушиваться к советам, тогда уж... Нет, нет, не надо торопиться с оргвыводами.

Жантаев начал говорить о положении дел в руководимой им отрасли. Говорил как всегда обстоятельно, с глубоким анализом. Дело свое он знал отлично.

Акылбек слушал внимательно. Задавал вопросы, делал пометки в блокноте.

Когда Жантаев изложил свои, тоже веско обоснованные просьбы и получил на них ответы, Акылбек незаметно изменил тему беседы. Он спросил о кадрах руководимого Жантаевым учреждения, и только после этого Акылбек перевел разговор в нужное русло... Начал он издали.

— Беда некоторых наших руководителей в том, что они не всегда четко представляют себе всю значимость своей роли,— сказал Ахметжанов,— и как это ни парадоксально, принижают эту роль. Да, да, я не оговорился,

именно принижают. Почему? Не потому ли, что такой руководитель забывает: сила социалистического единоначалия в опоре на коллегиальность, на общественность, на партию. А это искажает саму суть нашего принципа руководства. Так ведь недолго потерять опору в массах, оторваться от людей, и оказаться в пустоте, в одиночестве.

— К сожалению,— сказал Акылбек дальше,— есть у нас еще такие деятели, забывающие казахскую поговорку: “шуба, скроенная общим советом, не будет коротка”.

Собеседник уловил куда клонит Ахметжанов. Он опустил глаза.

“Так”,— отметил про себя Ахметжанов. Не может поднять глаза, значит догадывается, что рыльце в пуху. И продолжал:

— Руководитель с такими убеждениями, конечно, не может терпеть критику в свой адрес. А, между прочим, критика и самокритика — основа основ нашей демократии. Еще Сент-Экзюпери говорил, что “в том государстве, где критика запрещена, похвалы никогда не приносят удовольствия” А в нашем государстве она, эта критика, предусмотрена законом.

Теперь Жантаев стал бледнеть. Он-то знал силу слов Ахметжанова, знал, что так просто, ни с того, ни с сего он этот разговор не вел бы. Он боялся Акылбека, в то же время глубоко уважал, и потому каждое его слово было будто нож в сердце, но слушать было нужно.

— Теперь я объясню вам, почему веду этот...— Акылбек сделал паузу,— как я вижу, неприятный для вас разговор. Потому,— чуть повысил он голос,— что вы, как мне говорили, не терпите критику, преследуете тех, кто посмеет посягнуть на ваш авторитет. А ведь они, говоря правду в лицо, хотят помочь вам.

Жантаев шевельнулся, хотя что-то хотел возразить, но не смог. Слова застряли в горле. Да и произносить их, эти жалкие пустые слова было ни к чему: Акылбек говорил правду, неприятную, колющую сердце, но правду. И ему оставалось слушать.

— Опасаясь критики,— неумолимо продолжал Ахметжанов,— вы и кадры оказывается стали подбирать не по деловым качествам, а по их терпимости к вашим недостаткам. А где их брать, таких удобных людей? Конечно же, среди своих близких — может, даже односельчан.

И ведь что получается? Окружая себя своими земляками, вы отделяете себя от остальных работников, отрываетесь от масс, оказываетесь в одиночестве за спиной угодников и подхалимов, которые не возражают вам, не спорят, а только смотрят вам в рот.

Он помолчал, передвинул лежащие на столе карандаши, и, все так же глядя с сожалением на собеседника, заключил:

— А знаете Вы, какое это несчастье — остаться в одиночестве? Не зря же сказал Людовик Великолепный: “ спорьте, не соглашайтесь, говорите, чтобы я не оставался в одиночестве”! И это не кто-нибудь говорит — ко-

роль французский! Монарх, единый и единовластный! А мы с вами живем не во времена Людовика Великолепного...

Он откинулся на стуле, ждал возражений. Жантаев молчал, он то краснел, то бледнел и вытирал платком обильно выступавший на лбу пот. Разговор можно было закончить. Судя по всему человек понял свои ошибки, но Акылбек решил продолжать. Ничего, пускай прочувствует. Казахи правильно говорят “слово друга и слезу выдавит”.

— Вот таким недугом, по словам ваших же друзей, вы заболели, товарищ Жантаев, и вам от него нужно избавиться. Чем быстрее, тем лучше!

Жантаев медленно, как свинцом налитый поднялся из кресла. И с трудом сказал:

— Я все понял, Акылбек Ахметжанович. Я все понял.

И пошел к двери, тяжело волоча ноги.

После ухода Жантаева Акылбек еще долго сидел, обдумывая этот неприятный для него разговор. В душе оставалась нехорошая накипь. Всегда неприятно говорить людям в глаза нелицеприятную правду. “А не слишком ли я резок? — билась в его голове мысль, но он гнал ее, успокаивая себя.— Ничего.

А Жантаев был доволен партийным тактом Акылбека. Ахметжанов не вынес сора из избы, не отчитал его при людях, а поговорил наедине, без свидетелей, тем самым стараясь сохранить авторитет Жантаева перед его подчиненными. Не каждый большой руководитель так поступает.

И на самом деле, если говорить правду, суровые упреки Ахметжанова для молодого руководителя были наказанием, а разговор на первый раз без свидетелей, без общественной огласки — наградой.

Между тем Акылбек думал теперь о другом. Недавно к нему пришла группа ученых,— старейшин, аксакалов казахской науки. Они просили дать в президенты им младшего брата его. Акылбек не согласился, хотя брат его Ахметбек был настоящим ученым, и, он доброй души человек. Несогласие свое мотивировал тем, что тот еще малоопытен и молод. “Что значит молод,— думал Акылбек.— Наполеон в двадцать шесть лет был Первым консулом. А Гайдар в восемнадцать лет командовал полком. А мы о сорокалетнем человеке говорим — молод еще...”

“Нет, правильно поступил я,— заключил все же он.— При моем положении нельзя было это сделать, хотя Ахметбек мой единственный брат. Пусть еще больше наберется опыта. Если так пойдут и дальше его ученые дела, от него не убежит и президентский пост...”

Ахметжанов вызвал помощника. Вошел высокий, элегантно одетый молодой человек.

— Пришел Айтпаев? — спросил Акылбек.

— Звонил, сказал вот-вот подойдет,— ответил помощник.

— Хорошо. Как появится, не держите его в приемной, пусть сразу же заходит.

Помощник ушел. Ахметжанов опять задумался. Он думал об Айтпаеве.

Казахстан давно стал индустриальным краем. Особенно бурным развитие промышленности было в последние тридцать лет, когда во главе руководства республики находился Акылбек Ахметжанович. Конечно, отдельные личности историю не делают — ее делают народы, но личности влияют на ход истории. Разумеется, никто не намерен преувеличивать роль Акылбека Ахметжановича в жизни казахского народа, но тем не менее Ахметжанов работал именно в этот период и влияние его особенно на индустриализацию Казахстана, было весомым. При его активном участии в республике была создана и окрепла черная металлургия, в строй действующих вошли такие гиганты, как Соколовско — Сарбайский, Лысогорский, Карагандинский металлургические комбинаты, мощной стала энергетика, были построены такие гидроэлектростанции, как Иртышская, Ульбинская, Капчагайская, проектировались Шульбинская ГЭС, была начата разработка экибастузских энергетических углей, особое развитие получила нефтяная промышленность, в основном за счет добычи Мангышлакской нефти. Большой рывок вперед сделала и цветная металлургия. Были открыты Жайрамское месторождение полиметаллов, развивались и другие промышленные комплексы в Восточном и Центральном Казахстане. Именно в этот период начал действовать Каратауский горно-химический комбинат фосфоритов, запасы которых превышают мощность даже знаменитого Хибинского месторождения апатитов.

Все это делалось при активном участии Ахметжанова. И самое главное, в отличие от других руководителей, поработавших в республике, кроме Светлова, он, как инженер, лучше догадывался, что нужно стране и что может дать из этого Казахстан.

И как производственник и как ученый, он хорошо знал, что республика в состоянии давать гораздо больше минерального сырья, вполне возможно более мощное развитие производственных сил. Но Ахметжанов также хорошо понимал, что для этого нужна вода, нудны энергетические ресурсы — основа основ для развития любой отрасли промышленности.

Казахстан и богат и беден водой. Особенно его центральные районы, где и были сосредоточены основные запасы полезных ископаемых. Такие многоводные когда-то реки, как например, Иртыш, вследствие создания искусственных морей для гидроэлектростанции, дающих энергию Рудному Алтаю, уже утратили былое величие и силу. А вторая большая река — Сырдарья — после создания в верхнем течении Узбекистаном, а в среднем и нижнем — Казахстаном, искусственных водоемов для орошения земель под хлопок и рис, крепко обмелела. Эта же участь постигла и Аму-Дарью, над Аральским морем нависла прямая угроза высыхания и со временем полное исчезновение с лица нашей планеты...

Вот почему руководители республики с радостью поддержали идею ученых о переброске части стока вод великих сибирских рек — Енисея, Оби /позже и Лены/ — в степи Казахстана и далее, в Европейскую часть нашей страны.

А что касается проблемы энергетических ресурсов для промышленных районов и новых освоенных земель республики, то она имела свою историю.

В годы войны группа ведущих инженеров республики стояла на позиции развития энергетики Казахстана через строительство гидроэлектростанций. Они всячески доказывали преимущества своей точки зрения, без усталости говоря о том, что рек в Казахстане много, и энергия гидроэлектростанций всегда была очень дешевой.

Другая же группа во главе с Ахметжановым и Азирбаевым выступала за строительство гидроэлектростанций только на больших реках, развивая главным образом добычу бурых углей и строительство тепловых станций. Однако, со строительством первой крупной гидроэлектростанции на Иртыше /на Аблакатке/ выгода гидроэнергии показалась многим очевидной. В Казахстане начали создавать искусственные моря, строить крупные гидроэлектростанции /на Ульбе, Капчагае. Проектировалась Шульбинская ГЭС и другие/. Но эти гидроэлектростанции все же не смогли обеспечить потребность в энергии основных промышленных центров - Центрального, Северо-восточного Казахстана и особенно — его индустриальное будущее. Вот тогда-то снова встал на повестку дня вопрос о создании теплоэлектростанции. Но реальным это представилось только после начала разработки Экибастузских бурых углей. И тогда группа инженеров выступила с предложением построить в Экибастузе на базе его энергетических углей такую ТЭЦ, которая могла бы давать в три раза больше энергии, чем самая мощная в Советском Союзе Красноярская гидроэлектростанция. Экибастузская ТЭЦ могла бы снабжать энергией не только Казахстан, но и всю Восточную Сибирь, Среднюю Азию и часть РСФСР.

Но строительство такой гигантской ТЭЦ стоило очень дорого. А гидроэлектростанции, благодаря созданным мощным строительным трестам и многолетнему накопленному опыту — обходились гораздо дешевле. К тому же гидростроители не хотели сдавать свои позиции. Особенно упорствовал один из них, тот, с мнением которого считались и союзные руководящие инстанции.

Именно с ним предстояло встретиться сегодня Акылбеку Ахметжановичу. Откровенно говоря, это обстоятельство усложнялось еще и тем, что с давних пор они относились друг к другу с неприязнью. И на то у них были свои причины. Правда, Ахметжанов никогда не высказывал вслух своего отношения к оппоненту, вел себя сдержанно и всегда старался не показывать этой неприязни. И ни в коем случае он не думал использовать свое служебное положение. Но его оппонент был совершенно другим че-

ловеком. Он считал себя обделенным судьбой, хотя, как ученый, имел имя, но всегда желчно относился к Акылбеку Ахметжановичу, считая его причиной всех своих неудач. И при этом, в силу своего упрямого характера, он стремился бороться с Акылбеком Ахметжановичем.

При таких отношениях людям трудно говорить друг с другом спокойно.

Но Акылбек? Многоопытный Акылбек, разве не найдет он ключ к сердцу своего оппонента? Не идейные же они враги, в конце концов!

И Акылбек старался найти этот ключ...

Между прочим, оба они знали, что речь будет идти не об энергетике Казахстана. Здесь, как бы Айтпаев не артачился, все было ясно, во всяком случае, вышестоящими инстанциями было одобрено. Ахметжанов принял его, поскольку тот просился сам /а ведь Айтпаев почти пятнадцать лет не приходил, как раз с тех пор, как Акылбек стал подниматься по служебной лестнице/ и хотел помочь, хотя бы в его личных вопросах.

Когда Айтпаев вошел, он старался говорить с ним как можно вежливее. После взаимных приветствий, правда довольно холодных со стороны Айтпаева, Ахметжанов спросил просто:

— Ну, рассказывайте, как живете.

— Стареем, стареем,— сказал Айтпаев, двигая желваками. Ведь было время, когда не он, а Акылбек приходил к нему на прием...

Ахметжанов засмеялся.

— Ну, это еще не беда. Как говорится, молодость хороша тем, что есть у нее время бороться за свое будущее, а старость — тем, что есть еще время для того, чтобы бороться за будущность этой молодости.

— Ну, такие рассуждения не для нас, простых смертных. Так могут думать личности...

Чуткий на любой подтекст, Акылбек почувствовал в словах Айтпаева желчь, правда незначительную.

— Это вы зря,— сказал он тихо и как можно мягче,— наше общество отличается как раз тем, что любой из нас может стать личностью. А вам, академику, жаловаться нечего!

— Тем не менее вот в этом кресле сидит не академик, а...— он махнул рукою, словно хотел сказать “да что там, и так все ясно”.

Акылбек понял, что Айтпаев остался таким же, каким и был, и внутренне он очень огорчился, стремясь как-то помочь ему.

— Разве личность определяется занимаемой должностью? — спросил он.— В таком случае Пушкин, Максим Горький и многие другие — заурядные люди? Нет. Вы же знаете, какие это были личности. И вы не на последнем счету.

— Ну, на каком я счету показало последнее выдвижение.

Недавно одна из книг Айтпаева была выдвинута на какую-то премию. Но не получила ее. Свою неудачу Айтпаев опять увидел в нежелании Ах-

метжановым поддержать его кандидатуру. Одной из причин его сегодняшнего визита бала именно эта обида. На самом же деле книга была просто недостойна этой премии. И, когда спросили мнение Ахметжанова, то он так прямо и сказал об этом. Но это мнение Ахметжанова было объективным, а не субъективным, т.е. вытекающим из их неприязненных отношений.

— Нельзя все сводить на личное,— сказал Ахметжанов, стараясь, по-прежнему говорить спокойно,— нельзя нам писать по старинке, надеясь только на свой авторитет. Книга ваша нового ничего не дает. Поэтому мы вынуждены были согласиться с мнением экспертов.

— Но ведь не все старое плохо? И в старое время были такие достижения, которых мы сегодня при всем нашем старании не можем достичь...

— Что вы имеете в виду? — спросил Ахметжанов, чувствуя, что Айтпаев совсем не зря завел этот разговор.

— А то, что вы стали отрицать все, что было раньше. Между тем, и тогда было немало успехов. Возьмем, к примеру, овцеводство. По переписи 1897 года только в Акмолинской, Семипалатинской, Семиреченской, Сыр-Дарьинской, Тургайской и Уральской губерниях бывшей киргизской окраины России имелось столько же овец, сколько сейчас вы имеете по всему Казахстану, даже чуть больше. Почти сорок миллионов голов! А мы теперь ежегодно принимаем постановления, раздуваем соцсоревнования, награждаем всех и вся, организуем овцефермы, строим кошары, готовим всякие там сенажи, биокорма, но никак не можем достичь численности поголовья того скота, которое имели эти несчастные шесть киргизских губерний царской России.

Ахметжанов никогда не спускал собеседникам демагогии, но то, что сказал энергетик по поводу овцеводства республики, прозвучало для него такой обывательщиной, что он только усмехнулся.

— Это вы к чему? — спросил Ахметжанов спокойно.— Я думал, вы как энергетик, скажете мне о недостатках в вашей отрасли хозяйства, а вы... Если хотели сказать, что отставание в овцеводстве республики возникло именно в годы моей работы, то это напрасно. Хотя, нет, не совсем так... Может быть, это и правильно. Но почему у вас такое избирательное зрение? Никто не закрывает глаза на недостатки, но вы намеренно не видите, какими гигантскими индустриальными и целинными шагами наша республика ушла вперед!

Он помолчал немного и по-прежнему спокойно продолжал:

— Да, прекрасные перемены произошли именно в последние тридцать лет, и это сделано гигантским созидательным трудом народа. Но хотите вы этого или нет, в этих успехах есть и моя, как впрочем, и ваша доля. Да и в овцеводстве есть достижения немалые. Если в шести губерниях казахские баи имели сорок миллионов голов овец, то сейчас наш народ, а не

они, имеет то же самое. В ближайшее время мы доведем поголовье овец до пятидесяти миллионов. В иные годы рост поголовья скота снижался, и на то есть причины. Но мы их ликвидируем. Так что ваш упрек в мой адрес,— Акылбек улыбнулся,— несколько поспешен. Но я думаю, что вы ко мне пришли не для того, чтобы поговорить о наших недостатках в овцеводстве... Лучше скажите причину вашего визита, может быть, я смогу...

Айтпаев как-то сник.

— Ну, после такого разговора стоит ли... Действительно, я пришел не для того, чтобы упрекать...

— Говорите, говорите...

— Вы же знаете, какой пост я занимал... Делал все, что было в моих силах...

— И делали немало.

— Спасибо. Я хотел... То есть, если вы еще не считаете меня старым, я хотел бы быть...— Айтпаев не договорил, но Акылбек догадался, что тот имеет в виду. Видимо, эта просьба была для Айтпаева нелегкой, он даже вытер носовым платком свой вспотевший лоб и через силу продолжил.— Конечно, я не надеюсь, что получу эту высокую должность при наших существующих отношениях, но все же решился сказать об этом...— он натянуто улыбнулся,— чтобы потом не упрекать себя в нерешительности.

Акылбек оживился.

— Напрасно вы так говорите, вы давно заслужили этот пост. И я уверен, вы с этой работой справитесь. Мы виноваты, что сами об этом не подумали. Поистине верна казахская поговорка “молчащему ребенку молока не дают”. Хорошо. Я приму все меры, чтобы именно вас утвердили на эту должность.

Настроение у Айтпаева мгновенно изменилось: он заулыбался. Потом они долго разговаривали о достижениях, перспективах индустриального роста республики. Айтпаев говорил о гигантской Экибастузской ТЭЦ, о своевременности и необходимости ее строительства.

Оставшись один, Акылбек опять начал думать об Айтпаеве.

“Есть же такие люди,— размышлял он,— на переднем плане у них только личное, а государственное они видят только через это свое личное. Понизят в должности, и государство вроде хуже, а повысят — и дела в государстве сразу идут лучше. Айтпаев, конечно, не из таких. Но все же, услышав о возможности нового назначения на желаемый пост, сразу же изменился. Как слабы люди на личное благополучие. А работать он все же умеет”.

Ахметжанов, способный тонко мыслить, оперировать большими категориями и в таком довольно мелком вопросе нашел правильное решение. Он не поддался чувству негодования. И Айтпаев стал работать хорошо, со рвением.

В этот день он вернулся домой более усталым, чем обычно, и почему-то грустным.

Акылбек Ахметжанович хмурился: опять бессонница, и видно, ничего уж тут не поделаешь, порошки да таблетки уже не берут. Осталось одно: пойти лечь отдельно (жена не может заснуть при свете), открыть какую-нибудь книгу и читать ее до тех пор, пока не посмотрится. И тогда уж не медли — отложи книгу, туши свет и поворачивайся на бок, минут через десять, может, и заснешь. Чем книга скучнее, тем скорее заснешь. Но не дай аллах тебе открыть какую-нибудь деловую папку — так и просидишь всю ночь за письменным столом. Что бы такое взять сегодня? И как это он забыл заказать на сегодня кинокартину? Сидел бы сейчас и смотрел бы, и думал бы только о том, что происходит на экране, это ведь так вентилирует мозги — иногда он просматривал по два фильма за вечер; так чем же заняться? Вот разве только взять записку референта об университетском деле? Ведь так и не заглянул в нее днем. Нет, это опасно, начнешь думать да раскидывать, так или не так (а завтра выступать как раз по этому вопросу) и досидишься до рассвета...

Эх, жалко, что не поговорил обо всем этом с кем-нибудь, ну хотя бы с Айболом, это же его тема. Вызвать разве его утром? Вот ты, друг дорогой, возишься со средними веками — Чингизидами да ханами, а тут к нам поступила, можно сказать, животрепещущая современность — в университете состоялся вечер Магжана Джумабаева. Что ты на это скажешь?

А что он может сказать? Ведь, как ни крути, а не было в годы становления советской власти в степи националиста более яркого, чем этот сын волостного правителя. Его стихи “Впереди сумасшедший Иван”, поэмы “На скале Ок-жекпеса”, “Домбра Койлыбая” — есть ли еще в казахской литературе более антисоветское и яркое восхваление старого аула, феодального правопорядка, да и самых добрых и мудрых феодалов? И вот нашлись умники, устроили его вечер! Да где, где? В актовом зале университета читали его стихи, чуть ли не клялись его памятью. Ах, как все это отвратительно! Интересно, что ответил бы Айбол?

Акылбек усмехнулся и сделал то, что делать как раз было нельзя — пошел к столу и вынул застенографированное выступление (сделанное с микрофонной записи) одного из профессоров университета. Сел и стал читать.

“Не так давно издательство “СП” выпустило в серии “Библиотека поэта” сборник “Поэты — сатириконтцы” (так начал выступающий). Среди представленных в книге авторов, поэтов 10-х годов XX века можно найти такого малоизвестного стихотворца, как Валентин Горянский. Вот что сказано о нем на странице 123: “Последняя страница биографии Горянского позорна: в годы Второй мировой войны он сотрудничал в Париже с немецко — фашистскими оккупантами”. Трудно представить себе преступление более отвратительное, чем это, а если учесть, что этот писатель был ярким врагом Советской власти и занимал крайнюю правую позицию после эмиграции, то картина получается достаточно мрачная (не знаю, этого

Горянского не читал, не дошли руки,— подумал Акылбек Ахметжанович). Но в 10-е годы он сыграл определенную роль в литературном процессе, и в книге, о которой я говорю, все поставлено на свое место. Ибо нельзя вычеркивать писателя из истории литературы, делать вид, что его не было, даже если он оказался негодяем. Речь идет об ОЦЕНКЕ, а не исключении из реестра (да, да, это так! Даже для того, чтоб бороться, надо сперва оценить! Оценить силу противника! Иначе будешь махать кулаком в воздухе! Дальше, дальше...) За участие в Кронштадском мятеже Гумилев был расстрелян, но ни в одной работе, посвященной русской литературе 20 века, имя его не вычеркнуто, хотя о роли и значении поэта пишут по разному (читал его “Капитанов”. Очень пластичная вещь!) Наконец, еще один пример. Великий норвежский писатель Кнут Гамсун в возрасте под 90 лет был приговорен королевским судом к пожизненному заключению за предательство, за активную поддержку гитлеровцев (да, эту историю я знаю. Только сидеть-то он не сидел. Зачитали приговор и отпустили. Нет, не так, кажется: сначала все-таки заключили в психиатрическую больницу. А потом уж отпустили. Умер он у себя. Успел даже книжку написать об этом сумасшедшем доме. Я ее видел за границей), это было настоящей национальной трагедией маленького народа. Но когда несколько лет назад я спрашивал в Норвегии писателей, в том числе коммунистов (например, Мартина Нага), что они думают о Гамсуне, я услышал ответ: “Преступления Гам-суна принадлежат Гамсуну, а то, что было им создано, принадлежит народу”.

“В отличие от названных авторов — великого Гамсуна и совсем маленького Горянского — в отличие от Мережковского, от Леонида Андреева, умершего врагом Советской власти, от украинского поэта Олеся, сотрудничавшего с немцами (издан на украинском и русском языках), от ряда других **ВИНОВНЫХ** по статьям уголовного кодекса, Магжан Джумабаев, как об этом свидетельствуют документы, куда меньше виновен (Разве так? Да, тут подложен документ прокуратуры о его реабилитации, но ведь одно дело преступление, другое дело — вина. Преступление отвергается, а вина остается! Тут требуется хорошо разобраться). Он снова стал читать. Выступающий продолжал. “В таком случае не надо быть только Скотининым — это он говорил: “У меня всякая вина виновата”. Да нет, не всякая. Почему же тогда его имя вычеркнуто из истории литературы, как будто его вовсе не существовало? Да, у Магжана были ошибки, были националистические выступления. И опять-таки в каких обстоятельствах, какие? Если запрет с имени Джумабаева, с имени, а даже не с произведений будет снят, историки и литературоведы разберутся во всем. И об его ошибках, если даже были преступления, об этом будет написано, все точки над “и” будут поставлены. Все станет на свое место. Только об этом идет речь — о возможности рассмотреть, прочесть, оценить и дать характеристику, не предопределяя, какова она будет”. (Разве в этом все и дело? — нахму-

рился Акылбек,— вон какой шум поднялся вокруг выступления вашего, профессор, в этот вечер. Да, пожалуй, иначе быть не могло. Ведь живы еще современники Джумабаева. Они помнят, чем это имя было тогда и кто его произносит. История не так скоро сходит со сцены, товарищ профессор. Вы забыли, что годы гражданской войны и сегодня — часть нашей современности. Они живы, живы. Нельзя их сдавать в музей или отправлять в архив. Нельзя! Нельзя! Одно дело — быть преступником с оружием в руках, другое дело — стать идеологом тех, кто борется против народа. За первое наказывает суд, а за второе кроме суда, выносят приговор еще сама история и народ. Хорошо, что говорит профессор дальше?).

“Я не знаю всех произведений Магжана, но то, что я прочитал с помощью друзей,— замечательные произведения. Речь идет о большом художнике, отнюдь не о поэте масштаба Горянского, который, как я говорил, удостоился научного издания. И это правильно! Разрешите прочитать два стихотворения. Я без всякой позы и нарочитой скромности должен сказать, что я “боролся” с оригиналом, что передать огромную насыщенность этих стихов подлинным чувством, большим человеческим содержанием нелегко, и я не претендую на то, что перевод передал все это содержание. Но за точность передачи мысли ручаюсь”.

(Затем были прочитаны переводы)

— Да, вот оказывается, как можно еще смотреть на этого сына волосного правителя. А что за стихи?

Стихи лежали тут же.

КРАСНОЕ ЗНАМЯ

Чей он, этот багряный флаг?
Он горит теперь над тобой,
Азиатский мой край родной,
Затерявшийся в пестрых горах;
Твой он, Азия! Твой, казах!
Чей он, огненно-красный флаг?
Тех, кто знает, что бога нет,
Тех, кто верит в пламя и свет,
У кого он яркий в руках...
Это знамя твое, казах!
Чей он, жаркий, как уголь, флаг?
Тех, кто долго в глуши степей
Умывался кровью своей;
Кто рыдал в безводных песках...
Это знамя твое, казах!
Чей он, кровью окрашенный флаг?
Тех, кто знал лишь одну судьбу,
Уготованную рабу.
Кто страдание знал и страх...
Это знамя твое, казах!
Чей он, в небе пылающий флаг?

Тех, кого труден путь и кровав,
Тех, кто ищет воли и прав,
У кого вопрос на устах...
Это знамя твое, казах!

Ташкент, 1923 года.

— Ташкент, тысяча девятьсот двадцать третий год,— сказал Акылбек громко.— В доме была такая тишина, что хотелось услышать собственный голос.— Да, написано сорок лет тому назад. Вот когда, значит, поэт понял, что такое красное знамя! Да, но все-таки он понял это в 23-м году, а не в 19-м и 20-м! Вот когда это прозвучало бы, как боевая труба, собирающая всех под одно знамя! Но тогда — что делать — ведь против правды не пойдешь! — он писал иные стихи или молчал. И люди ему этого не забыли. Потому не забыли, что они слишком высоко ценили его талант раньше, чтобы простить эту ошибку. Самую большую, которую он сделал в своей жизни. Может быть, тут профессор прав — не злодейство, а ошибку. Но они тогда слишком дорого за нее заплатили, чтобы просто сбросить ее со счета. Злым разочарованием в поэте заплатили они. А это не забывается долго. И вот он мертв, а от него все равно требуют ответа. И не только от него, а и с тех, кто смеет говорить о нем. “Я бы отрубил языки тем, кто утверждает, что человек неисправим”, — написал Абай в своих “Гаклиях”. Все мы любим повторять эти слова и вместе с тем — что уж греха таить — готовы рубить не языки а головы тем, кто эти слова не просто повторяет, но и исповедует. Так что ж, товарищ Айбол, исправим все-таки человек или нет? И вот, наверно, что сказал бы мне на это писатель Айбол: — “Исправим, исправим человек, и ты, Акылбек Ахметжанович, знаешь это лучше меня. А я об этих потерявших дорогу в пургу написал книгу. И герой у меня идет таким же крупным неверным путем, как и этот несчастный Магжан, только увы! — скажет обязательно Айбол — конец-то у Магжана был иной. Не дошел до пристанища. Не было у поэта Магжана ни книг, ни любящей жены — даже спокойного теплого угла и то не было, были, очевидно, сопки Воркуты, вышки, бараки да смерть где-то на нарах. Мы тогда не в силах были отворотить от него это, Акылбек. Но что же хотят от покойника сейчас эти почтенные люди? Все это мне не очень понятно. Акылбек”, — вот так бы, наверное, сказал писатель Айбол. Но вот что мне совершенно непонятно: почему вдруг выступили и потребовали расправы над Магжаном даже такие люди, которые сами не так давно — уже в наше время — клялись его памятью. Неужели они так наказывают ошибки молодости свои? Похоже. А теперь вот обрывают телефоны, пишут докладные, требуют над устроителями вечера расправы, исключения, чуть ли не суда. Открывал собрание в актовом зале один из крупнейших лингвистов и знатоков русского языка профессор, зав. кафедрой Ахмудов, “Ахмудка”, как зовут его друзья и враги. “Долой Ахмудку”, — требуют они.— Отобрать у него кафедру, закрыть его ученый журнал! Вообще, выгнать

из университета! Пусть не развращает молодые умы!” Сказал что-то положительное о стихах покойного министр культуры (да что же именно, друзья мои?). К черту министра культуры, снять с поста, закатать выговор. Ахмудка передал переводы стихов Магжана в журнал и написал к ним предисловие, а редактор, старый и известный писатель приготовил их к печати — долой редактора, на пенсию ему пора! Друзья мои, да с чего вы так переполошились, что, собственно, произошло? Так ли уж страшен этот давний покойник, может быть на самом деле большой поэт? А вот недавно мне сказал другой профессор, что на третьем конгрессе Коминтерна с трибуны конгресса были зачитаны стихи Джумабаева как доказательство того, что лучшие люди Востока твердо встали на позиции Советской власти. Ахметжанов полистал бумаги. Вот и они здесь. В подстрочнике названы “Раздумье масс”, по-русски это звучит довольно нелепо, но можно, наверное, перевести и лучше. А профессор мне говорит, неплохо было бы напечатать эту поэму. “Ну, напечатаем ее, тогда как? Наверное, некоторые скажут: зачем будоражить молодежь?” — ответил я ему. Но профессор мой даже возмутился. “Друзья мои,— сказал он,— как вы все время клянетесь новым поколением. Так что оно уж настолько глупее нас с вами? У него меньше, чем у нас чуткости, нравственного чутья? Сомневаюсь, очень сомневаюсь, что молодежь нуждается в такой опеке. Помните хорошую русскую поговорку о семи няньках, у которых дитя без глаза”. А вообще как все это вышло? Как возникла речь о стихах Джумабаева? Почему именно сейчас? Что произошло? Да ведь ровно и не произошло ничего. Просто когда стихи попали в редакцию, редактор позвонил одному известному казахскому писателю, спросил, что он об этом думает. Тот хмыкнул и замолчал. Несмотря на всю свою демократичность, он умел всегда оберегать себя.

— Ну, если тебе не дорога твоя шкура...— сказал двусмысленно он.

— Так печатать или нет? — спросил редактор.

— Смотри сам,— ответил известный писатель,— если ты такой уж смелый да самостоятельный,— и слегка хохотнул. И это звучало уже прямо как вызов.

Тогда редактор и позвонил министру культуры. Был министр человек обходительный, благожелательный, культурный и не раз битый. И били его вот именно по таким делам, так что смысл казахской пословицы “ужаленный казах боится и пеструю веревку перешагнуть” был ему хорошо известен. Он вздохнул, подумал и сказал:

— Ну, это ваше писательское дело.

Но так как редактор по ту сторону трубки молчал и ждал, то не выдержав характера, добавил:

— Но я бы все-таки напечатал — с комментариями, конечно, и примечаниями. Поэт-то большой. Правда, сейчас есть поэты лучше Магжана, но ведь каждый велик своим временем.

В общем определенного ответа редактор ни от кого так и не получил. “Смотри сам”, “ты хозяин, тебе виднее”, “если не боишься...” Редактор поставил вопрос на редколлегии. В редколлегии сидели молодые ребята, и подборка сразу же пошла в набор.

Так и появились бы стихи Магжана, если бы вдруг не вмешались другие силы. Подборку сняли.

Вот тогда Ахмудов — человек волевой и быстрый — решил дать открытый бой: он поговорил в ректорате, сговорился с товарищами по кафедре и решил провести в актовом зале университета собрание, посвященное памяти поэта Магжана Джумабаева. И провел. И с этого все началось.

Задумчиво морща лоб, насильственно улыбаясь (он всегда улыбался так, когда ему что-то было донельзя противно) Акылбек вспомнил, как каялся со слезами на глазах в его кабинете другой профессор, тоже случайно выступивший на этом собрании, облысевший, благообразный, видевший всякие виды, насквозь прожженный литературными диспутами человек, прошедший, как говорится, огонь и воду и медные трубы.

— Ну надо же,— говорил он, и его лицо на самом деле было перекошено глубочайшим раскаянием и внутренним страданием,— надо же мне было так не остеречься! Ведь сорок лет я отлично знал, что можно говорить, а чего нельзя! И за сорок лет ни одного замечания не получил! А сейчас, на семидесятом году!.. Господи, да что же это на меня нашло! Затмение какое-то! Ведь я даже и не согласовывал свое выступление — тезисы не посылал никому — нет, затмение, решительно затмение, старческий маразм, ах ты...

И даже лысина у него блестела покаянно.

Вот и все, что знал Акылбек Ахметжанович про этот вечер. Но слова норвежского коммуниста, сказанные им русскому профессору: “Преступление принадлежит только самому преступнику, а его талант всему народу”, — все еще звучали в его ушах. И он думал: “Правильно! Совершенно правильно и абсолютно точно!” И все-таки при всем этом он был твердо уверен, что никакого решения о реабилитации и памяти и имени большого, наверно, поэта Магжана Джумабаева он принимать не будет. Он смутно вдруг вспомнил, что до него разговор такой же однажды был — и кончился он резким и категорическим “нет!” Задумали как-то издать сборник лирики покойного — и тогда люди, следящие за изданиями такого рода, сказали опять: не надо! Еще живы те, кто с ним боролись! Еще ходят по улицам нашего города те его друзья, которые потом сделались его врагами. И вражда их справедлива и священна. Справедлива и священна по крайней мере для сегодняшнего дня. А правильно ли мы поступили, пусть судит наше будущее поколение. Ему же в дальнейшем решать посмертную судьбу Магжана.

Надо было решить другой вопрос — уже не о мертвом, а о живых. Что делать с устроителями вечера? Кое-кто требовал суровой кары. Кары тем, кто читал, кары тем, кто слушал. И больше всех настаивал на карах тот

очкастый седовласый, который когда-то клялся памятью Магжана, а сейчас звонил по всем телефонам и требовал чуть ли не формального запрещения произносить это — как он говорил — “ненавистное имя”. Но в то же время один из уважаемых аксакалов, который был у него вчера, говорил другое. Он просил издать лирические стихи этого же Магжана. Такие же слова говорили и некоторые другие коммунисты на вечере в университете. Что же это такое? Национализм? Или гуманизм победителей? Нет, хочешь не хочешь, а дело разбирать придется.

“Разбирать придется, придется, придется”, — сказал он громко и прошелся по кабинету. И тут его вдруг пронзила другая мысль. Она была простая и высказана тем же неугомонным аксакалом. “Ну, хорошо, — сказал аксакал вчера, — Магжан поэт, а если бы был архитектором и построил бы какое-нибудь величайшее здание, ну скажем прекрасный дворец или храм, что стали бы мы его разрушать? Нет ведь, конечно. Никому и в голову не пришло бы это И картины тоже, пожалуй, бы, не сожгли! И плафоны не содрали бы с потолка. Ведь собственник умер, а достояние его перешло к наследникам, т. е. к народу и если оно прекрасно — народ будет его хранить как свое лучшее сокровище. Ну, а как же тогда стихи?... А потом аксакал почти громко крикнул: — Как же стихи!”

Ахметжанов сидел тогда пораженный мыслью старика. Сейчас он вспомнил как все же ответил: — “Как же стихи? А также, как мысли, — сказал тогда он старику. — Так же, как и личность! Камень, дерево, бронза, мрамор, холст — они хороши, если добры, если возбуждают в человеке чувство радости. Здание же вообще служит только нуждам человека — оно удовлетворяет его потребность. Вот и все. Но если здание связано со злом, то его разрушают в первую очередь. Вот поэтому от прекрасной Бастилии не осталось и камня. Стихи же не здание. Они излучение человеческой личности, его души, и если эта душа не принята народом, то как быть? Наверно, она не будет принята и теми, кто любит свой народ”.

Вот и сейчас с этими мыслями он пошел к дивану, лег, вытянулся, и постарался заснуть. И верно, сразу же заснул, а когда он снова открыл глаза, было уже настоящее утро, жгучие белые полосы и квадраты света лежали на паркете, на столе и его груди.

Зазвонил телефон. Он встал, встряхнулся и поднял трубку.

— Слушаю! — сказал он.

— Вы не забыли, что у нас сегодня заседание насчет университета? — раздался голос секретарши. — Мне уже звонили.

— Нет, не забыл. — сказал он. — Только вот что: соберемся у меня в кабинете. Так будет лучше.

Как только Акылбек Ахметжанович вошел в кабинет и подвинул к себе график посева зерновых на целине, к нему мягкой поступью вошла секретарша: — У вас почетный гость, Акылбек Ахметжанович, — сказала она

очень серьезно,— из ваших мест.— Причем только в глубине глаз ее вспыхивали смешинки,— сидит и ждет. Уже две пиалы чая выпил.

— Кто же? Неужели Кенен? — воскликнул Акылбек и даже чуть не вскочил с места. Секретарша кивнула головой.— Стойте, я сам его встречу,— и он быстро вышел в приемную.

Старик высокий, прямой сидел за столом и держал в руке голубую узорчатую пиалу (специально принесенную для него из буфета), и что-то втолковывал сидящему рядом с ним молодому стройному парню с тонким чистым продолговатым лицом и иссиня черными волосами.

— Кенеке! — воскликнул Акылбек, входя и протягивая ему руку.— Что же вы меня не известили? Я бы вас встретил.

— Здравствуйте! — серьезно сказал старик и поставил пиалу на стол.— Некогда тебе меня встречать, тебе работать надо! А я сам не маленький, доберусь!

У него было, словно высеченное на камне, бурое скульптурное, обветренное лицо человека, постоянно находящегося на солнце и на ветру, светлые глаза и седая с благородной желтизной пышная, слегка раздвоенная борода. А усы были длинные, висячие книзу. “Ну, старик,— подумал Акылбек,— он еще полсотни лет проживет — не изменится, и ведь морщинок тоже мало! А вот я-то...

И сам того не замечая, вдруг повел рукой по своим щекам.

— Так пойдёмте, пойдёмте,— сказал Акылбек и взглянул на юношу, — а вы, товарищ...

— Я из университета, комсорг факультета,— проговорил что-то юноша.

— А-а... Помню вас! — кивнул головой Акылбек.— Да, будем сегодня говорить, но сейчас... извините, вот аксакал...— юноша кивнул головой и встал.— Да побудьте где-нибудь здесь, я вас позову.

“Не меняется, не меняется, удивительно,— подумал Акылбек, всматриваясь в лицо старого акына,— я же его чуть ли не с детства знаю таким! Ну что ж? Человек степи и солнце, не то что мы горожане...”

Он провел его в кабинет, усадил в кресло, позвонил секретарше и попросил принести чаю.

— А вы не меняетесь, Кенеке,— сказал он.— Даже морщинок почти нет.

— Не туда смотришь,— серьезно сказал акын.— Ты в груди посмотри — задышка! Поднялся недавно на четвертый этаж и потом сидел долго.

— Так вы бы к доктору,— всполошился Акылбек,— слушайте, у нас сейчас открылось замечательное санаторное отделение, лечат по-новому. Что если бы...

— Оставь,— сказал старик,— са-на-то-рия,— он произнес это слово по слогам.— Вот 85 лет живу на свете и ни одного дня в этих са-на-то-риях не был. Когда орден вручали, хотели послать в Сочи,— и он усмехнулся,— в Сочи! — повторил он, и не выдержав, фыркнул и покачал головой.

Усмехнулся и Акылбек. Совершенно нельзя было представить этого старика среди гладкой курортной публики: на пляже, в пижаме под каким-нибудь брезентовым грибом или еще лучше — в шезлонге.

— Ага, смеешься,— сказал дед и вдруг улыбнулся тоже, и лицо его стало таким близким, родным, что Акылбек, сам того не замечая, сжал ему руку. Тот ответил на его пожатие и спросил:

— Как келин?

— Спасибо, спасибо,— ответил Акылбек,— когда вас ждать у нас?

— А вот справлюсь с делами и приду,— ответил старик опять серьезно.— С внучкой приду.— Я ведь с внучкой приехал. Был брат у меня, но тогда, в голод, уехал, пропал и ничего о нем я не знал, и вдруг внучка появилась. Приехала, разыскала... Купить ей кое-что надо тут... Замуж выходит. Вот сделает она что нужно, мы тогда и зайдем.

— Да я сейчас вам ...— Акылбек невольно потянулся к телефону.

— Нет сейчас не надо,— сказал старик.— У нее свои дела. Сделает свои дела, тогда зайдем,— сказал он твердо, четко, прекращая сразу же все разговоры на этот счет, И Акылбек послушно умолк. Старик всегда знал, чего он хотел, и слов зря не бросал. Он пережил многое: и четыре войны, и 1916 год, и становление Советской власти, и борьбу с белогвардейскими и националистическими бандитами, и, наконец, недоброй памяти 1937 год. Тогда он был арестован и несколько месяцев просидел в одиночке. А во время Великой Отечественной войны потерял любимого сына. Песню, которую он сложил об этой утрате, и до сих пор поют в народе.

Всю жизнь он пел, играл, славился веселым общительным характером, любил музыку, песню, шутку, даже розыгрыш, но шутов презирал и никогда ни с кем не доходил до панибратства. И от политической жизни страны тоже никогда не стоял в стороне. Был в свое время председателем реврайкома и видным деятелем союза бедноты, был и делегатом на различных конференциях. Все от мала до велика в тех краях, где родился и вырос Акылбек, почитали старого, мудрого и доброго Кенена, а в песнях на домбре так не знали даже ему равного...

— А ты вот что-то плохо выглядишь,— сказал старик и взял пиалу,— что, устал, наверное?

И подумав, Акылбек тихо сознался:

— Да! Устал очень.

— Отдыхать поедешь? — спросил старик, прихлебывая чай.

— Да нет! Куда уж тут! — воскликнул Акылбек,— уж как-нибудь потом, с женой, а сейчас нет...

— Да без хозяина в доме и собака сирота. Сейчас до лета уж сиди! — серьезно согласился старик,— ну как, в этом году будем с хлебом?

— Да вот с хлебом-то будем, конечно,— усмехнулся Акылбек,— а вот с товарным зерном...

Вчера перед сном он вышел в сад и увидел месяц. Он только родился, был чистый, узкий, блестел, как серьга, начищенная до фиолетового блеска, но не висел, а просто лежал, как ломоть арбуза на тарелке,— это была на редкость плохая сельскохозяйственная примета. “Месяц родился спиной вниз,— говорили старики,— ему удобно, нам будет неудобно”. И верно, такие зимы большей частью были морозными, свирепыми, с метелями и заносами. А между тем сейчас стояла тихая погода, снег три дня шел не переставая, весь город словно облачился в белое покрывало. Даже ветки на деревьях — они стояли как огромные белые грузные великаны — трещали и ломались от непосильного пушистого груза. По городу днем и ночью с ревом неслись самосвалы и снегоочистители, и везде стояли люди с лопатами, метлами и скребками. Да, если при таком снегопаде да еще продержалась бы мягкая погода, урожай был бы обеспечен, а вот сейчас еще как повезет.

— Я вчера выходил и на месяц смотрел, плохо он лежит, ковшом,— сказал Акылбек.

Старик осушил пиалу до конца, поставил ее на место, и только тогда сказал веско и уверенно:

— Ничего! Хлеб родится. Я тоже ходил, смотрел. Ничего! Родится, не бойся! А как у тебя с лошадьми? Кумыс будет?

— Лошадку в обиду не дадим,— усмехнулся Акылбек.

— Не надо давать! — серьезно подтвердил старик.

Это был давний разговор и каждый понимал друг друга с полуслова. Дело-то в том, что в первый год целины опять же Он потребовал сокращения до минимума конского поголовья: “Зачем нам лошади? — говорил Он.— Ведь мы живем в атомный век. Тягловая сила свой век отжила, теперь машины. Лошади нам нужны только что на мясо. Ну и оставьте себе, сколько вам нужно, а сохранять все эти огромные косяки...”

И требовал расширения свиноводства, птичьих ферм и стойлового хозяйства. А это в свою очередь упиралось в расширение посева кормовых,— во-первых, его излюбленной “царицы полей” — кукурузы (не давал покоя Ему пример Аргентины, сумевшей создать все свое национальное богатство именно на скоте, выкормленном кукурузными початками), а во-вторых, бобовых. Но в том-то и дело, что здесь, в степи, коневодство было самым дешевым и прибыльным. Ведь табуны почти круглый год ходят на подножном корме, только в очень суровые зимы, когда снег смерзается и сковывает землю сплошным ледяным панцирем, приходится подбрасывать сена. Так что конина в Казахстане стоит гораздо дешевле любого другого мяса. Кроме того, лошади дают кумыс.

— Будет кумыс? — повторил акын.

— Будет, будет, конечно, Кенеке. И кони будут, и овцы будут,— завершил Акылбек.— Все будет. Уж сейчас даем треть всей баранины стране,

а в этой пятилетке будем давать половину. Вот только бы луна нас не подвела.

— Луна тебя не подведет,— сказал старик уверенно и спокойно.

— Дал бы аллах. Ведь хлеб хлебом, а мясо мясом.

— Это так, но в неурожай и мяса не будет,— сказал старик.

Это он здорово подметил. Даже самый сильный падеж скота зимой был куда лучше неурожая. Молодняк за зиму подрастал и летом скота в стадах ходило почти столько же голов, что и до падежа, а вот неурожай, т.е. бескормица да еще на несколько лет подряд могла погубить вообще все животноводство.

— За зерном смотрим,— сказал Акылбек,— здорово смотрим, аксакал. Вот поставили себе задачу собрать миллиард пудов пшеницы. Только трудно это. Ветры дуют, чернозем выдувают, остается один камень да глина, вот в Павлодаре...

— Был там,— сказал старик,— сухая земля, ветер, ветер, пыль, пыль! Раньше там рощи были, заслон был, сейчас ничего нет. Так как будешь?

— Да так, конечно, и есть, как вы говорите. Пытаемся что-то сделать, травополье вводим — клевер сажаем, вносим удобрения. Спешим только очень, это плохо...— и они еще немного поговорили о том крае, о суховеях, о пылевых бурях, о земле, растрескавшейся от зноя, о том, что раньше идешь-идешь по степи, час, другой идешь, идешь и уж ночь близка, а кругом все одно и то же — ровное-ровное поле и кажется, что ты все время крутишься на одном месте. Только тюльпаны — они буйно цветут еще в самом начале мая — нежные, багровые лепестки облетают от первого неосторожного прикосновения, а стебель и листья жесткие, словно резиновые. Так и торчит из сухой растрескавшейся земли такая чашечка нежная, нежная, алая, алая...

— И теперь это еще кое-где есть,— сказал Акылбек.— Я видел: раскаленная растрескавшаяся земля, жесткая, сухая травка — поднесешь спичку, сразу вспыхнет — и вот среди этой щетины нежный-нежный юный пышный цветок. Не зря писатели взяли его маркой для своего издательства.

— Да, кстати, вот о писателях,— сказал Кенен и впервые не вскинул на Акылбека ясные лучистые глаза, а наоборот потупил их — есть у меня одна просьба,— он замолчал.

— Ну, ну,— подстегнул Акылбек.

— Да, просьба,— повторил старик,— для тебя она, конечно, может мелочь, ну, а для меня она очень многое. Подвожу я сейчас итоги своей жизни — лет я прожил немало и всю жизнь пел. Пел на тоях, пел на праздниках, пел для друзей, пел просто для народа, ведь у меня только и есть богатства, что песня. Так вот я хотел бы сейчас, чтоб все это было собрано в одной книге. Понимаешь, в руках я хотел бы подержать такую книгу, посмотреть на нее, детям показать.

— Сейчас, Кенеке,— сказал Акылбек и снял трубку.— Айбол? Здравствуйте! Ахметжанов! Вот сидит у меня Кенеке. Понимаешь, я подумал, что было бы очень неплохо, если бы вы могли отыскать все написанное им. Ах, вы уже собираете?! Ну, извини, я этого не знал. И как скоро думаете с этим справиться? Ну, отлично,— сказал он, кладя трубку и поворачиваясь к старику,— так, оказывается, они уже приступили к такой работе.

— Приступили,— улыбнулся старик,— работают вовсю. Я говорил с новым директором. Он понятливый. С полслова все схватил. И все же твой звонок не лишний. Эдак крепче дело будет. Время у нас сложное. Людям спокойнее, когда им позвонит начальство и прикажет. У них сразу резвость прибавляется. Спасибо, дорогой.

В этот момент вошла секретарша и разговор прервался.

— Вас просят взять трубку,— сказала она.

Чуть подождав, пока Акылбек взял трубку, она вышла.

— Слушаю,— сказал Ахметжанов.— Хорошо,— ответил он твердо, несколько минут молча прослушав,— придется строиться снова. Подготовьте проект письма.

Десять лет тому назад Он, побывав в Алма-Ате, походив по производствам, вдруг умилился, раздобрился и немедленно приказал обеспечить все население города жилплощадью. Тогда и началось на окраине города спешное строительство поселка, который так и называли по его имени. Состоял этот поселок из малогабаритных домиков — без санузлов и ванн. Ухнули на это дело большие средства, а люди жить в этих домиках не хотят. Не хотят жить и в квартирах в микрорайонах. Они тесны и неудобны, а звукопроводимость такая, что если где-то забивают гвоздь или двигают шкаф, ходит весь дом. Да и не забьешь тут гвоздь — приходится сверлить дыру — ведь все из панелей.

Вот сейчас звонил министр строительства с предложением перестроить Домостроительный комбинат. Ахметжанов согласился.

“Да,— подумал Акылбек, положив трубку,— придется звонить в Минфин СССР и кланчить внеочередное крупное капиталовложение на реконструкцию домостроительного комбината. Там, конечно, будут отнекиваться, скажут — вам уже отпускали на это средства, где вы тогда были, куда смотрели? Да, разговор будет неприятный, а все равно от него никуда не уйдешь”.

Он повернулся к старику.

— Да, чай у тебя хороший! — сказал Кенен, аккуратно налив себе полпиалы,— люблю!

— А вам Зура приготовила целую коробку такого,— сказал Акылбек Ахметжанович,— с цветом, индийский.

— Спасибо ей. Люблю. Арак сейчас пью мало, сердце, задышка! А чай — по десять пиал выпиваю. Ты что-то хотел сказать?

— Да не сказать, а спросить,— кивнул головой Акылбек,— тут ведь вот какое дело...

Он поближе сдвинул свою скамейку к нему и рассказал про собрание в актовом зале университета. А когда кончил — спросил:

— Так вот мне интересно, как вы смотрите на все это?

— На собрание? — взглянул старик.

— Да нет, собрание собранием, конечно, сгоряча ребята много ерунды напоролы. — А вот на реабилитацию их обоих — и Ахмета Байтурсунова и Магжана.

Старик помолчал и о чем-то подумал.

— Ты же знаешь, что когда-то я был членом ревкома и председателем комитета бедноты, и тогда насмерть боролся с Алаш-ордой.

— Вот поэтому и спрашиваю.

Старик задумчиво покачал головой.

— Видишь ли,— сказал он,— я не государственный деятель, в университетах не обучался. Не до того было. Так вот я скажу что-то, а ты подумаешь: экий беспринципный старик Кенен — совсем от старости рехнулся, все уж плохое готов забыть. Я ведь по одной мерке людей меряю — по человеческой, ты по другой — государственной — так, а? — он посмотрел на Акылбека.

— Ну что вы, Кенек,— искренне запротестовал Акылбек Ахметжанович,— именно вас мне и интересно послушать. А насчет государственной мерки и человеческой, то не так уж они и различны.

— Да? Ну я скажу тебе тогда по человеческой мерке. Во-первых, все плохое действительно скоро забывается, память хранит только хорошее, полезное — такая она мудрая штука. К тому же мы, казахи, говорим: “быть добрым — это значит быть мудрым”. Что теперь нам эта Алаш-орда? Покойник в гробу! Мы сильны, а сила всегда добра. Вот, говорят, даже царь амнистировал декабристов через 30 лет. Чем мы хуже царей? А талант всегда талант. Человек умер, а талант остался, в книгах его остался, в песнях его остался, в делах его остался. Теперь Магжан. Да кто из нас не зачитывался его лирикой в молодости? Наизусть мы его некоторые любовные стихи знали, с собой в сумках таскали, пели. Может, он сейчас и устарел — чего не знаю, о том не сужу — но это уж другое дело. Молодежь сама разберется, а запрещать его незачем. Ведь что получается: лежат стихи Магжана уж полстолетия и только силы набирают, как хорошее вино, а вот книги тех, кто выступил против — лежат на полке три года и останется от них только мутная бурая водичка, как в Или после дождя. Наверное, поэтому они и кричат. Нет, хорошее прятать не надо, а от плохого люди сами откажутся. Вот так по-моему.

— Значит, вы за реабилитацию их?

Старик покрутил головой.

— Слово-то уж больно мудреное ты сказал, из книги! Не было его у нас раньше. Я так скажу тебе — некого тут прощать и миловать. Некого! Нет его! Что было плохого, с ним и сгнило, а хорошее не его, а наше, и не его мы обидим, отказываясь от него, а самих себя.

“Да,— подумал Акылбек Ахметжанович, глядя на старика,— ах, Кенеке, ведь вы же сказали то же самое, что норвежский коммунист Мартин Наг. А тот ведь ученый человек, поэт и литературовед. Значит, вот что главное в человеке — мудрость, доброта и природный ум, потому что настоящий ум всегда добр. Да, как ни горько, а следует иногда вспомнить “Университет развивает все способности, в том числе и глупость”. Сколько раз мне приходилось вспоминать это”.

— Ну, мне надо идти,— сказал старик, отставив пиалу,— заболтался я с тобой. Внучка-то заждалась, наверное. Ну, жди в гости, позвоню. Жене и дочке привет!

— Я провожу вас, Кенеке,— сказал Акылбек и отворил дверь, пропуская акына вперед себя.

Заседание началось с общего доклада. Докладчик, кандидат наук, знаток новейшей истории Казахстана, начал что-то очень издали. Он сказал, что в 1916 году на германо-австрийском фронте создалась угрожающая обстановка. Театр военных действий требовал ежемесячной переброски на фронт 500 тысяч новобранцев, тогда как в резерве находилось всего на всего миллион двести штыков, сабель и винтовок. А мобилизационные способности страны, по официальным данным в те годы, вообще не превышали 430 тысяч. Тогда царское правительство прибегло к мобилизации так называемых инородцев. В данном случае казахов. Правда, их не посылали на линию огня, а привлекали к тыловым работам, но все равно народ это принял как нарушение царской грамоты 1834 года, написанной, как говорили казахи, на телячьей шкуре и освободившей казахов вообще от всякой воинской повинности. Началось восстание. Его давно следовало ожидать. Мобилизация на работы была только последней каплей. Это понимали даже наиболее ретивые буржуазные деятели. - “Игра на темных националистических инстинктах с обычными орудиями этой борьбы, с борьбой против инородцев получила небывалый простор под прикрытием нужд военного времени”. Это,— сказал докладчик,— я процитировал речь Милюкова на заседании Государственной Думы в 1916 году. Итак, восстание имело освободительный и общенациональный характер, иначе говоря, оно было исторически обусловлено. Но и как всякое стихийное народное движение; к нему примкнул не только весь народ и друзья народа, но и политические авантюристы и националистические маньяки. Я говорю,— сказал докладчик,— о том контрреволюционном правительстве, в кавычках, которое нарекло себя националистической Алаш-Ординской партией, и которую мы называем просто Алаш-Орда. Движение это было

путанное и неоднородное. И тогда, когда например, один депутат Первой Государственной Думы Букейханов и другой депутат Второй Думы Тынышпаев ратовали через газету “Казах” даже за создание особой казахской кавалерии, то есть поддерживали самодержавие в самом точном и прямом смысле слова, то другая часть провозглашала такой же самый полный разрыв с Россией. После Октября все эти противоречия потеряли всякое значение — Алаш-Орда перешла на позицию открытой контрреволюции и разговор о национальном освобождении уже не поднимался вообще, как впрочем, и о демократизме тоже. Задача стояла одна — бить красных. Собирались под этот флаг и просто бандиты. Так, главари Джимбейтинской алашординской организации братья Халил и Джанша Досмухаметовы грабили всех — и красных и белых — по популярному лозунгу тех лет: “Бей красных, пока не побелеют, бей белых, пока не покраснеют”. Вот к такому стану примкнули два казахских крупнейших деятеля — создатель первых учебников казахского языкознания и литературоведения Ахмет Байтурсунов и поэт Магжан Джумабаев. Я недаром их называю рядом. В их биографиях много общего. Оба они происходили из довольно богатых семей, оба закончили в свое время семинарии с золотыми медалями, только Байтурсунов духовную, а Магжан учительскую, а самое главное — оба писали на политическую тему под одними и теми же лозунгами, в одной и той же газете, только тюрколог редактировал эту газету, а поэт помещал там же свои стихи и поэмы. Но оба одинаково нетерпимо относились к Советской власти. При том если это было бы их ошибкой молодости или простым заблуждением в выборе классов, то многое им прощалось бы.

Тут произошло небольшое замешательство. Люди задвигались. — Вспомните Куприна! — Крикнул кто-то с места.

— А что мне вспоминать Куприна? — спросил докладчик.

— А то, что Куприн хотя был редактором “Приневской газеты” Юденича и писал в таком же духе, но все же это было его политическим заблуждением, а сейчас мы подписываемся на собрание его сочинений.

— Ну, а Бунин — то, — поддержал кто-то еще.

— А однотомник Бальмонта?

— Товарищи, товарищи, — Акылбек Ахметжанович постучал карандашом по графину. — Не надо сюда вносить столько страстей, докладчик же не выносит никаких рекомендаций, он просто докладывает о фактах. Прошу вас дальше.

— Ну так я, пожалуй, уже кончил, — повернулся к нему докладчик. — Сейчас я нарочно собрал все, что можно поставить в вину поэту Магжану и лингвисту Байтурсунову. Но их роднит еще одно: как бы неверно и даже политически сколько не вели они себя в те трудные дни, ни в каких военных авантюрах они не участвовали, оружия в руки не брали, кровью себя

не обагрили, и грехи их относятся всецело к области идеологии. Это не заговорщики, и не скрытые враги. А Магжан уж в начале 30-х годов открыто и публично признал свои ошибки. Его стихи того времени — одно из лучших его достижений в поэзии вообще. Вот на собрании в университете кто-то правильно вспомнил, что Брюсов называл Джумабаева казахским Блоком, а Горький приветствовал его лирику и переводы своих баллад “Песню о Буревестнике” и “Песню Сокола”. Это тоже сбрасывать со счетов не следует. При жизни Горького Магжана тоже судили, но Горький добивался его освобождения и только после смерти Алексея Максимовича Магжана снова взяли и отправили в ссылку. Видимо, это не случайность. Вот все, что я собирался доложить, — закончил оратор. — Если будут вопросы...

Вопросов не оказалось, и докладчик сел.

— Так, — сказал Акылбек Ахметжанович, — а теперь может быть, вы что-нибудь скажете, товарищ Логов?

— Я бы сначала послушал уважаемого нашего... — ответил Логов. Он посмотрел на писателя Жаубасарова.

Логов этот был большим Человеком в республике, и был тверд как камень. В таких вопросах, как идеологическое шатание никаких колебаний не знал. Все вырвал с корнем. Именно к нему, а не кому-нибудь другому и бросились два самых главных противника Магжана — Жаубасаров и Жанпеисов.

А Жаубасаров был, на самом деле, большим писателем. Он внес весомый вклад в казахскую литературу. В те годы советизации, когда умами людей еще владели жаркие привычные слова алаш-ординских писателей — Джумабаева, Аймаутова — в незрелом еще в классовом отношении в казахском ауле Жаубасаров как представитель бедняков, сумел дать бой алаш-орде несколькими своими великолепными произведениями. Он участвовал в гражданской войне, стал коммунистом, еще крепче стал закаленным идейным противником богатых. Он не признавал в художественной литературе ни общенародных мотивов, ни психологических или душевных колебаний; догматик, рассматривал всю диалектику жизни только с позиции твердой классовой борьбы: богач и бедняк. Поэтому он выступал против других произведений, где главными героями не были представители неимущего класса. Поэзию и дела Джумабаева знал хорошо, поэта считал своим идейным врагом. Что же касается Жанпеисова, то он участия в гражданской войне не принимал — был моложе маститого писателя лет на 10-12 — и с Магжаном потому не боролся, и не знал его поэзию, хотя фамилию поэта слышал часто. Но Жанпеисова тоже голыми руками не возьмешь, он тоже выступал на арене идеологических баталий в пятидесятых годах, когда обнаружилась националистическая ошибка в “Истории Казахской ССР”, выпущенной после Отечественной войны, — и часто выступал, часто разоблачал, клеймил “националистов”. Словом,

он тоже был закаленный товарищ в таких вопросах. В Магжане он видел не поэта, а просто врага. И собрание в актовом зале университета взорвало его очень сильно. Он был вполне согласен с Жаубасаровым, который сейчас выступление начал так: “Если наши профессора за реабилитацией алаш-ординцев апеллируют к студентам,— наше дело плохо. Мы что-то просмотрели и дали национализму опять поднять голову”. Тут Логов, человек быстрый, перебил оратора вопросом:

— И кто же, по-вашему, в этом виноват?

— Не кто, а что,— ответил маститый писатель,— причина этого, прежде всего, в нашей беспечности к вопросам идейного воспитания. Но, конечно, прежде виноват тот, кто стоит во главе нашего просвещения и культуры.— Он посмотрел на бледнолицего человека, сидящего в дальнем углу.— Ведь это он просил на помещение стихов Джумабаева в журнале, хорошо, что я успел вовремя вмешаться и задержать публикацию, иначе бы скандала не миновать.

И он в вольной передаче пересказал о звонке редактора к министру, и о последующем разговоре с министром по телефону.

— И это не просто ошибка,— мрачно подтвердил Жанпеисов с места,— а система. Завтра может быть уже поздно, надо действовать сейчас.

Всю эту историю Ахметжанов знал. Коротко говоря, она сводилась вот к чему: тут была какая-то доля и страха. Началось с того, что редактор, решившись на гражданский и литературный подвиг, после звонка Жаубасарова вдруг испугался и снял подборку. Но уже было поздно. Редактор-то подборку снял, а Ахмудов провел вечер в университете. Вот тут-то вмешался Логов. Он ничего, конечно, не боялся, но сразу же после разговора с Жанпеисовым и Жаубасаровым, поскольку он ведал и идеологией, позвонил Акылбеку Ахметжановичу. Тот выслушал его и ответил: это дело надо будет обсудить со всех сторон. Назначим специальное совещание и выслушаем обе стороны. Тогда решим, как и с кого что спрашивать.

А сам подумал, отходя от аппарата: Что за люди! Неужели их прошлое ничему не научило? Сколько было случаев, уж на их памяти, когда из какого-нибудь пустяка, оговорки, неверно понятого слова закипали страсти и начинались политические обвинения, делались крайние выводы и летели головы. Вся история нашей интеллигенции полна такими примерами. Стоит только подумать, что бы случилось с участниками этого вечера, если бы они устроили его лет десять тому назад? Да и сейчас наши охотники посрывать кое с кого головы.

Эта мысль пришла сейчас ему в голову, когда, он посмотрел на мрачное сосредоточенное лицо Логова. Да, от такого уж не жди пощады!

А Жаубасаров продолжал говорить.

Теперь он цитировал стихи Магжана. Стихи эти писались и печатались в годы гражданской войны. После этого, правда, были опубликованы совсем другие стихи поэта, и появилось его письмо в Центральный

Комитет, где он безоговорочно признавал все свои ошибки, но как раз об них-то Жаубасаров и не сказал ни слова. Он бил и бил аудиторию цитатами полувековой давности. И закончил так: “То, что произошло в университете это не только отвратительно, но еще и тревожно. Даже, пожалуй, страшно. То, что мы считали давным — давно похороненным и даже забытым, снова начало поднимать голову! Надо срубить эту змеиную голову!”.

И тогда Логов опять перебил его:

— Говорите поконкретнее, называйте имена.

И вот тут-то оратор (было видно, что он только и ждал это напоминание), назвал несколько имен, и прежде всего министра культуры. Разговор с ним по телефону был передан в таком упрощенном и категорическом виде, что всем словам министра, сказанным в сослагательном наклонении (я бы все-таки просил бы напечатать, и с большой вводной статьей и примечаниями”) была придана форма прямого требования или, в крайнем случае, просьбы. Есть детская игра “испорченный телефон”. Именно так и были искажены слова министра, передаваемые из уст в уста. Редактор исказил их, пересказывая своему начальству, начальство кое-что переиначило, пересказывая их Жаубасарову, а уж он дал свой совершенно свободный вариант, и получилось требование.

Именно с этих слов “Требование министра культуры” и начал свою речь Жанпеисов. Правда он, в начале своей речи остановился на творчестве Магжана Джумабаева, вернее, пересказал статью Жаубасарова тридцатых годов, когда он яро выступал против алаш-ординцев, переведенную на русский язык его референтом, но потом весь огонь своих слов сосредоточил на одном человеке - на министре культуры. Не довольно ли с ним вообще нянчиться? — спросил он грубо и прямо, — мы все знаем сколько он напугал в “Истории Казахской ССР”. Его восхваление хана-феода, залившего всю степь кровью и твердо решившего порвать с Россией, стоило нам очень дорого. Многие, принявшие на веру его концепцию, заплатились кто свободой, а кто и жизнью, Ведь сами знаете, какие это годы были. Только один он отделался легким испугом, хотя все началось именно с него. Так вот сейчас он опять контрабандой пытается протащить в нашу литературу главного идеолога Алаш-орды — Магжана Джумабаева. Отдает по телефону приказы печатать его! Устраивает вечера его памяти в битком набитой аудитории! Так вот я думаю: хватит! Пора покончить с этим культуртрегерством. А то мы и до худшего доживем.

После этого выступал Логов. Человек он был прямой, резкий, любил говорить правду, только правду, но сказать по существу так ничего и не смог, потому что творчества Магжана не знал совсем. Он только требовал “покончить”, и “ударить по рукам”, “так, чтоб впредь было неповадно”.

Когда он сел, наступила пауза. Надо было кончать, а на чем кончать, не знал никто. Одни требовали голов, другие — дальнейшего разбора. Ми-

нистр культуры и редактор журнала пытались что-то сказать в свое оправдание. А Ахмудов не присутствовал. Все остальные молчали. Теперь все зависело он председательствующего, как он выступит, что скажет какие выводы сделает.

Он выступил и сказал:

— Литература и искусство, — сказал Акылбек Ахметжанов, — области совершенно особые. В них готовых решений не бывает. Тут все индивидуально. А наказать или не наказать — эти слова тут и вообще не применимы, но вот разобраться в том, что случилось в университете, необходимо. Собрание заслуживает политического осуждения. Оно было, безусловно, устроено неправильно. В результате все вылилось во что-то стихийное, шумное и достаточно бестолковое. Получилось, как говорится, “много шума из ничего”. Да, было много случайных, необдуманных высказываний. Люди говорили горячо, давали реплики с мест, поэтому если вырвать из контекста несколько таких с пылу, с жару сказанных слов, то действительно можно сделать далеко идущие выводы и даже кого-то покарать, как этого и требуют некоторые дорогие наши товарищи... Но мне кажется, что это было бы совершенно не по существу. Наказаньем здесь ошибку не исправишь. Товарищи сами сделают необходимые выводы. За 50 лет мы все-таки многому научились и умеем различать что такое хорошо, а что такое плохо. У каждого из нас есть собственный судья — внутреннее чутье, политический такт, а в случаях принципиальных — и совесть. Вот пусть каждый выступивший после этого совещания и посоветуется с этими судьями. Тогда он, конечно, сам многое поймет. А мы еще и еще раз подумаем куда нам направить острие нашей идеологической работы на данном этапе. Что же касается того, не собьем ли мы этим или другими подобными собраниями нашу молодежь, если никого не накажем, то тут можно сказать только одно: надо больше работать с нашими ребятами, внимательнее приглядываться к ним, к их интересам, заставлять их читать и думать о нашем прошлом — они ведь гуманитары — историки, философы и филологи — да и не только думать и читать, но и учиться извлекать из этого прошлого уроки на сегодня. Тогда никакие алаш-ординские поэты и мыслители нам действительно не будут страшны. Что же касается в частности творчества в целом-то что мы можем сказать об этом сейчас? Вот на этом нашем совещании приводились и такие и этакое соображения, цитировались и такие и этакое стихи, а ведь кроме нашего маститого писателя — он посмотрел в сторону Жаубасарова — никто из нас с этим поэтом глубоко не знаком и, значит, никакого общего вывода сделать не можем. Мы же орган директивный, политический, а никак не творческий и не научный, поэтому о творчестве такого сложного поэта, как Магжан Джумабаев, прошедшего такой извилистый путь от ярого врага советской власти до ее признания, может быть, даже вынужденного — ровно ничего пока сказать не можем. Просто недостаточно компетентны. Так вот, по-

моему, решение, которое нам следует принять сегодня, таково: оставить прежнее заключение в силе, а что касается издания его политически не вредных, лучше лирических стихов, то поручить научно-исследовательскому институту литературы не торопясь изучить творчество этого поэта и сделать нам окончательный доклад, и тогда мы уже во всеоружии полного и политического понимания вернемся к этому вопросу и решим его по существу. Тогда наше решение будет компетентным. Вот говорили же тут, что Максим Горький вмешивался в судьбу Магжана. Так вы, всеми уважаемый аксакал, — опять быстро взглянул в сторону Жаубасарова, — не убедите меня, что Алексей Максимович делал это зря или с меньшим основанием, чем вы сейчас, требуя навсегда изгнать этого поэта из памяти людей. Нет, никак не убедите! Вот здесь говорили о том, как русский народ поступил со своими отступниками, своими заблудшими сыновьями. Скажу откровенно — обидно было мне слушать. Конечно, русский народ — великий народ — ему многое дозволено. Если у нас происходят такие заседания — значит, до него мы еще не доросли. Однако не это главное. Главное — нельзя Ахмета Байтурсунова и Магжана Джумабаева причислить в числа заблудившихся, простых политических отступников. Мы не можем забывать, что означала в нашей истории буржуазно-националистическая партия “Алаш” — тут, бесспорно, надо согласиться с той оценкой, которую дал ей здесь докладчик — а также мы не можем забыть тот вред, внесенный в сознание людей ее идеологами, как Магжан Джумабаев и Ахмет Байтурсунов, именно в те трудные годы для нашего народа. Но есть и другое соображение: коммунизм не возможен без гуманизма, добра и без дальнейшей демократизации нашего общества. Тем более эти люди были талантливыми. А к талантам у нас особое отношение. Вот почему некоторые сегодня колеблются или молчат, попросту, не знают, что делать! Ждут. Ну, что ж, видно и нам придется еще подождать. Так подождем и подумаем, ничего умнее этого сейчас, пожалуй и не придумаешь. Вот какое решение я бы предложил на сегодня.

Так закончилось это совещание в кабинете.

И все головы остались целы.

А через неделю Айбол был у Акылбека Ахметжановича.

— Правильно мы устроили совещание, — сказал Ахметжанов. — Многого мы выяснили и теперь знаем куда направить в первую очередь нашу идеологическую работу.

— Но ведь может случиться так, что не каждый поймет глубину ваших мыслей, — сказал Айбол, — то, что не приняли административных, репрессивных мер против устроителей вечера могут истолковать как косвенное оправдание Магжана.

— Глупости! — засмеялся Акылбек, — у нас люди сознательные.

“Конечно, глупости!” — подумал Айбол, еще не зная, что когда он напишет об этом эпизоде точно так же как здесь в одной из своих книг,

найдутся люди, которые скажут: “Партийные и научные оценки места в истории буржуазно-националистической партии “Алаш” и ее деятелей автор не принимает во внимание. Косвенно им выдвигается проблема о реабилитации алашординских литераторов А. Байтурсунова, М. Джумабаева”. Прочитав эти строки потом, он вспоминает слова Акылбека “У нас люди сознательные”. Да, да, у нас люди сознательные,— говорит он машинально.— И сознательные люди могут написать глупости...

Но это было потом, потом. А сейчас он был весь охвачен прошедшим совещанием.

— Говорят, было очень горячо?

— Да, да. Вот именно. Ну Жаубасарову я не удивляюсь, закаленный в классовой борьбе, тут он верен себе, а вот что Жанпеисов словно сбесился, я так и не пойму. Категорически требовал покончить с министром культуры...

— И я тоже,— ответил Айбол,— мне показалось, что он человек порядочный, а говорит явно с чужого голоса.

— Да, и видишь, что получилось? Человек этак заведется и не может остановиться. Так его и несет, несет. Помнишь, как у Чехова: “Умри, несчастная, к-р-р-рови жажду!”

Айбол вздохнул.

— Вы вот в шутку, а я часто думаю: сколько бы крови не пролилось, если бы в 32 году и в 37 находились вы в этом самом кабинете!

Акылбек посмотрел на часы.

— Эх, поговорили бы, да вот уже опаздываю, экстренное совещание у нас. Не знаю, дорогой, не знаю, что тебе и ответить. Пожалуй, моя голова и слетела бы тогда первой. Ты видишь, что совсем недавно до этого было не так далеко. Да и сейчас не всех успеваешь сбересть. Министр культуры сразу свалился. Как приехал с того собрания, так и рухнул.

— Сердце?

— Наверное. Надо позвонить, узнать. Он же давно болеет чем-то очень серьезным. И знаешь, мне почему-то кажется, он уже не встанет.

— Ой, не надо так говорить! — отмахнулся Айбол.— Я насчет этого суеверный.

Акылбек махнул рукой.

— А я уж и думать забыл обо всех этих приметах, столько у меня их каждый день! Если бы хоть десять процентов из них сбывалось... Да, хорошо, если бы он поднялся.

Но министр больше не поднялся, хотя еще пролежал два года. Для него, страдающего долгие годы каким-то неизлечимым недугом, это совещание в кабинете Ахметжанова оказалось последним. А через два года скончался и знаменитый Жаубасаров.

Казахи говорят: смерть всегда приходит преждевременно. Он написал много хороших книг. Был человеком страстным, горячим, порой слиш-

ком придиричивым, и с подлинным жаром — жаром души и тела — бился с теми, кто как ему казалось, шел против него, ибо непоколебимо верил, что в его руках истина и те, кто выступает против него — выступают против истины и народа.

Мир же праху его. Он был большим человеком.

Все остальные живут и работают.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Из записок писателя Айбола.

“Вот и кончились мои тихие спокойные дни, и попал мой утлый кораблик в полосу ураганов! Да еще каких! Таких уже давно не видели в этом тишайшем учреждении, в котором я работаю. Началось с того, что председатель Госкомитета по печати позвонил в типографию и приказал задержать весь тираж моего нового романа.

— И чтоб ни одна книжечка не вышла со склада, понимаете, ни одна, — кричал он. — Я сам прослежу! А то я знаю, как бывает! Эти библиографы, библиофилы, литературоведы... Так что под вашу личную ответственность! Будем сдавать под суд!

И по другому телефону редакторам:

— Кто разрешил ее печатать! (Да он сам и разрешил. В плане, подписанном им, моя книга шла под номером девятнадцатым. Но сейчас он все, разумеется, забыл). Кто рецензировал? Фамилии мне, фамилии! Да мы за такие штуки будем головы, головы... Додумались! Не хватало еще издавать националистическую мазню!

И еще куда-то:

— Воспевать Кенесары! Оправдывать этого бандита и душителя! Все, все приостановить до моего особого распоряжения!

И покатился, полетел ком по издательству. По всем коридорам и отделам его.

— Скандал, огромный скандал! — шептали редакторы.

— Книга самого директора! — ахали секретарши.

— Под нож все издание! Массовый тираж! Это какой же убыток! Такого с тридцать седьмого года не слыхано! — пугались и пугали себя этаким выше в коридорах Союза писателей.

И дальше катился ком по улицам и домам, и в домах уже смеялись, хихикали, злорадствовали, качали головами.

— Да, показал себя наш Айболчик! — говорили улыбаясь недоброжелатели. — Пользуясь служебным положением, протащил свою явно националистическую книгу в печать да еще пустил ее массовым тиражом... Что за это бывает? Уголовное дело! Должностное преступление! За решетку просится.

— Кенесары и не таких героев загонял в могилу, — меланхолически говорили другие, многое пережившие и видевшие.

— Appetit большой,— ухмылялись трети.— “Волк евши никогда костей не разбирает”, это еще сто лет тому назад Крылов заметил. Вот и дожрался. Когда глотаешь — соразмеряй кость со своей задницей,— говорят в степи.

Были, конечно и просто соболезнующие. Еще бы! Только человек поднялся, нащупал под ногой твердое место и вот надо же! Так сорваться! Эх, Айбол, Айбол, умная у тебя голова, да дураку досталась. Тебе что, современности не хватило? — и качали головами, и осуждали, несмотря на сочувствие.

Когда я пришел и рассказал об этом Дамиле, она только грустно улыбнулась.

— Ах, вот оно что! То-то я удивляюсь. Так вот: Ханалиевы больше не ждут нас в воскресенье. Сегодня позвонила его жена, сказала, что они не могут нас принять. Дочка, мол, слегла. Большая температура и все такое. Такая, мол, неприятность. Так хотелось бы нас увидеть, и вот надо же...

— Так может она правда больна,— сказал я.

— Да я ее сегодня видела. Купалась в бассейне Дома пионеров. Я еще удивилась: ну, думаю, или кто-то что-то про тебя насплетничал, или ты ее мужа прижал. А оно вот, значит, что! Просто боятся.

— Да, плохо дело,— сказал я,— ах как все-таки силен дух тридцать седьмого года! Стоит кому-то звякнуть про тебя по телефону что-то и друзья сразу бросаются врассыпную. А ведь Ханалиев храбрый человек. Партизан! Герой! Вся грудь в орденах! — Дамиля тихонько вздохнула, подошла и обняла меня за плечи.

— Там, на войне, другая храбрость нужна. А здесь такие как он и от своих теней шарахаются. Так что держись!

Я поцеловал ее в щеку.

— Постараюсь, да уж больно все это погано.

Она погладила меня по волосам.

— А ты что думал? Помнишь наш разговор? Я же тебя уговаривала, а ты стоял на своем. Ну вот и настоял. И теперь ходу назад уж нет. Книга издана. Хорошая книга, это мы с тобой знаем. Так что не давай себя топтать сапогами. Не то время! Это ты сам мне говорил.

“Эх, Дамиля, Дамиля! Помню, что я тебе тогда говорил, весь этот разговор до словечка помню! Только ведь не легче от этого. Конечно, время не то, и люди не те, и я уж не тот, и за свою правду буду биться до последнего дыхания. Но все-таки, все-таки! Так что ты прости меня, Дамиля, если что опять получится не так. Но и то сказать, ты и не такое уж пережила!

Из записок писателя Айбола.

“Разговор этот случился за ужином. Я долго колебался, прежде чем сказать Дамиле о том, что я задумал — я же знал ее реакцию. Но сказать все-таки было необходимо. Дело в том, что лет мне было уже немало, а за свою главную книгу я так еще и не принимался. А думал о ней давно. Да и

было о чем думать, ведь я хотел создать не роман, а эпопею. И охватывать эта эпопея должна была не какую-нибудь отдельную жизнь, и даже не одну историческую эпоху, а все основные, так сказать, творческие этапы нашей истории от средневековья до современности. И вот еще какая мысль у меня возникала: казахи никогда не вели летописей, не было у них историков. Были только устные предания и песни, могучий казахский эпос. Но как всякий фольклор, он требовал анализа, проверки, сличения с другими письменными свидетельствами и документами. И проверять их надо было кропотливо, исходя из письменных памятников соседей, друзей и врагов — вот именно это я и собирался сделать: создать первую художественную историю моего народа. Задача была трудности необычайной, но именно это и окрыляло меня. Я отлично помнил слова Ленина о фактах, взятых отдельно, которые не что иное, как просто игрушечки, и о фактах, взятых во всей цельности и в своей совокупности, которые безусловно, вещь доказательная. Вот я и был уверен, что вся беда наших горе-историков в том и состояла, что они оперировали как фокусники с этими малыми и милыми игрушечками и старались построить из них как из кубиков грандиозное здание теории. А совокупность фактов, система истории, т.е. настоящая марксистская историософия были им недоступны (но сдавали же они — неучи и прагматики! — зачеты и даже писали работы об историческом материализме!). История ведь отнюдь не сумма слагаемых, думал я, а нечто совершенно цельное единое, несмотря на то, что огромную силу приобретают в ней зачастую именно “частные случаи”, отдельные факты. Но в том-то и сущность ее, что все эти факты и фактики движутся, текут, сливаются друг с другом как капли дождя или ручейки от таянья льдов, и наконец, в какой-то момент прорывает гигантскую подоблачную чашу морены — бегут, режут, обрушиваются с облаков на землю, сметая все со своего пути, и потом где-то далеко-далеко от места рожденья — в городе ли, в пригороде ли, в низине ли, исчерпав всю свою силу или встретив неделимую преграду смиряются, стихают и послушно ложатся ниц, удобряя собой землю. А потом появляются на этом месте тихие сады и рощи, пашни и луга, и люди удивляются — откуда же взялось здесь это зеленое чудо? Вот этот процесс незаметного накопления мелких величин, катастрофический взрыв их, когда они достигают известной критической массы, а затем пора равновесия и расцвета — всю эту великолепную диалектику работы истории я и собирался описать в своем новом романе. Думал я о нем давно. Как-то еще в студенческие годы мне попались пометки Ленина на конспекте лекций Гегеля по философии истории. Вот что написал Гегель. “Мы видим огромную массу какого-то общего интереса, которая тяжело движется вперед, но еще чаще бесконечное напряжение малых сил, которые из-за того, что кажутся незначительными, порождают нечто грандиозное (вот вам сила “частных случаев” и рождение истории). Повсюду пестрое зрелище и стоит чему-нибудь одному исчезнуть, как на его место

становится другое... Какова же цель всех этих единичных событий?.. Не происходит ли под громким шумом этой поверхности работа и создание внутреннего тихого тайного произведения, в котором сохранена существенная сила всех этих преходящих историй". Это Гегель написал в 1830 году — а в 1914 или 1915 году Ленин, конспектируя этот абзац, написал на полях своих записей: "очень хорошо" и еще раз: "очень важно".

Да и мне показалось, что все это очень хорошо, очень важно и точно. Книга эта — "философские тетради" до сих пор находятся у меня. Несмотря на все перипетии моей все-таки далеко не гладкой жизни, я пронес ее через все.

Вот именно так мне и хотелось подойти к истории моего народа. Показать в ней то главное, что двигало его во все века поверх набегов, голода, войн, опустошений — в века Чингиз-хана, Тамерлана, Кенесары.

— Милая Дамиля,— сказал я,— я все знаю и понимаю, и ко всему готов. Но писать я все-таки должен. Видимо, писательство это какой-то вид одержимости, интоксикации организма идеей что ли? Вот копится, копится годами яд, а потом ударяет в голову и тогда уж ничего не поделаешь. Тема начала в тебе работать, и если ты не покоришься ей, то ты будешь самый несчастный человек на свете, и никогда ты уж больше не напишешь ничего настоящего. Это как дезертирство с линии огня, а я дезертиром никогда не был. Тут другое — сумею ли я справиться с темой, примет ли ее читатель? Не замahнулся ли я на слишком многое? Не знаю, дорогая, но тут уж все пусть будет, по словам Сомерсета Моэма: "Вот я написал книгу. Пусть ее читают те, кому она нравится, а остальные как хотят".

Дамиля молчала и смотрела на свои руки.

— Тема, конечно, коварная,— продолжал я,— браться за нее, это что по карнизу ходить. Один шаг и полетел. Но, понимаешь, я почему-то верю в себя. Риск, конечно, есть, но он как риск полководца — вот стоит крепость и надо ее взять. Возьмешь — победа, не возьмешь — поражение, и, может быть, смерть. И вот тут нужна решимость. Говорят же казахи, что отважная лодка и океан переплывет.

Дамиля подняла голову:

— И у тебя есть эта отвага?

— Есть, милая, есть! А потом... далеко не все так страшно, как сейчас кажется. Есть же Главлит, авторитетные органы, рецензенты, ученые — знаешь сколько людей ее будут читать? Тут до издания год пройдет. Ну что ты опять?

— А решат не печатать — что тогда? Сколько сил пропадет напрасно... И значит опять бессонные ночи, бред во сне, вскакивание с постели? Вечно погруженность в себя. И все зря! Зря! Слушай, ты уж не молодой. Эти штучки дорого тебе стоят.

— А моя профессия вообще очень дорогая,— улыбнулся я.— И тут уж ничего не поделаешь. Не напечатают — будет лежать на столе. Ждать свое-

го времени. Дождется — напечатают. Тут главное — сознание: я не сбежал с поля боя, я собрался и пошел брать свою крепость. Честно исполнил долг перед собой и своим народом! Знаешь, сколько стоит такое сознание?! А иначе я не успокоюсь. Тень нерожденного произведения — знаешь какой это страшный призрак! Жезтырнак! Существо со стальными когтями!

Но Дамиля уже улыбалась.

— Ну что ты за человек, Айбол! — сказала она мне, — мучаешь себя! Изводишь всякими невозможными мыслями! Я бы просто выбросила из головы то, что невозможно. Раз нельзя так и нельзя. И говорить тут не о чем, и думать об этом незачем. И сразу бы тебе стало легче, а?

— Нет, Дамиля, — сказал я кротко, — мне легче именно так, — думать.”

Айбол все же решил бороться и свести кое с кем счеты. Нет, в самом деле, он тоже может написать, протестовать... Но Айбол глянул на себя со стороны. Да он ли это? Умный, ироничный, сдержанный Айбол, умевший приподняться над суетой сует. Умевший размышлять о судьбах одного человека и всего народа. Он сравнивал прежнего и теперешнего Айбола и пытался понять, как все это выглядело бы. Прежний Айбол казался ему богатырем, идущим в гору, несущим нелегкую, но желанную ношу писательского труда. И вся эта свара, которую затевали вокруг его книг, казалась ему недостойной внимания. Теперешний Айбол, готовый увязаться в спорах-раздорах, стать автором не книг, а филиппик. Какой там богатырь — жук-древоточец, короед, готовый подточить опоры оппонентов-недоброжелателей. Где же ты, прежний Айбол?..

И отчего-то вновь и вновь вставала перед ним во весь свой рост фигура Акылбека Ахметжанова.

Из записок писателя Айбола.

“Это было в те дни, когда Кусепов и Айгаков затеяли против Ахметжанова очередную свару. Я удивился и спросил, до чего спокойно говорит об этом Акылбек и никаких не принимает мер?

— А время? — усмехнулся он.

— Что значит — время? — не понял я.

— Я говорю: где взять время на всю эту... возню?

— Ну, знаете ли!.. Когда речь идет о вашей личной судьбе, можно выкроить время.

Он улыбнулся:

— Моя личная судьба... Что-то очень уж громко сказано. Я еще допускаю, можно всерьез говорить о судьбе народа, о судьбе страны. А наши личные судьбы... Хотя ты, наверное, прав. Думать надо и о себе. Но ведь не получается. Вот ночью сегодня начал думать. Мыслей невпроворот. И все они знаешь о чем?

— Нетрудно догадаться. У вас столько “доброжелателей”, что...

— Нет, нет! — перебил меня Акылбек. — Ну их... А думал я о целине.

— О чем? — нет, Акылбек Ахметжанов удивит кого хочешь. — Так,

так. О целине, значит, думали. Но, во-первых, мы ее уже освоили. А во-вторых...

— Погоди. Ты говоришь — освоили. Очевидно, ты имеешь ввиду те двадцать три миллиона гектаров, которые мы подняли?...— оживился он.— Ты прав, конечно. Дело сделано. И какое дело! Грандиозное. Это был действительно всенародный подвиг. Правда, проблем тут еще немало. Прежде всего, надо, чтобы урожай целинный стал стабильным. Ученые ломают голову, какие лучше высевать семена, как сохранить плодородие почвы, как правильное вести посев, уборку. И не только ученые, но и сами целинники-хлеборобы и механизаторы бьются над решением этих проблем. Они, как говорится, не сходят с повестки дня, тут думать нужно ежедневно, ежедневно. Речь-то идет о главном — о хлебе. Но все это — Большая целина. Я думал не о ней.

— То есть?

— О малой целине я думал.

— Не понимаю.

— Сейчас поймешь. Ответь мне сначала на один вопрос из учебника географии. Какую территорию занимает Казахстан в Советском Союзе?

— Самую большую после РСФСР.

— Правильно. У нас двести двадцать миллионов гектаров земли! Из них знаешь сколько сельскохозяйственных угодий? Сто девяносто миллионов гектаров! Пол-Европы! Остальное — пески и горные массивы. Ученые подсчитали: из этих угодий примерно сорок миллионов гектаров — пашня. Остальные — пастбища. А из этих сорока миллионов гектаров мы уже освоили тридцать пять: двадцать пять миллионов под зерно, десять — под бобовые, кукурузу и картофель. То есть восемьдесят процентов нашей пашни заняты под пшеницу. А на самом деле у нас пашенных земель больше. По моим подсчетам минимум сорок пять миллионов гектаров. Ты же из Центрального Казахстана, наверняка знаешь, сколько там еще пустующих земель? Вот и возьмем у Кургальжино, Каракоин Кашырлы,— особенно земли, где протекают реки Терисакан и Кулан Отпес. Там травы по колено. Земля пустует. А возьми угодья у Ериментау, у самой целиноградской области, где река Суленты...

— Знаю и я эти места,— улыбнулся Айбол,— агрономы мне говорили, что земля у Суленты хорошая, но влаги мало. Говорили, что на один квадратный метр нужно триста пятьдесят миллиметров, а там, кажется, около ста пятидесяти... Что же касается Кашырлы — это моя родина. Травы, действительно, выше колен и таких, как Терисакан и Кулан Отпес мелких рек не мало,— Айбол опять улыбнулся.— Но несмотря на то, что я там родился, говорят, что пшеницы нынче не будет, потому что земля багорная...

— Что значит багорная земля? — оживился Ахметжанов.— Надо уметь использовать снегозадержание, подбирать нужные сорта семян. Когда мы хотели организовать в Талды-Кургане Капальский зерносовхоз, мно-

гие говорили, что не будет расти пшеница, что там багорная полоса. А там сегодня берут по двадцати одному центнеру с гектара пшеницы! Люди нашли дорогу к земле! А что было с совхозом “Изобильным” в Целинном крае? Даже ученые говорили, что земля степная. А сегодня? Одно название “Изобильный” само за себя говорит!

Акылбек на минутку задумался.

— Теперь о неосвоенных землях... Ведь Большая целина — всего-навсего шесть областей Казахстана. А у нас их шестнадцать. Ты не задумывался: сколько в каждой из областей есть хороших земель, пригодных для посева, но еще не освоенных? Сейчас ученые подсчитывают эти резервы. Теперь представь: что, если мы, используя опыт Большой целины, поднимаем малую, те что есть в каждой области? Без шума, без крика — в рабочем, так сказать, порядке. Вот как ты думаешь, во сколько раз мы увеличим тогда производство зерна в Казахстане, конечно, с учетом повышения урожайности и в освоенных землях? Со временем почти в два раза!

— Грандиозно! — я был потрясен.

— Теперь ты понял, о чем я говорю! — усмехнулся Акылбек. И посерьезнел: — Задача, конечно, нелегкая. У каждой области своя специфика. Вот, хотя бы, Кызыл-ординская. Сколько там пустующих земель? Но без воды, без орошения их не освоить. А где ее брать, воду? Проблема... А вот Мангышлакская степь, можно сказать, у моря, воды предостаточно. Но там другая беда...

— Любопытно.

— Помнишь, когда шли споры о наших южных районах, я говорил, что они важны для нас еще и как маяки в освоении Мангышлакской степи. Хлопковые плантации и сады — вот будущее Мангышлака, особенно Каспийской прибрежной полосы. Но... но сегодня мы не можем освоить ни гектара этой поистине бесценной земли. Соль — вот беда пока неодолимая. Здесь оседает ежегодно на каждом гектаре по три с половиной тонны соли. Какой уж тут хлопок... Однако не все так безнадежно. Если действовать с умом, то и соль не будет помехой. Например, египетский хлопок не боится кислотности земли. Да что там говорить! Если бы наши специалисты были поразворотливее, то и сегодня можно было бы засеять хлопком Улакскую долину. А это ни мало ни много двадцать пять тысяч гектаров. Кстати, там и пресной воды достаточно, и солнца вдоволь. Вот только инициатива в дефиците. Некому подсказать, подтолкнуть, подстегнуть...

— Минутку. Хлопок, садоводство... Для Казахстана самое главное — зерно. Я так понимаю.

— Правильно! — подхватил Акылбек. — Но ведь и в Мангышлакской степи можно научиться выращивать хлеб. Сколько там нераспаханной земли...

— Угу. А сколько соли!..

— Зато есть вода,— возразил Акылбек.— Американцы вывели сорта пшеницы, которые можно орошать океанской водой. И получать при этом 30—40 центнеров с гектара. А мы что, льком шиты? Неужели и мы не сумеем приспособить морскую воду для полива? Надо подумать хорошенько, как это сделать. Подумать... Вот я и думал сегодня ночью. Думал о том, что надо снова организовать в республике филиал ВАСХНИИЛ, чтобы научно прогнозировать завтрашний день в сельском хозяйстве, жить с ясной перспективой. Казахстан становится космической индустриальной державой. И сельское хозяйство у нас должно быть тоже на уровне требований века. Учти при этом, что и животноводство должно шагнуть в республике вперед...”

Айбол в тот день еще раз поразился масштабности мышления Акылбека Ахметжанова. Он даже, помнится, сказал ему:

— А стоит ли так уже тревожиться? В конце концов, республика достигла в экономике таких высот, какие и не снились. Все так отлажено, что думай — не думай, дело будет идти своим чередом.

— Нет, нет,— горячо возразил Акылбек.— Самотек недопустим. Ты видишь, какими темпами мы движемся вперед? И темпы наши убыстряются. А это ставит перед нами новые проблемы, решать их надо тоже поновому. А значит нужно думать, думать... Да взять все тот же Мангышлак. Давно ли мы начали осваивать Мангышлакскую нефть? Буквально вчера. Но проблемы сегодня там стоят перед нами уже совсем другие. Сегодня мы уже не хотим брать нефть лишь с семисот тысячеметровой глубины. Да при наших темпах добычи надолго ли хватит ее запасов на этих глубинах?..

— Вот-вот! — оживился Айбол.— Говорят ресурсы Мангышлака иссякают.

— Чушь! — засмеялся Акылбек.— Мы едва-едва прикоснулись к нефтеносной кладовой Мангышлака. Мы берем сейчас лишь самую верхнюю нефть. И на сегодня нами разведан по настоящему только Жетибайский соляной купол. А сколько таких куполов на Мангышлаке? Этого сами геологи точно не могут сказать пока. Необходимо более глубокое бурение. А на него нужны средства. А этих средств сегодня мы отпустить не можем. Они запланированы на другие цели. Жилищное строительство. Дорожное. Новые промышленные комплексы. Да, да, все это запланировано загодя. Но в перспективе — не за горами то время, когда мы займемся более детально и глубоким бурением. Так что богатства Мангышлака от нас не уйдут.

Ахметжанов вдруг остановился и задумчиво посмотрел на Айбола:

— С чего это у нас с тобой начался разговор?..

И оба рассмеялись.

— Вот и попробуй после всех этих дум, которые в голове не умещаются, помнить о себе и о какой-то мелкой сваре незадачливых людишек.

Подумал про Акылбека, и словно окно распахнул в душевной комна-

те. Какая, в сущности, все это чепуха: неумная газетная статейка, мелкие околотературные споры и разговоры. Как все это ничтожно по сравнению с тем, что он хотел создать.

В тот же вечер он приступил к работе над новым романом.

Да! Да! Что его спасало всегда — так это работа. Взявшись за нее, он уходил с головой в свой мир, и уже мало думал о собственных невзгодах — они оставались где-то за пределами письменного стола и листа бумаги, над которым он иногда сидел до самого рассвета. Работал он туго и медленно, проверяя на слух и на вкус каждую фразу, но это тоже было хорошо. Он терпеть не мог борзописцев и зачастую переписывал страницу по пяти и даже по десяти раз. А днем ходил на работу и высиживал все восемь часов, два часа он отводил себе на отдых и шесть на ночную работу. Так продолжалось ровно полгода, и в течении этого полугодия он ни разу не сломал этот железный график. Теперь его сутки состояли из четырех слагаемых — служба, отдых, работа и сон. Через все издательские пороги, инстанции и рогатки книга его прошла очень скоро. Айбол принял это как должное. Он твердо знал, что этот его роман — самое лучшее из того, что он написал до сих пор, и был уверен, что читатель его тоже примет. И не какой-нибудь читатель, любитель развлекательного жанра, а именно его собственный читатель. Что же касается критики и всего остального, то что же? Тут он твердо придерживался пушкинского правила: “Ты сам свой высший суд”. Потом критика об этом произведении писала так: “Новый роман Айбола повествует о событии, потрясшем казахскую степь в середине сороковых годов прошлого века: восстание Кенесары Касымова. По своему классовому характеру это было движение феодальное, поднятое во имя защиты сословных и националистических интересов феодальной верхушки. Но в силу острых социальных противоречий, существовавших в степи, к восстанию примкнули и широкие круги казахского населения вообще. Это в самом начальном периоде придало столь узкоклассовому восстанию народный характер. Именно эту сложную противоречивую реальность и исследует в своем романе писатель. Разобраться в нем нелегко, но писатель все-таки разобрался. Его исторические, социальные, да и попросту моральные оценки отдельных лиц и всего движения в целом возражений не вызывают. Он отлично знает материал, свободно с ним обращается, делает исторические и социально бесспорные выводы и поэтому на его книгу можно смотреть не только как на творение художника, но и как на труд ученого. В ликвидации белых пятен этой смутной и далеко еще не изученной поры роману Айбола, бесспорно, принадлежит очень почетное место”. Такова была итоговая оценка, данная роману Айбола через несколько лет после его выхода. Но в том-то и дело, что это случилось именно через несколько лет.

А сразу произошло нечто совсем другое. Книга еще и со склада не вышла, к Акылбеку Ахметжановичу пришел некий довольно известный про-

фессор. Про него знали одно: что он эрудит, марксист, непримиримый борец с национализмом. Его острые и глубокие статьи печатались в самых авторитетных партийных журналах и газетах. С Акылбеком они были давние знакомые и даже одно время работали вместе в Совмине.

— Слушай,— сказал он Акылбеку.— Тойныбаев мне только что звонил по телефону, он читал новый роман этого... как его? Айбола.

Акылбек был в отличном настроении: он только что получил очень хорошие сведения из Караганды.

— Айбола? — переспросил он.— Что ж он написал такого? Смотри, выпустил книгу, и так ничего мне и не сказал. Или она еще не вышла?

— Да в том-то и беда, что вышла. А то что не поднес он ее тебе, понятно почему — это же националистический роман!

Акылбек покрутил головой.

— Фу ты, дьявол, как надоел мне этот национализм! Как кто с кем хочет свести счеты, так обязательно обзовет его националистом... О чем роман-то?

— О восстании Кенесары Касымова.

— Ну и что?

— А то, что он этого бандита представляет народным героем. То есть, понимаешь, он ревизует решение нашего ЦК о "Истории Казахской ССР". По-моему, его еще не отменили, так?

— Так-то так, но ты сам роман читал или говоришь со слов Тойныбаева?

— Ну и что из того, что я не читал роман, я верю Тойныбаеву.

— Да? Ну, а я не особенно, специалист он плохой. В особенности по этим вопросам. Это уж не первый раз он поднимает шум вокруг Кенесары. В пятидесятом году он тоже шумел, и помнишь сколько людей из-за него погибло,— Акылбек слегка ударил ладонью по столу и поднялся.— Ладно, поговорим, разберемся.

И в обеденный перерыв в правительственной столовой, сидя с ведущими работниками республики, вдруг сказал:

— У меня сегодня был профессор...— он назвал фамилию профессора.— Сигнализировал о писателе Айболе.

— А что? — спросил ответственный работник по печати.

— Да вот написал книгу о Кенесары. Будто бы обеляет его. Не верится мне что-то.

— Профессор,— ответственный работник по печати тоже назвал фамилию профессора,— зря не скажет,— и пожал плечами.

— Да в том-то и беда, что не читал ее наш дорогой профессор. Ее Тойныбаев читал. А профессор просто пришел просигнализировать.

— А-а,— засмеялся кто-то из понимающих. За ним засмеялись и другие.

— Так вот, товарищи, нам необходимо во всем этом разобраться,— продолжал Акылбек переждав смех.— Айбола мы знаем: два его романа о современности со счетов не сбросишь. И то, что он получил Государствен-

когда-то, иногда даже такие подробности всплывают: с таким-то там встретился, там-то заночевал. Слушай, откуда это у тебя? Ну что ты смеешься? Я что-то не то сказал?

А я верно, смеялся.

— Да нет, все то, только ведь это мой родной край! Я и родился в одном из этих закоулков, крошечном, никому не ведомом ауле, и вот с тех пор, как стал себя помнить, слышал имя Кенесары. В годы моего детства были еще живы старики, которые, конечно, со слов отцов рассказывали о его делах. Правда, аллах его ведает, сколько тут было правды и сколько вымысла! Но все, что слышал, я запоминал, а что запоминал, так или иначе вошло в мои книги. Тут уж я дорожил каждым словом. Для меня такое слово было живым впечатлением современника.

Пока я говорил, он задумчиво кивал головой.

— Да, да, понимаю,— сказал он,— воспоминания детства, потому тебе все так и удалось. Читаешь и чувствуешь — да, так действительно было.

А вечером мне позвонил один из работников Большого дома, ведущий печатню Жокебаев.

— Раньше я тебя ободрял просто как критик, а теперь звоню уж официально,— сказал он,— сегодня нами дано указание выпустить твою книгу из типографии. Пусть работники издательства договорятся с книготоргом.

— А председатель Госкомитета знает об этом? — спросил я.

— Даже раньше тебя. Я ему первому позвонил. И ты знаешь? Он обрадовался. “Ну и хорошо,— говорит,— я книгу эту всю ночь читал, ведь роман-то по-настоящему хороший. Это мы дураки с перепугу что-то потеряли голову”. Так что поздравляю тебя, дорогой, действуй!

Книга поступила в магазины через пару дней, а еще через неделю ее не стало. Казахи — читающий народ, подобные случаи у нас бывали не однажды. Мне говорили, что вскоре после Октября, когда вышла пьеса “Несчастливая Жамал”, — может быть первым произведением о горькой женской доле в феодальном ауле — стояли очереди с утра. Тема ее была острая, нужная, наболевшая. Люди читали книгу и плакали. Да, но она-то была напечатана всего-навсего в тысячу экземпляров (для тех лет это была невероятная цифра!), а моя вышла в тираже в шестьдесят раз большем...!

Да, народ любит свою историю и уважает тех, кто умеет писать о ней просто, ясно и правдиво — это я почувствовал в ту пору, когда стоял в магазине и смотрел, как разбирают мои книги.

Это были минуты полного счастья”.

“Нагадить — это еще не сокрушить” — эту хорошую римскую поговорку писателю Айболу приходилось вспоминать не раз и не два. Последний раз, когда вышла в свет его следующая книга “Стальной меч”. Формально это был роман о хане Абулхаире и возникновении казахского ханства. Однако дело состояло отнюдь не в том, чтобы просто воскресить

перед читателем прошлое этого края степи, хотя бы на самом важном историческом повороте. Нет, “разнообразное зрелище картин волшебного фонаря”, как выразился Гегель в том же отрывке, никогда не прельщало его. Во-первых, потому, что он был совершенно согласен с философом, что “ближайшим результатом такого рассмотрения является утомление”, а, во-вторых, он твердо знал: писатель отнюдь не реставратор и не декоратор. Писатель Айбол никогда особенно не любил Л. Фейхтвангера, но одну мысль его он запомнил хорошо. Если писатель обращается к прошлому,— сказал этот писатель,— то только затем, чтобы выразить свое отношение к настоящему”.

Вот именно так и понимал свою задачу Айбол. Его трилогия (а он задумал трилогию, но только начал ее с конца, потому — что именно эта заключительная часть — восстание Кенесары — и была наиболее труднопроходимой и вызывала наибольшие споры и возражения) должна была дать целостную концепцию истории казахского народа и его роли в становлении современного общества вообще.

Он был в корне не согласен с теорией А. Тойнби,— а есть ли сейчас на Западе авторитет в истории еще больший? — что кочевые народы вообще истории не имеют. Историю Азии — подхватили его маоисты — создали только императоры небесной империи и династия Чингиз-хана. Но позвольте, позвольте, “об истории всего Китая написано куда меньше книг, чем об истории некоторых городов Италии”, — так написал еще в сороковых годах прошлого века Герцен (“Письма об изучении природы”). Такая диспропорция объяснялась, конечно, нуждами и волей завоевателя — властного, грубого, алчного, и в конце концов простого малокультурного купца и колонизатора. Не жизнь покоренного им народа, не культура и искусство, а только анекдоты, только уродства и странности, которые можно было бы продать с такой же лихвой, как и остальные колониальные товары, интересовало его в первую очередь. Писатель Айбол всегда ненавидел такой подход к истории любого народа, но чем же маоисты были лучше таких вот философов и историков? И не готовили ли они для народов Средней Азии ту же участь, что когда-то им самим принесли английские, французские, голландские культуртрегеры со стеками в руках? “Неисторические народы”, “народы, не оставившие следа в истории”, — ведь даже и сочетания этих слов взяты напрокат из людоедского арсенала нацистских профессоров и философов. Это для Айбола было истиной, не требующей доказательств.

Не требовало доказательств и другое. Казахстан не только никак не выкинешь из истории человечества, но даже самую историю человечества не поймешь без учета того, что происходило в казахской степи в эпоху так называемого высокого средневековья. Чингиз-хан начал именно оттуда — он жег, рушил, испепелял города и кочевья, он изгонял из родных мест

племена и целые народы — да и что им было делать на мертвой, выжженной и вытоптанной земле?! Это был кровавый смерч, обрушивший свою стихийную слепую силу и злобу сначала именно на казахский народ (вернее на его роды найман, керей, конурад) и только второй удар пришелся по цветущим оазисам Средней Азии, переднего Востока и Южной Руси. На этом он и кончил. Умер.

Следующий удар нанесли его потомки. Тогда была разгромлена Русь, Восточная Европа. Захватили Малую Азию и Египет. Покоренные народы бились за своих поработителей. “Если из десяти человек бежит один или двое, или трое, или больше — то все они умерщвляются. А если бегут все десять — а не бегут другие сто, то все умерщвляются”. Так он воевал и так побеждал. Очень страшно он побеждал. “Они произвели великое избиение в Руси,— писал итальянский путешественник тринадцатого века Плано Карпини.— Когда мы ехали через эту землю, мы находили бесчисленные головы и кости мертвых людей, лежавших на поле, город этот (Киев) был весьма большой и очень многолюдный, а теперь он сведен почти ни на что”. Два века стояла эта черная ночь над восточной половиной мира, и только после Куликовской битвы забрезжил рассвет. Человечество начало понемногу приходить в себя. Оно было измучено страхом, задушено дымом, подавлено безнадежностью. Пока заросли эти раны и появились новые государства и народы, прошло еще десятилетие. Процесс возрождения был долгим и мучительным. Вот этому сложному и в полном смысле слова страдальческому периоду мира и был посвящен новый роман Айбола. А говорить обо всем приходилось почти с азов. Ведь до сих пор широкий читатель имел очень слабое понятие о том, как, чем и какими идеями, представлениями и чаяниями жила эта огромная степная страна, протянувшаяся от Китая до Каспия. На нее обрушился первый удар завоевателей, и из нее же на протяжении столетий они черпали материал для будущих захватов и завоеваний.

Над этим произведением Айбол сидел день и ночь и кончил его за полгода. Какими источниками он пользовался? В том то и дело, что письменных источников может быть и не так уж мало, но они давали фон, общую картину событий, так сказать, с высоты птичьего полета, а писателю ведь нужны живые люди — казахи, их быт, отношения между собой и соседями,— и вот тут на помощь пришла устная летопись. Она велась из года в год, заучивалась, затверживалась, как сура Корана, и передавалась из года в год, от поколения к поколению. Итак, “через головы поэтов и правилительства” дошла до нас. Отсюда и шла фольклорная, почти песенная стихия этого романа, которая так резко отличает его от всех произведений подобного рода. Ведь древняя летопись — это отнюдь не всегда спокойное размеренное повествование, часто это больше поэма, чем простая запись хронографа (взять хотя бы знаменитый пучок степного емшана в

Волынской летописи — сколько поэтических произведений написано на этот, казалось бы, мелкий проходной эпизод, существует в искусстве! — так сильна лирическая сила этих степных преданий!). А устная летопись еще более поэтична. Обращаясь к ней, автор как бы устанавливает для себя и читателя иную правдоподобность — не хроникальную, а песенную, легендарную, порой даже сказочную.— У этой летописи — народной памяти — иная система отсчета, другие законы. Согласно этим законам, конь батыра легко перемахивает через строй вражеской конницы, а сам батыр запросто вырывает с корнями столетний дуб. При этом реальная историческая действительность сохраняется, она лишь расширяет свои рамки, становится не только вещественной, но и духовной, психологической. Да, в то время в такое верили. О таком рассказывали очевидцы — и в этом мире жили наши предки. Его границы были шире, его возможности были поистине безграничны, а населяли его либо богатыри и красавицы, либо оборотни и сказочные злодеи. Дело автора представить этот мир читателю так, чтоб он в него поверил так же, как верят в него герои повествования. Но в одном Айбол придерживался строго истории и своих философских критериев. История казахского народа, конечно, отдельная, а кое-где даже и очень особая глава в истории человечества — но все равно эта глава из той же самой книги. Она говорит о некоторых особых условиях и частностях того всеобщего мирового процесса, который зарождался, развивался, шел и наконец привел нас к образованию современного общества — того исторически и социально сложившегося мира, в котором нынче живут и автор и все его читатели.

Историю нельзя ни упрощать, ни улучшать, иначе получится путаница и неразбериха. Каждый должен получить свое. И писатель Айбол воздавал каждому по заслугам. Вот, например, жестокий и беспощадный хан Абулхаир — типичный Чингизид. Он обрушивается со всей конницей на ослабленные феодальными распрями оазисы Средней Азии. Он жжет, рубит, режет. Кончается это страшным разгромом и поражением созданной им империи и образованием отдельного казахского ханства Джаныбека и Керейя. Конечно, это были только ханы, и народ они звали попросту “импрам” — идиома эта непереводаема, но по смыслу она очень напоминает презрительное римское “плебс” — патрицианское словечко, происходящее от глагола “плео” — наполняю, набиваю горшок или мешок доверху и обозначает собой массу, слепое однолицее множество, безличную плазму — кашу из человечины. Однако и без плазмы этой все-таки ничего не сделаешь, и поэтому считаться с ней приходилось. Это было также верно для Рима, как и для казахской степи. Воевала, побеждала и умирала все-таки черная кость, а никак не голубая кровь. И поэтому все, что происходит в романе Айбола, рисуется на фоне народа, великого человеческого множества. Его движением, настроением, шутками, песнями и выкриками пронизан весь роман.

Книга была написана, напечатана и мгновенно расхвачена. Ее читали во всех домах, читальнях, студенческих общежитиях, просто на лавочке в парке. Скоро появились первые отзывы в печати. Общий вывод был таков: роман этот в казахской литературе явление совершенно новое и необычное. Поздравляли лично, звонили по телефону, читатели писали о впечатлении и вдруг все кончилось.

Однажды в дверь кабинета постучался черный человек. Ахметжанов в это время был в Египте.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Пять часов назад на московском аэродроме было холодно и неуютно, дул сырой, пронзительный и какой-то косой ветер, да и небо над аэродромом висело серенькое, туманное — ну обыкновенное январское небо. Сейчас же Акылбека окружила блистающая тропическая лазурь. Сияло африканское солнце, очень широко, до самого горизонта вился желтый Нил, а вокруг всеми дикими красками Африки горел и переливался огромный город, с куполами, минаретами, белыми вилками в тропической зелени и кудрявых пальмах. Он был чудесен, красочен и сверкал, как только что отснятая картинка.

Встречать советскую делегацию пришло много народа. У всех — и у приезжих, и у встречающих — было светлое радостное настроение. Щелкали фотоаппараты, безмолвно крутились кинокамеры. Здесь были журналисты, члены советской колонии, парламентарии во главе с председателем национального собрания Лябибом Шукейром. Тут же на аэродроме состоялся небольшой митинг. “Наш приезд,— сказал Акылбек Ахметжанович,— не просто отдача дружеского визита. Нет, наша страна послала нас в очень трудное для вас время, чтобы заверить вас, что мы с вами”. Хлопали дружно и горячо. Темпераментные, быстрые на поступки и эмоции южане кажется были готовы обнимать и нести на руках советскую делегацию.

Это было понятно. Египет переживал очень тревожное и смутное время. Можно даже сказать, что он подходил к какому-то очень важному и большому рубежу своего почти пятидесятилетнего существования.

В 1952 году армией во главе с Гамаль Абдель Насером был произведен переворот, и король Фарук бежал на личном самолете в Италию, захватив сто чемоданов с драгоценностями. Там он пьянствовал, давал интервью, кутил в фешенебельных ресторанах, и через двадцать лет умер от удара после очередной попойки. А перед смертью сказал, что скоро в мире останется всего пять королей — один английский и четыре карточных. В стране была выработана конституция, и ОАР — объединенная арабская республика (так теперь стали называть Египет) — провозглашена “демократическим социалистическим государством”, основанном на со-

юзе трудящихся. Государственной религией объявили ислам. Так как половина населения работала в помещичьих хозяйствах и латифундиях, была проведена широкая аграрная реформа. Часть помещичьей земли отошла к феллахам — египетским крестьянам. Все это привлекло к новой конституции и к реформам Гамаль Абдель Насера основную массу трудящихся. Однако реакция тоже не дремала. Она делала все, чтоб посеять раздор среди членов правящей партии — Арабского социалистического Союза. Особенно борьба и провокации усилились во время израильского кризиса. Правда, к приезду советской делегации военные действия приостановились и фронтальных боев уже не было. Но так называемые пограничные инциденты и бомбардировки важнейших узлов и артерий продолжались. Это донельзя накаляло обстановку. Недовольство в стране росло и росло оно не только среди населения, пострадавшего от бомбардировок и открытых врагов республики, но даже и в правительстве. Так что этот визит советских людей был действительно деловым и очень нужным.

Прежде всего делегация ознакомилась с крупнейшими новостройками Египта. Были посещены Асуанская плотина, металлургический комбинат в Хелуане, судоверфь в Александрии, текстильный комбинат в Махалла-Эль-Кубре и только что освоенные плодородные земли в Ат-Тахрире. Почти все это строилось, монтировалось и поднималось при помощи Советского Союза по планам и разработкам советских инженеров. Но ведь ОАР не только молодая, пробуждающаяся к жизни республика. Она еще и одна из прародин человечества. Делегаты посетили Каир, Александрию, Асуан, осмотрели колонны Луксора. Здесь перед ними в развалинах и музейных витринах лежали пять тысячелетий: древнее, среднее и новое царство, Эллинистический Египет, десятилетия владычества Византии, столетья мусульманских и арабских династий, турецкая оккупация, английский диктат.

Арабы захватили Египет в 7 веке и затем в течении почти шестисот лет менялись завоеватели — сначала пришли Аббасиды, за ними монголы, потом на двести пятьдесят лет власть захватила династия Мамелюков, а затем уже начался полный хаос — турки, османы, Наполеон и англичане — словом, все оккупанты: феодальные, империалистические, мусульманские и христианские топтали эту несчастную землю и оставляли на ней свои следы и кровавые рубцы. Но вот чудо! Быть-то они были, и следы оставались после них грубые, несмываемые, что-то разрушалось, что-то строилось, а все-таки ничего долговечного оставить после себя они не смогли. И не они в этом смысле покорили Египет, а он их всех растворил в себе. И вот что уж совершенно удивительно — эта раздираемая войнами и захватами страна сумела — и пожалуй, единственная из всех цивилизаций — сохранить памятники своей культуры почти за все пять тысяч лет своего существования. Это и было самое яркое и ясное, сильное впечатление, которое вынесла делегация из осмотра музеев и древних городов. В Каире, в этом сравнительно молодом городе, заложенном только арабами (тогда

он носил название Фустат, т. е. лагерь, окруженный рвом) они осмотрели мечеть, построенную в 641 году, т.е. всего через 9 лет после смерти Магомета.

Она стройна и гибка, как девушка. “Нигде на остальном Востоке нет таких изящных минаретов, такой тонкости рисунка, таких архитектурных украшений и такого фантастического разнообразия, как в современной столице Египта”, — писал А.В. Елисеев, известный русский путешественник конца 19 века; кто-то из делегатов вспомнил эти слова, когда проходили по городу. Современные мраморные дворцы тут перемежались с древними минаретами, целые пальмовые рощи росли за бронзовыми и каменными оградами и рядом со старинным храмом или средневековой мечетью вдруг вырастал фешенебельный двадцатипятиэтажный отель или серый каменный дом, построенный для рабочих и служащих такой-то компании. Каир вобрал в себя и поглотил все мелкие города: Мыср и Иль-Катон, где произошла битва мамелюков с военачальниками Чингиз-Хана и древнюю Гизу — страну пирамид, которую обязательно посетит каждый, попавший в эту страну.

Пирамиды здесь тянутся на десятки километров от Каира до Фаюмского Оазиса. Самая большая из них носит имя фараона Хафу (или Хеопса по гречески). Он жил за 28 веков до нашей эры. По словам Геродота эту громадину в течении двадцати лет возводили сто тысяч рабов. Она сложена из 2.300.000 отшлифованных двухтонных плит, так тщательно пригнанных друг к другу, что даже лезвие перочинного ножа не пролезает между ними.

А внутри пирамиды длинные узкие коридоры, погребальные камеры, одна для самого фараона, другая для супруги, вентиляционные щели. Они пронизывают всю эту рукотворную каменную гору от погребальной камеры до вершины.

Рядом со второй по величине пирамидой Хефрена — она всего на 8 метров ниже Хеопса — высится чудовище, целиком высеченное из скалы. Это знаменитый сфинкс — гора с лицом человека и телом льва. “Отец ужаса” называют его арабы. Но вряд ли это так. Изуродованное лицо его все равно прекрасно. Оно спокойно, таинственно и неподвижно. А на щеках глубокие провалы, нос и губы сбиты. Суеверные турки палили в этого дьявола из пушек, хотели уничтожить и не смогли.

Сфинкс, пирамиды, серый песок, тысячелетняя тишина — вот что вынесли делегаты из этой поездки. А каирский музей, наоборот, ослепил их пестротой и блеском красок.

Здесь все горело и переливалось: яшма, бирюза, обсидиан, розовый гранит и золото, очень много золота.

Ведь писал же вавилонский сатрап фараону: “Брат мой, золота в твоей стране столь же, сколько песка”.

Это древнее золото сверкало с маски восемнадцатилетнего Тутанхамона, желтело на его саркофаге, усыпанном драгоценностями, мерцало на его ожерелье, браслетах, золотых футлярах — на руках, золотых сандали-

ях — на ногах. Трон его был весь золотым и четыре царских колесницы тоже были окованы золотом. А ведь он был еще незначительный, мало царствовавший и очень, очень юный фараон, вряд ли ему исполнилось девятнадцать лет. Этому мальчика не удостоили даже пирамиды: просто вырубili гробницу в скале и замуровали. Сколько же драгоценностей должно храниться в гробнице Рамсеса 2 Великого!

И мумия Великого находилась здесь же, в витрине. Рыжеволосый, черный, длинноносый скелет, обтянутый тонкой прослойкой кожи и мускульной ткани лежал в глубоком стеклянном ящике. Этот властитель женился на дочери, потом на внучке, а кроме того, и от законной жены имел еще двух дочек, которые тоже были его женами. Поистине этот грозный царь и завоеватель в личной жизни оказался столь же жестоким и ненасытным, как и в своих захватах.

А сейчас он лежит высохший, худой, голый, буро-шоколадного цвета, и ни одной бляшки золота, ни одного цветного камушка ни около него, и ни на нем. Все ограбили, все унесли.

Затем советская делегация побывала в Александрии — городе, заложенном Александром Македонским две тысячи четыреста лет до нашей эры. Когда-то тут при Птолемах была знаменитая Александрийская библиотека из ста тысяч свитков, заключающих всю мудрость древности. Там хранились когда-то собственноручные рукописи Софокла, Эсхила и Эврипида.

От всего этого не осталось и следа.

Зато от знаменитого Александрийского маяка — тоже одного из семи чудес света — следы остались. Правда, увидеть их трудно — они встроены в средневековую крепость. А когда-то маяк этот высился на 120 метров над морем. Его светильники прорезали тьму на много километров вокруг и ни одно вражеское судно не могло пройти незамеченным. Кроме того, на маяке были автоматы, о которых древние рассказывали тоже чудеса.

Первым таким чудом была женщина, она указывала на солнце. Солнце двигалась, двигалась за ним и рука женщины.

Вторая статую отбивала часы.

Третья — самая удивительная. Если на горизонте показывался вражеский флот, статуя поднимала руку и показывала на море, а если враги входили в гавань, то кричала. Легенда это или нет? Может быть, и не совсем легенда.

Не зря же в этой столице древней учености работал в ту пору знаменитый механик и создатель автоматов Герон Александрийский. Если он сумел создать специальный театр автоматов, то мог придумать и действительно что-то подобное этим статуям.

А теперь от всего этого остался только кусок постамента, вмурованный в стену. Две тысячи лет — чрезмерный срок даже для такого чуда света, как Александрийский маяк.

Были советские гости и в мертвом городе, и на развалинах Луксорского и Карнакского храмов. Оба эти храма — а находятся они на пять километров один от другого — были когда-то соединены друг с другом аллеей сфинксов. Всего здесь стояло около пятисот высеченных из камня скульптур. Эту аллею и эти храмы египтяне считали восьмым чудом света. Да это и понятно. Любые современные арки, ворота, пролеты, колоннады кажутся карликами рядом с этими чудовищными обломками. И таких колонн здесь стояло 134 — каждая высотой в 16 метров и 3,5 метра шириной!

Древние фараоны были дальновидные люди, жестокие практики и, собираясь в загробный мир, они хватали с земли все, что могли унести с собой туда.

И дворцы для “того света” они тоже строили не менее обширные и роскошные, чем имели здесь.

И уж ничего для этого не жалели! Ничего! Буквально! Геродот, оставивший первое научное описание пирамид, рассказывает о “подлости” царя Хеопса. Он, якобы поместил в публичный дом свою дочку для того, чтобы она собирала средства на пирамиду отца.

— Да, в чем — в чем, а в последовательности ему не откажешь, — горько усмехнулся Акылбек, выслушав этот рассказ.

Но прошлое не должно заслонять настоящее. Так и сказал Акылбек Лябиб Шукейру в первую их встречу. “Наша история, — сказал он, — помогает нам освещать наше будущее”.

В первые же дни делегация посетила Хелцуианский металлургический комбинат, где работало десять тысяч рабочих. Его построил Советский Союз. Это “первенец и цитадель нашей тяжелой индустрии”, — сказал председатель административного совета этого завода доктор Назах Амана. Но этот завод был цитаделью и идеологии. Когда реакционно настроенный первый вице-президент республики Закария Мохи-эд-дин вместе с частью министров пожелали повернуть страну на иной курс, назвав его “оздоровлением экономики”, рабочие грозно потребовали отчета от правительства. Тогда выступил Насер, разгромил реакционеров и провозгласил политическую и экономическую программу дальнейших реформ.

Была советская делегация и на Мехалла-ал-куброском текстильном комбинате, на нем в это время работало свыше сорока тысяч рабочих. Каждый день с его станков сходило свыше полумиллиона метров ткани. Чудесное качество и волшебные расцветки их давно завоевали признание модниц доброй половины света.

Была делегация и на Асуанской плотине — этой величайшей пирамиде 20 века. Когда ее достроят, сельское хозяйство Египта окончательно перестанет зависеть от капризов Нила, — реки своенравной и строптивой. Ее фокусы исключительно дорого обходятся стране, ведь главная статья дохода Египта — по-прежнему зерно. “Жизнь каждого из нас зависит от

плотины”, — сказал Гамаль Абдель Насер 19 мая 1964 года в день перекрытия Нила.

Советская делегация ездила по стране, встречалась с десятками тысяч студентов, ученых, просто рабочих. Выступал Акылбек и на больших митингах, и на собраниях профсоюзных рабочих. Эти собрания и митинги превращались в настоящие праздники дружбы. Именно на одном из них Насер и сказал: “Египетскому народу приходится сейчас одной рукой класть кирпичи, а другой держать винтовку”. И Акылбек Ахметжанович знал, что это правда. На второй же день после отлета делегации был разгромлен с воздуха знаменитый Хелуанский комбинат.

Накануне своего отъезда Акылбек выступил с большой речью на заседании Национального собрания. До этого здесь выступали только главы дружественных правительств. Но для посланника Советского Союза было сделано исключение. Акылбек заверил, что его страна не оставит в беде великий и древний египетский народ, что она окажет сражающемуся Египту всю возможную материальную и иную помощь.

В тот же день Акылбека принял президент.

Это была их первая встреча.

Потом они встретились снова, но уже в иной обстановке и в иные времена. И разговор в эту последнюю встречу был у них тоже совсем иной. Но и во время первой встречи они сразу понравились друг другу. Оба высокие, сильные, рослые — оба выходцы из среды угнетенных народов Востока.

А ведь это очень, очень важно — большим политическим деятелям — установить крепкие личные контакты, то есть просто поверить друг другу.

В наш грешный и неверный век это много значит, и то, что президент сразу поверил Акылбеку, а Акылбек Насеру, очень сказалось на всех дальнейших отношениях обеих стран.

После каждой поездки Акылбек Ахметжанович чувствовал себя окрепшим и обогащенным, как бы, как шутил он, выросшим на лишний сантиметр.

Так случилось и на этот раз.

Он был доволен не только тем, что успешно выполнил важнейшее правительственное поручение, — а оно было достаточно тонким и деликатным, но и увидел воочию то, что раньше знал только из книг и документальных фильмов: древнюю страну, в которой еще до нашей эры возникло почти все, с чем он провел почти сорок лет — математика, инженерия, металлургия, агрономия, архитектура. Все это он когда-то штудировал в школе и институте, потом занимался этим на работе как специалист и, наконец, руководил этим как член правительства республики.

И вот теперь он ходил по той земле, из которой забили ключи всех этих начал. Кроме того, он знал, что президент ему поверил, что он открыл ему новые перспективы и вдохнул в него новые силы для борьбы.

Но уяснил он себе и еще одно: разговаривая с людьми и присматриваясь к экономике страны, он вдруг ясно почувствовал отдаленные расказа-

ты подземного грома — приближение огромного энергетического кризиса. Ведь 50 процентов нефтяных продуктов Запад свыше столетия получал из стран Ближнего Востока. А сейчас этот порядок, казавшийся абсолютно нерушимым, вдруг заколебался. Наступили новые времена: приходили иные покупатели и открывались иные рынки. Если этот процесс будет продолжаться и дальше (а как он может не продолжаться?) капиталистический мир встанет перед одной из самых неразрешимых проблем всего своего существования. И подлетая к Алма-Ате, Акылбек думал о том, что перед его страной этой проблемы не существует. Он вспомнил безбрежные прикаспийские просторы и совсем почти безлюдный полуостров Мангышлак.

Именно во время этой поездки он решил окончательно поставить перед правительством вопрос о том, чтобы Мангышлакской нефтью и цветными металлами Джекказгана занимались отдельные управления.

Опытный инженер он знал, что вслед за энергетическим кризисом в капиталистических странах столь же обязательно последует кризис и в цветной металлургии.

И тогда у Советского Союза одной лишней козырной картой в руке станет больше.

А в Алма-Ате его ждала радостная весть.

Из Москвы было получено сообщение, что его давнишнему другу, председателю колхоза Гаврилову присвоено звание Героя Социалистического Труда. Колхоз его в последние годы неузнаваемо вырос. С каждого гектара стал постоянно получать по 125-130 центнеров кукурузы. Гибридные семена, которые были рекомендованы Ахметжановым из колхоза им. Ленина превосходно прижились на полях колхоза Гаврилова. Притом этот рекордный урожай не был пределом. Исследовавшая научная комиссия пришла к выводу, что в условиях этого колхоза можно получать до 165-170 центнеров кукурузы с гектара. Ахметжанов был рад успеху Гаврилова и его колхоза.

А Айболу было грустно, нет, что там грустно, горько. Горько до боли.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Из записок писателя Айбола.

“В руках у этого черного человека был свежий номер газеты. Даже, пожалуй, сверхсвежий, потому что он должен был выйти только завтра, и черный человек выкрал его из типографии. А вообще-то он не был, конечно, черным человеком, он был моим другом, серьезным ученым и работал в институте истории Академии наук — так что встречались мы часто, а за последнее время чуть ли не через день.

— Ну, — сказал черный человек, — честь имею вас поздравить со днем ваших именин. Читай! (Он хорошо знал русский язык и любил такие прищоточки). Читай!

Я посмотрел на подпись. Автора я знал и даже соболезнавал ему. В последнее время он находился в препоганом состоянии и я его просто жалел. Я стал читать и после первого же столбца опустил газету. Надо было передохнуть. Ничего подобного ни по тону, ни по резкости обвинения казахская пресса не знала уже лет десять. Мой роман объявлялся попросту антинародным. Мотивировалось это очень просто. Я-де не показываю борьбу классов в процессе формирования казахского ханства и стою на стороне феодалов.

— Ну что ты? — спросил мой друг, — читай дальше.

— Подожди, дай опомниться, — проговорил я, — не все же сразу.

— А дальше еще хлеще будет, — улыбнулся мой друг и пожалел, — эх, водку ты не пьешь! Такие статьи только и читать под водку!

Я передохнул и стал читать дальше. Что автор не смыслит в истории ни аза, как впрочем, и в марксизме, мне было совершенно ясно. В романе нет классовой борьбы? Да в том-то и дело, что классовой борьбы в том смысле слова, которое в него вкладываем, в казахском ханстве 15 века действительно не было. Еще в течении ряда столетий после собственность на землю закреплялась не за отдельным человеком, а за племенем и родом. В таком смысле это было общинное землевладение и землепользование. Кочевал не человек, не род, а вся община. Острая же классовая борьба, — учит Маркс, — начинается тогда, когда общество распадается на антагонистические классы. Вот главное — классовая структура общества. Само по себе понятие — богатый аристократ, бедный аристократ, нищий аристократ совсем не классовые, а экономические и даже бытовые наименования. Драка феодалов между собой — налет богатого графа на бедного соседа или наоборот, трагедия “Скупого рыцаря” Пушкина — совсем не классовые трагедии, хоть в пушкинской маленькой драме все персонажи не равны экономически и поэтому все смертельно ненавидят друг друга. Я сказал об этом историку. Он засмеялся и махнул рукой.

— Ты читай дальше, потом поговорим!

Дальше шло не более и не менее как обвинение меня в простом плагиате. Айбол, мол, на такой-то и такой-то странице использовал чужие материалы. Ну, конечно, я их использовал. Хорош бы я был, если бы я не читал летописи, не цитировал их где надо, и вообще стал писать роман об истории, не заглядывая в историю.

— Ну на все это ответить будет нетрудно, — сказал я и отбросил газету.

— Трудно, — сочувственно и тихо улыбнулся мой друг. — Ты смотри не на то, что написано, а на то, для чего это написано. Кого-то ты сильно раздражил этим романом. Вот в этом и все дело. А кого — ты должен знать сам.

— Черт его знает кого! — выругался я. — Когда работаешь по-настоящему, то обязательно кого-то толкнешь или заденешь локтем. Но напи-

сать такое... плагиат! Дикость какая-то! Нет, я этого не оставлю. Пойду к Кырсыбаеву.

— Сходи, сходи! — засмеялся мой черный друг. — Могу сказать, получишь огромное удовольствие, я уже с ним говорил.

— И что он говорит?

— Да вот пойдешь, услышишь. Говорит — пусть идет к кому угодно, статья получила наивысшую санкцию. Он не маленький, должен понимать — такие вопросы мы не решаем, тем более, что понимаем, кто такой Айбол. Оба его друга читали эту статью и одобрили.

— Это какие же друзья? — снова спросил я, боясь поверить в свою догадку. — Ну одного я, положим, еще угадываю, а второй?.. Неужели же... Да нет, не может быть. Он тебе хоть назвал имена?

— Нет, никаких имен он мне не назвал, а я не спрашивал! А ты позвони, позвони, он тебе скажет. Вот сейчасними трубку и позвони.

Я снял трубку и позвонил. Поднял ее сам Кысыккозов. Я коротко выложил ему свои претензии. Он слушал и хмыкал.

— Мы тут ни при чем, — сказал он, когда я замолчал. — Статью читал и одобрил сам Акылбек Ахметжанович. Как не может быть? Да почему не может быть? Ты что хочешь, чтобы он пошел из-за тебя против марксизма? Ну, знаешь...

Трубка упала из моих рук. И продолжала говорить уже с пола, слов я не слышал, но голос-то слышал — хриплый и насмешливый. Друг мой подошел и положил трубку на рычаг.

А потом сразу как-то появилась Дамиля и увела нас пить чай. Мы сидели и говорили о чем-то постороннем, даже смеялись, но как и чем окончился наш разговор и как ушел друг, я так и не помню. Передо мной стояло желтое, искаженное предсмертным страданием лицо Азирбаева, и я слышал его слабый, пересыхающий голос. “Акылбек знает. Все знает. Вот мне и обидно, что все знает и не может помочь”.

С Азирбаевым понятно, а статью о моей книге мог бы запретить! Неужели не знает, что товарищи не правы?..

И глубокое безразличие вдруг завладело мной. Мне как-то разом стало на все наплевать. Только тогда я и понял, что значит для меня Ахметжанов и каково потерять в него веру.

Обсуждение “Кенесары” и “Стального меча” состоялось через два месяца после появления статьи. За письменным столом большого кабинета, как за столом президиума сидели трое — сам хозяин кабинета, светлицкий человек лет сорока пяти, затем заместитель Ахметжанова по идеологии и, наконец, первый секретарь Алма-атинского обкома партии, человек лет пятидесяти с правильными мужественными чертами лица. Я уселся где-то в углу рядом с Олжасом Сулейменовым. Мне было интересно посмотреть, как же себя поведет хозяин кабинета. А когда после ранения я работал здесь в аппарате (это были военные и первые послевоенные годы)

товарищи, которые занимали такие должности вели себя настоящими коммунистами на линии огня. Особой областью их полномочий был круг национальных вопросов. Здесь им, безусловно, принадлежало и самое первое и самое последнее слово. Первые руководители тогда занятые общереспубликанскими и народнохозяйственными делами, как бы вовсе отстранились от этих вопросов. И их заместители часто советовались с представителями творческой или научной общественности. Таким образом, ведущие писатели, ученые, академики вдруг приобрели такое значение и авторитет в правительственных и партийных кругах, о котором они раньше и помышлять не смели. И отнюдь не за свои работы, а именно как советчики таких, как хозяин этого кабинета. Говорили, что когда предыдущий хозяин вот этого кабинета сел в это кресло, первыми к нему на прием записались Жаубасаров и Жанпеисов. Но все это было уже данью довольно далекого прошлого. Все встало на свои места и Первые снова были первыми, а Вторые именно вторыми. Но что делать? В свое время порядок кое-кому очень пришлось по сердцу — и ведь не зря Тютчев написал когда-то: “О память сердца, ты сильнее рассудка памяти печальной”. Я твердо верил, что живу в годы рассудка и потому мне было только интересно, как себя поведет и что скажет он, хозяин этого кабинета. Интересовал меня также и секретарь Алма-атинского обкома, он был человек умный, дельный, добрый — так о нем говорили все, кому приходилось с ним встречаться, — историк по образованию. Интересовало меня также мнение заместителя Ахметжанова по идеологии. Совещание открыл хозяин кабинета. Он был краток и четок. Доложил в нескольких словах о работе, проделанной новым правлением, сказал, что собрал для того, чтобы поговорить...

Айбол не стал слушать. Как бывало с ним в минуты апатии, раздражения, он стал думать совсем о другом. Он думал о пенсии. А за пенсией, думал Айбол, последует незаметная, но неумолимая старость, а за ней тихая смерть. От нее уже не откупишься, не отговоришься. Первый шаг младенца к жизни — есть первый шаг его к смерти, — сказал Сократ. Когда бы ни пришла смерть, она всегда не ко времени, говорят старые казахи. Что стоят эти разговоры, когда... Но нет, не надо об этом! Это — табу! Ведь положение-то ясное: “Мертвый в гробе мирно спи, жизнью пользуйся живущий”. Это Жуковский, кажется? Нет, не надо об этом! Но что делать, когда вот так соберутся и начинают тебя кромсать? Может быть, плюнуть на все это, собраться и поехать куда-нибудь, где много простора, много воздуха и сырой зелени — глаз там остер, слух там чуток, голова легка. Побродишь по лугам и чащам леса часа три и забудешь обо всем. Но как ты поедешь, когда...

Так он сидел, думал, барабанил пальцами по настольному стеклу. Так прошло минут пять-шесть. Но все же он заставил себя слушать когда взял слово тот маститый писатель, который был назначен председателем комиссии по разбору его романа. Комиссия эта заседала один раз. Мастит-

тый писатель требовал внести вопрос на большую аудиторию. Но кто-то сверху запретил, предложил обсудить только в кругу специалистов — историков и критиков. Вот Этот-то маститый и поставил в первую вину Айболу, думая, что это добился он. Оказывается, это Айбол сорвал то огромное, чуть ли не всенародное мероприятие, которое маститый собирался провести по поводу выступления газеты. Он хотел вытащить Айбола чуть ли не на всенародный Курылтай и там выявить, обличить, заклеить его, но ничего, оказывается, из этого не получилось. Маститому не дали расправиться с Айболом и все ушло в мелкие замечания, споры и дразги, и в этом опять-таки виноват только он, Айбол, Айбол!

Говорил маститый медленно, но гневно, убедительно, и ему можно было действительно поверить.

Затем выступил Жубасаров, живой классик казахской литературы, чуть одышливый и по виду очень добрый человек. Он сейчас же оседлал своего любимого конька — национализм, национализм! Интернационализм, интернационализм, интернационализм! Этот ход у него оказывался беспрюгрышным. Говорил он горячо, с шутками, и ему почти всегда аплодировали. И сейчас он тоже говорил и громил национализм и прославлял дружбу народов. “В последнее время мы присутствуем при новом взрыве национализма,— говорил он, - молодежь, поглощая вот такие романы, вычитывает из них уроки расовой ненависти и любви к нашему феодальному прошлому. Восхваляя тирана и палача казахского народа Кенесары Касымова, Айбол даже и название взял не свое. Именно так называлась пьеса нашего дорогого и единственного Мухтара Ауэзова, в свое время сурово осужденная всей партийной и советской общественностью. Айбол знал, что он делает, вызывая такие ассоциации. А ведь как забыть, что такого зверского националиста и реакционера как Кенесары наша степь не знала за всю историю. Ведь, подумайте, он русских обрезал, товарищи!” — эти слова, вырвавшиеся как будто из глубины души, маститый выкрикнул глядя прямо в глаза хозяина кабинета. Но желаемого эффекта они не принесли. Хозяин кабинета вдруг быстро отвел глаза и на лице его выразилось такое смущенное недоумение, что даже мне стало неловко. Но маститого смутить было нелегко. Без всякого перехода он вдруг заговорил о моей биографии. Я же инженер, горняк,— сказал он,— так почему же меня потянуло вдруг в историю. Мое дело современность! А я куда сунулся? В 15 век, в феодальную степь! Что за смешная претензия! Он говорил убедительно, заглядывая в лица слушателей, как бы призывая их в свидетели, обращаясь то к одному, то к другому, и наконец, повернулся прямо ко мне, так же дружески улыбаясь, простирая руки, убеждая и уговаривая. И я подумал: “Да, ты прав, аксакал! Надо писать о современности! Вот, например, об этом твоем выступлении я и напишу! И как еще напишу! Только останешься ли ты опять доволен?”

Когда он опустился тяжело на свое место, сразу же попросили слова другие ораторы, — аксакал, как говорят, отпер запертую дверь в запретный дом. “Ну, держись, Айбол, — подумал я, — сейчас начнется! Они от твоих романов, да и от тебя самого мокрого места не оставят! И тут я опять вспомнил Сомерсета Моэма. Он как-то сказал вот что: “Художник творит для того, чтобы освободить себе душу. Для него это так же естественно, как для воды течь под уклон”. Это, конечно, так, но это еще не полная истина, а только половина ее. Действительно, творчество это освобождение себя от непосильной и все возрастающей тяжести неосуществленного замысла, или это удовлетворение зуда души. “Сердце в экземе”, — так очень точно по-моему сказал об этом Б. Пастернак. Но есть и другая сторона этого процесса, не внутренняя, тут ее изучает психология творчества, а социальная, политическая, обращенная вовне. Это желание общения, стремление поделиться с ближним и дальним современником и потомком самыми дорогими своими мыслями, чувствами, настроениями, верой или неверием. Вряд ли случайно, что Робинзон Крузо написал свои мемуары отнюдь не на обитаемом острове. Иными словами я пишу не только оттого, что у меня зудит душа, но и потому, что я знаю какую-то истину и хочу, чтобы ее от меня узнало все человечество. “Искусство есть чувственное и непосредственное познание истины”, так определил когда-то существо нашей профессии молодой Белинский. Ну, а эти кричащие на меня, требующие, чтобы мой роман тут же, сейчас же, без дальнейших разговоров заклеямили, осмеяли, может быть, изъяли из обращения — они что? Тоже борются за истину. Но ведь к поискам истины никакие низкие чувства и соображения не могут быть примешаны. А вот мне кажется, что во всех этих выступлениях нет ничего, кроме зависти (почему говорят о тебе, а не обо мне?), недоброжелательства и просто плохого, сварливого характера. Равные никогда не завидуют равным. Вот я никому из выступающих ни капельки не завидую. И не потому не завидую, что могу написать лучше их! Нет, нет! Может быть, даже так же, как кое-кто из них и не напишу — ведь об одном из них уже существует целая газетная литература — там где его называют мастером психологического портрета, превозносят чуть ли не до небес за умение через любую мелочь раскрыть целый мир. Но я не завидую ему потому, что в его книгах не нахожу ничего своего — все это “слова, слова, слова”, красивые, хорошо сказанные, но абсолютно мертвые. Ни одно из них не волнует, не зажигает, не рождает желания присвоить того жгучего сожаления, которое знает каждый из пишущих: “почему это увидел и написал он, а не я?” Нет, все это я уже где-то читал, слышал и видел. Все это было, было! И все это я знаю, знаю, знаю! Знаю в таком или же примерно в таком же изложении, с такими же героями и такими же чувствами автора по поводу этих героев.

Мои размышления перебил следующий выступающий. Он был пышно седовлас, широк в плечах, высок и прям. Его знали и ценили как одного из

виднейших поэтов республики. Начало его речи я как-то прослушал. Кажется, он сказал, он только что начал читать мой роман и поэтому конкретно говорить о нем не будет. Но дело сейчас не в этом.

— Ну, а в чем же? — спросил с места кто-то из сидящих за столом.

— Дело в выступлении нашего почтенного аксакала-академика. Ну о заслугах его я говорить не буду. Они действительно велики. Представить себе современную казахскую литературу без романов уважаемого Жаубасарова просто невозможно. Она была бы существенно иной. Но до чего же нам надоели его постоянные наскоки на своих же коллег, товарищей по перу. Как что не понравилось нашему аксакалу, так пожалуй, готов ярлычок: “националист”. И люди пугаются по старой памяти прошлых недобрых лет. Я вот примерно сорок лет слушаю аксакала и просто так, и в разговорах, и в выступлениях с трибун, так что у меня теперь особый нюх, я с первого же слова скажу вам, будет упрекать он своего оппонента в национализме или нет. Потому что совсем не в принципах здесь дело, а в других узколичных соображениях. Так обстоит дело, по-моему, и в данном конкретном случае. Я знаю Айбола по другим его произведениям и никак не могу представить себе, что прочитав его исторические романы, молодежь вдруг потянется к национализму! Нет, нет и нет! Не валите, дорогой аксакал, на молодежь то, что не надо. Не считайте наших юношей и девушек уж такими глупенькими. Они умные, думающие люди. У них здоровое чутье на всякую фальшь и ложь, и в добре и зле они разбираются не хуже нас с вами. Так что бояться за них вам не стоит. Да я и уверен — никакого национализма нет в этих книгах. Айболу просто неоткуда взять его, а есть там история, историческая правда, от нее же не уйдешь, и незачем уходить.

Речь поэта произвела большое впечатление — выступал он просто, легко, свободно, как будто и не выступал даже, а просто беседовал со своими товарищами. Аксакал только ворочался в своем кресле да побряхтывал. Потом поэт обратился ко второму выступающему — он взял слово после аксакала — и я увидел, как поэт сразу напрягся, напружинился, подобрался, как бы готовясь к прыжку. Эту его манеру вести себя сначала тихо, сдержано, говорить негромко, отвечать вежливо, а потом сразу же срываться — кричать, краснеть или бледнеть, с трудом переводить дыхание и, наконец, словно в полуобморочном состоянии рухнуть в кресло — все это я знал хорошо и видел не раз, и сейчас мне было просто любопытно, не взорвется ли он не закричит ли? Но нет, не закричал, не то это было место, не то время, а аксакал только метнул на поэта взгляд, полный ненависти и темных обещаний. Да, на что, а на месть он был мастак! А поэт продолжал говорить ему прямо в лицо. Он говорил о его завистливости и необъективности, о странном желании все охулить и все затоптать. Неужели только его романы хороши, спрашивал поэт, — и не надейся у него ни одного доб-

рого слова для своего товарища по перу. Странно как-то все это у нас получается, братья — писатели! Человек в сером костюме, к которому были обращены эти слова, молча сидел и слушал, только в глазах его все больше и больше разгорался все тот же тусклый желтый огонь.

После поэта выступил Гарипов. Я знал этого человека, уважал его и даже любил. Он был добр, великодушен, широк, всегда готов помочь ближнему и дальнему. Бывший партизан, в последние годы писал неплохие произведения об отечественной войне. Говорили, что Гарипов ярый враг национализма, порою даже неразборчив. Но сейчас меня порадовал он по-настоящему и прежде всего за самого себя. Все время Гарипов считал аксакала Жаубасарова непререкаемым авторитетом в области идеологии, а на этот раз словно усомнился в нем, “Аксакал, по-моему, вы ошибаетесь,— сказал он очень вежливо, поворачиваясь к почтенному академику,— я дважды прочел оба романа Айбола и никакого национализма в них не нашел. А история — вот правильно сказал поэт,— она ведь вещь объективная, от нее никуда не уйдешь. Если ты утаишь правду, так другие тебе в лицо ее бросят. Факты — вещь упрямая, их не согнуть и не сломать! Ну, а теперь два слова о наших союзных делах. Беда-то в том...,— и тут он сделал несколько колких замечаний по адресу заместителя Ахметжанова по идеологии. В зале зашумели, задвигались и обо мне временно забыли, я перевел дыхание: кажется, пронесло. Жанпеисов тоже был ярым борцом с национализмом во всех его видах, и после его выступления мне мало что оставалось сказать в свою защиту. Впрочем, сейчас уже было не до меня — все переключились на какие-то другие вопросы. Между прочим говорили они не о каких-либо проблемных вопросах, о второстепенных, вроде необходимости снова организации Президиума, о взаимоотношениях писателей, но говорили напористо и горячо.

Снова к моим романам их возвратил один из выступающих. Это был профессор. Член-корреспондент Академии наук республики, человек очень трудной и сложной жизни. Он все испытал: и раннюю славу, и быстрое падение, и двадцать лет Сибири и новое возвращение к жизни. И за двадцать лет после возвращения он вернул все, что потерял за те двадцать лет! И снова доброе имя! И имя большого ученого! Правда, не могли пройти бесследно те годы... Но зато, когда он выступал — выступал глубоко и правдиво. Однако на этот раз он тоже изменил своей манере. Мои романы не хвалил, но и разгромную статью, подписанную кандидатом наук, тоже не ругал, а только удивился ее автору. “И такую статью, критикующую всю историческую концепцию романа,— сказал он,— пишет человек, в истории совершенно не искушенный. Да ведь автор филолог! Он же молодой филолог и все! Как же он решился выносить решение по таким кардинальным вопросам истории?! Вот это мне совершенно не понятно, я бы, например, я бы никогда не посмел выступить с чем-либо подобным”.

Вот и все, что он сказал. И больше ни слова — ни за, ни против, но впечатление все равно было сильное.

Потом выступил еще один из виднейших писателей республики. Человеком он был принципиальным, резким и даже жестким. За это его многие не любили, но все чтити за безукоризненную честность и бескомпромиссность в самые трудные годы. В свое время та же газета, что разгромила мой роман, обругала и его мемуары. Писатель сначала сказал несколько слов о новом руководстве Союза писателей, а затем вдруг повернулся ко мне: “А ты вот, по-моему, ведешь себя неправильно,— сказал он.— Слишком близко все принимаешь к сердцу. Выругали тебя, ты и завял. Нельзя так, дорогой! Мы же писатели, так что нам в жизни всего хватает — и похвалы, и ругани, и чести и бесчестия, и ничего не поделаешь, надо терпеть. Такая уж профессия! Если ты написал хорошую книгу, все равно ее будут покупать и читать, а если выпустил макулатуру, никакая похвала ей не поможет. Сколько ты не кричи, а дрянь останется дрянью! Ты ведь, наверное, помнишь, как меня ругали, в чем обвиняли. Ну и что? И ничего! Книжки мои жили и, надеюсь, будут жить. А они пусть кричат, себе! Вот и все!”. Конкретно о моей книге он ничего не сказал, но все поняли, что книга ему понравилась, и говорил он то, что надо.

Затем дали слово Олжасу Сулейменову. Этот сразу начал разговор по крупному. Звал писателей не размениваться на мелкие темы и не бояться замахиваться на самые большие проблемы современности, не смотреть на жизнь издали, а вмешиваться в нее активно, т. е. быть быстрой рекой, а не болотом. А Союз писателей именно такое заглохшее болото. “Эх, неладно болото, да еще заглохшее,— подумал я,— неладно! Это ему не забудут”. И, действительно, не забыли. Я это понял после выступления секретаря обкома. Но сначала слово дали мне, и надо сознаться, что говорил я плохо: нервничал, сбивался, повторялся... С самого начала меня сбила недоброжелательная реплика хозяина кабинета. Во время выступления кто-то из писателей, говоря о моих исторических романах, мимоходом упомянул книгу “Один на один” — “хорошее, нужное, проблемное произведение”, — сказал он и тут хозяин кабинета задумчиво процедил:

— Вообще-то книга и недурна, только большой проблемы в ней нет.

Тут уж я просто встал в тупик. Как это не отвечало всему тому, что я думал сам и слышал от других о своей книге. Так неужели же я получил Государственную премию за легковесную беллетристику? Читиво? И неужели роман о стойкости, о моральной ответственности ученого, о роли совести в науке в самые трудные годы — такая уж легкая, чисто развлекательная? Никак я не мог поверить, я не мог поверить в это, никак! Я вспомнил похвалы Ахметжанова, разговоры с товарищами, наши споры и мне стало как-то очень не по себе. “Значит, кому-то нужно действительно шельмовать,— подумал я,— но только зачем. кому?”

Затем слово взял первый секретарь столичного обкома. Он был краток. Все споры и раздоры в Союзе писателей он назвал совершенно ненужной мышинной возней. Чем спорить и поносить друг друга, не лучше ли каждому сесть за письменный стол. Напишешь нужное произведение — вот оно и будет самым сокрушающим ответом и ударом по твоим недругам. Тем не менее, — сказал он, — очень, по-моему, нехорошо, даже непорядочно говорить об организации, в которой ты состоишь, как о болоте. Так действительно ничего, кроме болота, и не создашь.

Затем он обратился непосредственно к Жаубасарову:

— Тут я вам должен сказать насчет исторических романов Айбола. Я, к счастью, или к сожалению, уж не знаю, но совершенно не согласен с вами. Несколько дней назад, готовясь к этому совещанию, я второй раз и с карандашом в руках прочел оба эти романа (первый раз я их читал просто как читатель и как историк), уверяю вас, никаких идейных ошибок в них нет. Все события рассматриваются с точки зрения марксизма. Это главное. Ну, а так называемые чисто литературные блохи — я говорить не буду. В следующем издании их автор вычешет, да и не в них в конце концов дело. Теперь о национализме. Дорогой аксакал, национализм — это для нас не игрушка. К сожалению, эта опасность актуальная и реальная. Отмахиваться от нее мы не можем. Но вот именно поэтому нельзя ее искать в пустяках, копаться в мелочах быта, разминивать и обесценивать на копейки. Это просто несерьезно. Автор в своем романе пришел к правильным выводам и я, например, лично согласен с ним во всем.

“Итак, — подумал я, — вот уж третий голос в мою пользу и очень авторитетный и честный, это хорошо!”

Выступление хозяина кабинета было довольно конкретным. Он сначала похвалил роман одного из выступавших. Вот недавно, — сказал он, — ему пришлось быть у рыбака Арала, — в каждом поселке и даже доме он находил его эту книгу. Это значит, что товарищ написал высоко актуальное произведение. Вот это и есть то, к чему должен стремиться каждый писатель. Что же касается исторического романа Айбола, то по совести, об нем он много сказать не может. В Казахстане он человек новый, а историю его знает плохо: просто не успел еще как следует познакомиться, хотя и обещал сделать это. И книги Айбола он тоже прочел не все. Прочтет обязательно. Судя же по выступлениям товарищей, роман этот серьезное, умное, нужное произведение. Далеко не про всякую книгу это можно сказать. Необходимо отметить и то, что писатель впервые в республике коснулся средневековой истории края. Это тоже немалая его заслуга. Нам, конечно, в первую очередь нужны актуальные произведения — романы и повести о наших чудесных современниках, о их делах и трудах, но приказать писателю: не касайся истории — мы, понятно, тоже не можем. Тут

главное подход. Если такая книга написана с подлинно марксистских позиций — мы ее можем только приветствовать.

Вот все, что он может сказать.

Этим и кончилось совещание.

Потом только я узнал, что присутствующий на этом совещании помощник Ахметжанова, молодой ученый, критик обо всем этом подробно доложил Акылбеку.

Домой я шел один и думал, думал. Вот на этом собрании, — думал я, — говорилось, что художественная литература ощутимо отстает от уровня сегодняшней науки и техники. И доля истины в этом есть. Показатели экономические нашей республики огромны, показатели литературные — почти ничтожны. Кто тут виноват? Сказать трудно, но важно вот что: пройдут годы и ничтожными покажутся именно наши сегодняшние цифры, эти экономические показатели! Ведь мы их перекроем в пять, десять раз! И это будет наше “вчера”. Но литература, искусство — они всегда наш сегодняшний день. Вернее, это наш сегодняшний день, переброшенный в завтрашний, и все неприязни, споры, раздоры, недовольство будут интересны только тогда, если они принципиальны. В этом смысл и ценность таких совещаний, вроде сегодняшнего, на котором я присутствовал и не совсем удачно выступал. Все это имеет свою не только историческую, но и эстетическую ценность. Можно ли это сказать о заседании хозяйственников?”

Книга на русском языке рецензировалась в институте Востоковедения и вышла в издательстве “Молодая гвардия”. До этого уже включенная в план, она два года пролежала в портфеле редакции. Айбол знал, кого благодарить за это. Недруги работали, друзья, как обычно, отмалчивались.

В конце года Айбол пришел к Акылбеку. Тот взглянул на его изможденное желтое лицо, седину на висках, резкие носогубные складки, сеть морщинок у глаз — их прорезалось за этот месяц еще больше — и даже испугался.

— Да что это с тобой? — спросил он обеспокоено, когда они уселись.

— А что? — удивился Айбол. Он не любил смотреться в зеркало, его лицо никогда не представляло для него интереса.

— Да не болеешь ли ты? — спросил Акылбек неуверенно, — не видимся по месяцам, а увидишь тебя... — он все смотрел ему в глаза, — так ты не болен?

— Физически нет.

— Так что?

— Душа болит.

Акылбек помолчал.

— Что-нибудь серьезное? Жена, дети?

— Нет.

— А что же?

— Вы, Акылбек.

— Я? — Акылбек удивленно взглянул.

— Да, вы.

— Ну, тогда говори.

Айбол поморщился, помолчал.

— Вы помните ту статью о моем романе?

— В газете? Ну помню. Исключительно дурацкая статья. Так неужели ты из-за этой дряни... э-э, брат...

— Но санкцию-то вы на нее дали?

— Я? Это какой же дурак так тебя информировал? Как, Кырсыкбаев?! Я значит, по его словам, прочитал эту статью и сказал: печатайте?! Ну и дурак!..— и он коротко развел руками и вдруг улыбнулся.

Тут улыбнулся и Айбол. Все опять стало на место. И дальше разговор пошел уже совсем о другом, о том, что их интересовало обоих. А интересовало их многое. Будущее строительство города. Возведение плотины в урочище Медео. Дела Союза писателей. Новый роман, который задумал Айбол. И прощаясь, Айбол сказал:

— Ну я очень благодарен.

— За что? — удивился Акылбек.

Айбол посмотрел на него и собрался с мыслями. Как сказать это? Ведь такое обычно не говорят.

— За то, что я ошибся. Второй раз ошибся! Первый раз с Азирбаевым, второй раз сейчас. Очень хорошо, когда вдруг осознаешь, что ошибался. Спасибо за это, дорогой. Спасибо.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

— Едем всего час двадцать минут,— сказал Акылбек, взглянув на часы,— и покрыли за это время 250 километров. Недурно!

— Дорога великолепная,— ответил помощник,— везде ровный асфальт, молодцы наши гордорстроевцы,— они проезжали теперь по улицам Талды-Кургана.— Ну что, развеялось ваше тревожное настроение, Акылеке?

— Ох, не совсем,— покачал головой Акылбек.— Погода уж больно неподходящая. В 1956 году такая была.

А в 1956 году стояла такая же изнуряющая жара. Тогда прошли быстрые теплые дожди и началось таяние ледников. Высокогорная станция “Мынжылкы” (в переводе “Тысяча лошадей”), расположенная среди вечных снегов, предупредила турбазы об опасности. Были приняты вовремя необходимые меры — люди ушли. Сель прошел через ущелье Медео. Да, но тогда там еще не было знаменитого высокогорного катка — сооружения, не имеющего себе равных в мире,— и поэтому жертв не было. А если бы это произошло сейчас...— Акылбека даже передернуло от этой мысли — сейчас там курорт, сотни людей, туристы, спортсмены, обслуживающий персонал...

— Это вы мне положили на стол “В стране семи рек”? — спросил он помощника, — я взял домой почитать и просидел чуть ли не до трех ночи. Даже не верится, что меньше чем за пятьдесят лет могло быть такое... Ведь книга-то в 1925 году написана.

— 1926, — поправил помощник.

— Нет, она издана в 1926, а ездил автор по нашим местам летом 1925 года. Помните об Алма-Ате: “60 000 тысяч жителей, два кино, собственная газета, румяные, известные во всем мире яблоки, настоящая парикмахерская и даже мороженое”. Вот ведь как — даже мороженое! — он засмеялся, но не особенно весело — на самом же деле он помнил другое. В записной книжке у него было выписано: “Речка Алмаатинка притащила тогда с гор массу камней, забросала ими целые кварталы, и превратила несколько улиц в длинные узкие рвы, по которым и сейчас как по арыкам течет вода. В результате город яблок превратился в город камней — четыре года лежат эти камни на улицах и уже уютно обросли травой. Когда я приехал в Алма-Ату, комхоз объявил беспощадную войну остаткам “наводнения”, засыпали рвы, дробили камни, и кто знает, может через несколько лет город снова примет приличный вид до какой-нибудь новой шутки природы”.

— Да, до какой-нибудь новой шутки природы, — сказал Акылбек громко. Помощник удивленно посмотрел на него.

— Это из той книги, что вы мне дали, — объяснил ему Акылбек. — В последние дни все время идут дожди, а жара тридцать градусов в тени. Никак не выходит это у меня из головы. Нет, не вовремя я поехал на этот самый праздник, совсем не вовремя. Отложить бы его еще на месяц.

— Никак нельзя, — улыбнулся помощник, — да это и займет у вас несколько часов.

— Я так и ориентируюсь, — сказал Акылбек, — и вас тоже прошу об этом помнить. Вручим и сразу обратно.

Тут они подъехали ко Дворцу культуры и разговор прекратился.

Как долго и томительно длился этот праздник! Акылбек сидел в президиуме, слушал речь представителя обкома и думал: тридцать градусов в тени! В тени! Теплые ливни! Озеро Иссык! Десять лет тому назад у него на глазах погибло это голубое озеро, а с ним вместе около сотни туристов. Просто рухнул с гор грязевой поток и как ножом срезало соседнюю вершину, а миллионы тонн его залили, сравняли с землей, завалили глыбами и жидкой глиной голубое озеро, а вместе с ним и туристский городок, палатки “дикарей” и здание пансионата. Количество жертв так и осталось невыясненным. Ведь много было и приезжих. Они, наверное, до сих пор числятся в списке без вести пропавшими.

Однако же как долго длится этот праздник!

В зале было шумно, светло и весело. Люди смеялись, переговаривались и очень мало слушали оратора. А он говорил увесисто, тяжело, скуч-

но, приводил цифры, фамилии, брал на себя обязательства и заверял собравшихся...

Акылбек знал его.

Это был ничем не примечательный человек из тех, кого призывают из общественного небытия — большое народное движение, — в данном случае целина, — и которым иногда то ли по счастливому стечению обстоятельств, то ли благодаря некоторой житейской верткости удастся перескочить через несколько ступенек и занять какое-либо высокое место. Вот так он и стал одним из руководителей обкома. И это, очевидно, далось ему легко: сам из этих мест, все его знают, и он всех знает. Только зачем он так много говорит? Начал и не может кончить, смотрит на бумажку и вычитывает из нее все новые фамилии. “А вот еще у нас есть, товарищи...” и пошел, и пошел! Наконец он сел и слово дали Акылбеку. Акылбек говорил недолго, но четко и конкретно.

Потом подняли знамя области, и он прикрепил к нему орден “Дружбы народов”.

Раздались аплодисменты, грянул оркестр, завертелись кинокамеры. Зеленый луч прожектора упал на лицо Акылбека и он слегка загородился от него ладонью. Играла музыка, сверкали ордена, шуршали шелка знамен. На сцену поднялся пионерский отряд. Акылбек взглянул на серьезные ребячьи физиономии, как бы даже подавленные значимостью возложенных на них задач, услышал первые слова рапорта, произнесенные звонким девчоночьим голосом и на минуту забыл обо всех своих страхах. Он очень любил ребят, понимал их и ему всегда было хорошо с ними. Но сзади подошел его помощник, наклонился, шепнул ему что-то и снова стал серьезен. Каждый час ему сообщалась метеорологическая сводка, он отлично понимал как обманчиво коварное спокойствие этих вершин. Над ледниками все время кружили вертолеты. Наблюдатели сообщали ему еще три дня назад об угрозе, нависшей над городом. Снова замелькали в сводках морена и ледник Туюк-су. Если таянье не прекратится, в этой морене образуется озеро, оно растопит глину, перехлестнет берега и хлынет вниз, на город. Правда, в ущелье Медео оно встретится с первым заслоном — огромной плотиной, образованной двумя так называемыми мирными взрывами. Первый взрыв, произведенный 21 октября 1966 года, выбросил два с половиной миллиона тонн камней, второй, проведенный через полгода, добавил к ней еще миллион. Таким образом, была создана каменная громадина, перед которой все семь чудес древнего мира казались игрушечкой. Но сможет ли даже она выдержать удар гранитного кулака в миллионы тонн, спущенного на него с высоты двух километров? Сможет ли? И Акылбек снова вспомнил о трагедии голубого озера Иссык.

Ведь, собственно, что произошло?

Приехал в Алма-Ату высокий гость, один из членов правительства, и Акылбек предложил ему провести воскресенье не в городе, а на берегу этого

чудесного озера. Алмаатинцы гордились им. “Голубое озеро” висело в ресторанах и холлах гостиниц. Художники были покорены дикой красотой окружающих его гор, поросших елями, ясным гладким зеркалом вод, таким прозрачным, что везде проглядывалось дно. А ведь глубина этого озера доходила до 30-40 метров. Вода в нем была такая чистая и прозрачная, что ее можно было пить прямо у берега, и такая холодная, что от нее ломило зубы; ведь питали это озеро воды таящих ледников; словом, было это озеро таким прекрасным, такой от него веяло свежестью и покоем, и так красив был сбегаящий с гор лес, так вольно дышалось тут, на 700 м над уровнем города, что сюда, за Талгарский перевал в выходные дни съезжались сотни туристов и местных жителей. Ехали на такси, на автобусах, на мотоциклах и даже велосипедах — к озеру вела отличная автострада. Итак, московский высокий гость вместе с сопровождающими согласился провести выходной на берегу этого озера. И день как раз выдался ясный и солнечный. Они походили по берегам озера, посмотрели на его чудесную голубую гладь — это озеро было еще удивительно тем, что утром у него был иной цвет, чем в полдень, а в полдень оно выглядело иначе, чем вечером. Гости осмотрели дома отдыха, ресторан, палаточный городок, покатались на моторных лодках по озеру, тут была специальная станция, да и пошли в отведенную для них дачу. Высокий гость пошел отдохнуть, сопровождающие его лица вернулись на озеро — кто рыбу ловить, кто в бильярд поиграть, а он, Акылбек, пошел на террасу и сел под тент на плетеное кресло. Он тоже устал, но пойти к себе и лечь не решался — ведь он тут был за хозяина.

Он сидел, смотрел на горы, на белые неподвижные вершины их. И вдруг увидел над одной из них наползающие черные тучи. Они быстро ползли. Он обернулся. С другой стороны по краю неба он увидел бурые полосы: где-то шел дождь. А солнце-то сияло вовсю! “Этого еще не хватало!” — подумал он и сейчас же услышал хрипловатый голос из рупора — все громкоговорители были приглушены. “На юго-восточном секторе,— сказал диктор,— за озером идут теплые дожди. Просьба ко всем туристам, находящимся в горах, вернуться на базу... Повторяю...” Акылбек лучше, чем кто-либо знал, что это значит. Он разбудил гостя и сказал, что надо немедленно уезжать.

Сам он остался.

Уезжали столичные гости неохотно, никто не понимал степень опасности. “Ну и пускай в горах хлещет дождь,— сказал кто-то,— мы-то ведь под крышей”.

Отправив всех и оставшись только с помощником, Акылбек прежде всего связался с наблюдательным пунктом. “Что там в горах? — спросил он. — Говорит с вами...” и назвал себя. Тот же голос уже не скрывая тревоги, ответил, что положение в горах не вполне ясное, но дождь не прекращается.

— Все ли, кто находится в горах, оповещены? — спросил Акылбек.

— Те, кто имеет радиоприемник, уже возвращаются,— ответили с наблюдательного пункта,— но сегодня много “дикарей”, это одиночки, их собрать будет трудно. И приемников у них тоже нет”.

— Черт...

Распорядившись принять все возможные меры (ну, а какие меры можно было тут принять? — только повторять и повторять сигналы тревоги), он сел в машину. “Гони!” — сказал шоферу и уже на трассе увидел что-то совершенно невероятное: черные тучи вдруг рухнули на вершину утеса, и сплошная черная лавина чисто и точно, словно острым ножом срезала голову утеса по восточную сторону озера.

Раздался оглушительный рев, “Чайка” рванулась и понеслась, И в самый раз понеслась: через минуту было бы поздно — поток докатил до магистрали, и Акылбек увидел гигантское бревно — ель, вырванную с корнем. Ель эта летела прямо на него, на сверкающую никелем и черным лаком “Чайку”. Но шофер был опытный, и Акылбек даже не успел испугаться, как машина вылетела на простор. Поток не то обошел их, не то остался позади.

Они летели так, что все вокруг сливалось в пестрый, скачущий, гремещий и подпрыгивающий хаос.

А через полчаса на первой же остановке радио наблюдательного пункта сообщило, что изумрудного озера больше не существует. В течение пятнадцати минут поток покончил с ним — все было залито грязью, завалено грудой камней и щепками от тьяншаньских елей.

И теперь, сидя за столом президиума и слушая звонкие голоса пионеров, Акылбек снова пережил этот рев и гул землетрясения или еще чего-то такого же катастрофического, не имеющего ни образа, ни названия. Да, сейчас будет не так, сейчас на пути потока встает стена по мощности, вероятно, не имеющая себе равных в мире. 80 метров в высоту, триста метров в основании — какой поток не смиритесь перед такой громадиной! Правительственная комиссия тогда, в 1967 году свое сообщение о ходе работ закончила так: “Отныне столица Казахстана надежно ограждена от возможных катастрофических селей примерно на ближайшие 50 лет”. Слова, конечно, хорошие, обнадеживающие, но все-таки это только слова, обещания, а что скажет сама природа? Ведь никто даже теоретически не вычислял, какой предельно разрушительной мощи может достигнуть сель и скольким баллам он равняется?

“Надо позвонить Андрею Ивановичу, ведь он так любил этот город. Если что-нибудь случится...— подумал он и тут же оборвал себя: — А на что тогда я? Я ведь и нахожусь на этой земле, чтобы ничего не случилось! Хотя звонить все равно придется, через два дня будет совещание в Москве, а разве я могу сейчас вырваться туда? Значит, все равно придется объяснять. Вот тогда и скажу все”.

...Пионеры кончили и ушли. “Ой, товарищи дорогие, да выступайте вы покороче, у меня каждая минута на счету”, — думал он, но сидел спокойно и внимательно слушал. Иногда даже согласно кивал головой. И никто не догадывался, что с ним творится. Наконец список выступающих был исчерпан, раздался Гимн Советского Союза, потом Гимн Каз ССР.

Акылбек встал, протянул руку сидящему с ним рядом первому секретарю обкома.

— Ну позвольте поблагодарить вас за всех и еще раз поздравить, а затем, как ни печально, но мне надо ехать.

Председательствующий удивленно посмотрел на него.

— Так вы разве не останетесь с нами поужинать?

Он развел руками: — К сожалению...

— И потом мы думали, вы посетите колхоз дважды Героя Социалистического Труда Нурмолды Алдабергенова. Там завтра открывается его памятник. Ночь не в счет, а завтра мы заняли бы у вас всего несколько часов.

Он приложил руку к груди — не объяснять же в самом деле на этом праздничном вечере, почему он так торопится.

— Поверьте, — сказал он искренне, — в другое время мне и пары дней было бы не жалко для такого человека, как Алдабергенов, но сейчас никак не могу. Никак! Бывают случаи, когда и минуты решают все. Очень прошу, поставьте к подножию памятника от моего имени живые цветы, а меня уж извините.

И он уехал.

— Интересно, — сказал народный артист, пожилой человек, тоже приехавший из столицы специально на праздник. Он был уроженец этой области, — очень интересно повел себя наш дорогой руководитель. У него, видите ли, срочные дела. А присутствовать на открытии памятника — это что не срочное дело?

— Выходит, что не больно срочное, — ворчливо ответил руководитель. Он был тоже недоволен. Не так давно Акылбек отправил на пенсию его земляка. Этот земляк был его близкий друг и даже дальний родственник, и занимал большой правительственный пост. Правда, ему никак не следовало бы забывать, что только по прямому указанию Акылбека и он сам стал руководителем области. Но недаром говорят казахи: “Порадовать человека нетрудно, а вот попробуй-ка недовольного обратить в довольного”. Но человеком этот руководитель был осторожным, поэтому мирно вздохнул и сказал:

— Ну что ж? Ему, конечно, виднее. Значит, действительно были дела.

Он приехал, разделся и прошел в кабинет. Страшная усталость вдруг опустилась на него. Жена еще не возвратилась с концерта, и дома никого не было. Он снял пиджак и лег на диван. И сразу же заснул. Сон был тон-

кий, неверный, и все время сквозь него прорывалась действительность. Он слышал как пришла жена, а с ней какой-то мужчина, как они прошли в гостиную и мужчина сказал: “А между прочим, сегодня доходило до сорока”. Акылбек узнал голос своего помощника. “Наблюдатели сообщили, что...” “А что нам наблюдатели? — досадливо подумал он, — ничего для нас наблюдатели!”

Тут дверь тихонько отворилась, и на цыпочках вошла жена. “Чай пейте без меня, — сказал он не двигаясь и не открывая глаз, — я сплю”. “Вижу, — тихонько засмеялась она. — Что? Очень устал?” “Очень, — ответил он одним ртом. — Жара. Духота. Очень...”

А часа в два ночи вскочил так же внезапно, как и лег, совершенно свежий и бодрый, позвонил дежурному и выслушал сообщение, что грязевая масса в морене пока недвижима, но поступление теплых вод продолжается, хотя и замедлилось после захода солнца.

“Скверная штука, — подумал он. — Если в ближайшие дни жара не спадет, то...” А как же она могла спасти? С чего? Ни из каких данных не следует, что жара может спасти. Да, видимо, придется пережить горячие дни. Говорят, что мы за этой плотиной, как за каменной стеной — не знаю, не знаю. Ведь говорили же то же в 1965 году, что взрыв — а предполагалось взорвать гору и положить ее массу в основу плотины, — что вот этот взрыв разбудит дремлющие тектонические силы, что разорвется цепь горных озер и они хлынут в город. Ну и что? Говорили, а он не послушался и хорошо сделал, что не послушал их. А вдруг сейчас верно плотина не выдержит, и три с половиной миллиона тонн ее обрушится на столицу. Э-э, что думать об этом! Все, что было в человеческих силах, сделано, и теперь только остается ждать и быть наготове.

Он подошел к письменному столу и увидел роман Айбола, заложенный на середине. Быстро перелистал и вдруг вспомнил свой последний разговор с ним. Тогда Айбол никак не мог понять, почему он, Акылбек, — воспротивился назначению на пост — очень важный и ответственный пост — человека, кажется, всецело для него подходящего. Человек этот был доктором, профессором, написал целую грудку книг, и все их хвалили.

— А как ты думаешь, почему я так тогда поступил? — спросил тогда он Айбола.

Тот слегка пожал плечами.

— Ну, а все-таки?

— Прошое, — спросил писатель не особенно уверенно.

— Вот именно прошое! Но какое прошое!

— Его прошое давно умерло, — сказал писатель, — вы же сами поминали Абая: “Я бы отрезал язык всякому, кто говорит, что человек неисправим”. Да, в двадцать два года он совершил ряд крупных ошибок, но ведь вы сами знаете, как трудно было тогда разобраться в обстановке даже

очень опытному человеку, а тут еще молодость, незрелость. После этого он сам отправился на 20 лет в тайгу. И только чудом не погиб. А возвратившись, наверстал все. Разве этого не достаточно?

Акылбек вздохнул.

— Для кого не достаточно? Для него? Безусловно! Для нас тоже. А вот для будущего поколения — нет, недостаточно! Ведь не человека он погубил, а науку, математику, новые открытия — что-то очень большое погибло с тем, кого уж не вернешь. И погибло уже навеки. Вот ты подумай: мог ли ты простить Дантеса, — а ведь он тоже был молод — 25 лет ему было, и прожил он после этого больше полстолетия, был депутатом, сделал много хорошего для Верхней Силезии, так вот спроси себя: мог бы? Вот и я не могу. Просто не считаю себя вправе. Да кто я такой, чтоб прощать за другого. И потом, ведь этого человека никто не преследует — профессор, доктор! — разве это так уж мало? — он положил книгу. — Да, человек-то исправим, а вот дело рук его иногда ничем не исправишь. Правильно тогда об этом говорил аксакал, только почему это приходит мне в голову, разве об этом сейчас надо думать?

Он позвонил по телефону и спросил, какие последние сводки.

— Пока без изменений, но вода все прибывает, — ответили ему.

— Значит, положение катастрофическое, — спокойно ответил он наблюдателю и положил трубку: что было еще спрашивать, он сам знал все.

Однако катастрофа разразилась только к вечеру следующего дня. 15 июня в 6 часов 15 минут белое безмолвие ледников и снежных вершин потряс грохот горного обвала. Грязевой поток вырвался на волю и мигом заполнил русло Малой Алма-Атинки. Там он встретил первый заслон, противоселевую ловушку возле туристской базы “Горельник”, смял ее как бумажного голубя, разбил бетон, скрутил и вырвал из земли стальные перекрытия, и покатился дальше, гоня перед собой целые скалы, вековые ели, дорожные знаки и заслоны. Все это ревя, взрывая берега и сметая все, что попадалось на пути, катилось к плотине. Противоселевая чаша, вырытая возле нее, была мгновенно наполнена и поглощена этим грозным нашествием камня, грязи и железа. Но бетонный щит как рука титана остановил этот бешеный напор. Поистине еще никогда ни одно создание человека не было противопоставлено такому разрушительному удару, как в этот день. Потом уже высчитали, что поток 15 июня 1972 года был втрое мощнее селя 1921 года. Высота его вала уже в горах достигала 30 метров, а катясь вниз он рос еще за счет разрушений. Глыбы диаметром до семи метров, столкнувшись с первой ловушкой, мгновенно пробили каньон глубиной в 50 метров. Но бетонная стена в ущелье выдержала все. На нее неслась земляная масса — целый остров, превращенный в песок и глину — падала скала, разлетевшаяся на куски; хлынуло горное озеро, излившееся в долину. Короче, пять миллионов кубометров грязи, камня и воды обрушилось с высоты двух километров на нее! Но она даже и не дрогнула.

Первое известие о сдвинувшейся громадине застало Акылбека еще в рабочем кабинете. На столе его лежали бумаги, часть из них он подписал, часть нет, а сам ходил из угла в угол, поглядывая в окно на сверкающие белые вершины. Они были мирны и спокойны. Правда, снежная шапка в эти дни совсем сузилась и поднялась к самой вершине. “Неужели не обойдется”, — подумал Акылбек. Зазвонил телефон. Теперь уже диктор не скрывал тревоги, он говорил быстро, точно, называл места прорыва, сообщал о начальной скорости потока, о его предполагаемом объеме. “Вот тебе и очередная шутка природы”, — усмехнулся Акылбек и вызвал своего помощника. Все волнения и страхи как бы сразу схлынули с него — он был теперь совершенно спокоен. Так, наверное, чувствует себя военачальник, когда ему сообщают о давно ожидаемой атаке противника. Помощник сообщил ему и более точные сведения. Они не были очень утешительными. Селевые ловушки удержать поток не смогли — они были смяты в течении считанных секунд и их стальными обломками теперь поток таранит плотину. Помощник говорил об этом потоке как о живом существе. Акылбек заметил это мимоходом и подумал: “А ведь, пожалуй, и действительно стихия иногда ведет себя отнюдь не по законам гидравлики или механики, а как-то иначе, почти по разумному: подползает, выжидает, обходит, кидается”.

Он подошел к окну, взял лист, лежавший поверх бумаг, отдал помощнику и сказал:

— Вот тут я наметил, кого сейчас надо обзвонить. 15 минут вам хватит? Так вот без десяти семь все собираются в этом кабинете.

Он знал, что все перечисленные не спят и ждут его звонка. В эти два дня люди уходили домой только получив разрешение.

Через несколько минут кабинет стал наполняться. Пришел начальник штаба и командующий Среднеазиатским военным округом, заведующие отделов городского совета во главе с председателем, члены облисполкома, члены правительства. Акылбек их всех встречал кивком головы, он все время говорил с кем-то по телефону, что-то выслушивал и что-то отвечал:

— Так вот, товарищи.— сказал он, наконец кладя трубку и переключая телефонный аппарат на секретаршу,— долго говорить тут не о чем. Скажу только одно: если сель прорвется через плотину, он слизнет половину города. И здание, в котором мы сейчас говорим, тоже. Великое разрушение 1921 года перед тем, что несется на нас — игрушка. Зачитываю список членов комиссии — и прошу всех названных товарищей сразу же выехать в горы. Дальнейшее указание получите на местах. До свидания, товарищи. Увидимся на плотине.

Все ушли, а он связался с Светловым и доложил: поток прорвался и идет на город. Положение тревожное, но не катастрофическое. Все возможные меры приняты.

— Какие? — спросил Светлов.

Акылбек быстро перечислил их и сказал: — Так что, я думаю, город мы отстоим, но ни я, ни мои ближайшие помощники выехать в Москву на совещание не сможем”.

— Хорошо,— ответил Светлов,— не приезжайте. Вы говорите, что мобилизовали все гражданское управление республики. Но поднимайте также и военный округ. Там же есть войска всех специальностей — и саперы, и инженеры, бросьте эти части на плотину.

— Слушаюсь,— ответил Акылбек, он и сам уже думал об этом, но военный округ не был подчинен.

— Это одно. Теперь второе. Вызовите из Новосибирского филиала Академии, и если нужно, то и из Москвы специалистов по этим вопросам. Мы дадим указание, чтобы ваши заказы выполнялись без всякой очереди. Докладывайте о том, что происходит, каждые два часа. Где бы я ни был, вас сразу свяжут со мной.

— Спасибо, Андрей Иванович,— поблагодарил Акылбек и почувствовал, что на том конце провода в Москве улыбнулись.

— Ну и отлично. Я чувствую, дух у вас бодрый. Очень хорошо. Передайте привет всем алмаатинцам. Держитесь, Акылбек Ахметжанович! Держитесь! Мы вас в беде не оставим. Ах, как вовремя вы закончили эту плотину!

Да, подумал Акылбек, отходя от аппарата, закончили в самое время, но до этого я ее еще вовремя и отстоял. А это было черт знает как трудно, чем нас только тогда не пугали — и если бы мы тогда струсили, то половины города уже не было бы. И это здание, и оперный театр, и университет — все это было бы затоплено жидкой грязью.

На самом гребне плотины высоко-высоко над землей находится маленькое уютное кафе — “Карлыгаш” — ласточка. Так архитектор и художник назвали это легкое воздушное сооружение, которое и верно напоминало ласточкино гнездо, прилепленное к склону горы. Вот в этом кафе и обосновалась чрезвычайная правительственная комиссия по борьбе с селем. Отсюда было видно на много километров все, что делается вокруг. Внизу, в непроглядной тьме от гор двигалась цепь белых и желтых огней. С высоты плотины можно было видеть, как ползет, подрагивает эта огненная змея — это по распоряжению комиссии эвакуировалось население.

А навстречу им из города неслись другие огни — белые, красные, желтые, зеленые — прибывали самосвалы, бульдозеры, экскаваторы, а на них автогенщики, экскаваторщики, механизаторы, специалисты по автоматике связи, бригады строителей — солдаты и офицеры, инженеры и рабочие, сформированные в отряд гражданской обороны города.

Несколько тысяч собрались сюда к подножью плотины, чтобы вступить в бой со стихией.

А она все надвигалась и надвигалась...

Все это увидел Акылбек, когда прибыл в штаб чрезвычайной комиссии. Большого сделать было невозможно. Но его волновало другое.

— В горах должны быть люди,— сказал он.— Где они? Что о них известно?

Ему ответили:

— Количество “дикарей” установить невозможно, они же нигде не регистрируются, но там еще находятся две альпинистских группы — минская и ленинградская.

— Так что делается для их вывода оттуда? — спросил Акылбек.

Председатель комитета, грузный человек лет пятидесяти, посмотрел на него красными от бессонницы глазами.

— Делаем, что можем. Вертолеты обшаривают ущелья, но в горах туман, притом рельеф гор очень неровный, не спустишься...

— Туманы могут продержаться долго,— сказал Акылбек,— людей не увидишь. Надо попробовать найти добровольцев из альпинистов и образовать спасательные отряды. У них свои лазы и маршруты.

Через два часа первый отряд пустился в путь, руководил им мастер спорта Михаил Кулемин.

Он только позавчера вернулся с пика Маншук Маметовой. А сегодня, услышав, что в горах находятся “дикари” и туристы, пробился через цепь машин и грузовиков и явился в штаб.

Отряд сразу приступил к работе — он начал прочесывать район от турбазы “Горельник”, находящейся у автострады, до высокогорного района морены.

Шли группами и поодиночке, обшаривая все ложбины, ущелья, склоны скал. В назначенный час Ахметжанов позвонил Светлову и доложил обстановку.

— Только вы вот что: этих самых спасателей не упустите из виду, сказал Светлов, выслушав об отряде Кулемина,— надо чтоб вертолеты держали с ними постоянную связь. И окликайте, окликайте их почаще по радио. Ребята все время должны чувствовать, что вы рядом.

С турбазы “Горельник” отряд Михаила Кулемина направился к Алма-Атинке, но преодолеть ее не сумели — крошечная речонка вышла из берегов, залила окрестности и бушевала, катя перед собой черные и белые глыбы. Пришлось возвращаться к плотине и по ней переходить на другой склон горы. Альпинисты находились там, около Мынжылки. Восхождение было трудное — трудно было не только подниматься, но даже идти вдоль высокого берега Алма-Атинки — все было скрыто, искорежено, завалено деревьями, щепками, камнями, залито глиной и занесено песком. Порой тропинка обрывалась — по этим местам пришелся особо сильный удар и весь склон обрушился. Тогда приходилось карабкаться вверх и осторожно обходить подмытые берега, они ведь тоже могли каждую секунду рухнуть и погрести смельчаков.

Теперь со спасителями шли и спасенные, их снимали с уступов, с глыбин, с больших камней.

— Так куда же вы сунулись? Вы что, не видели, не слышали, что на каждом шагу стоят знаки: “Осторожно! Сель! Подниматься воспрещается!” — безнадежно спрашивал Кулемин и махал рукой: — ладно! Мы пойдем дальше, а вы идите до плотины.

И подробно объяснял им маршрут.

Его группа шла к истокам Алма-Атинки, в горы, и с каждым десятком метров идти было все труднее и труднее.

Раньше здесь были густые перелески и высокие скалы, сейчас от них не осталось и следа.

Утесы стояли словно обезглавленные.

В воздухе носились и гудели пчелиные рои, их ульи были снесены и теперь они носились над головами ребят и, обессилев, садились на рюкзаки. Были они мокрые, тихие и не жалили. Наконец, поднявшись к самому зарождению потока, ребята увидели ленинградцев. И те тоже были мокрые и тихие. Услышав рев и грохот, они успели подняться на гору. Селю достались только их палатки. В общем, из этих групп никто не погиб. Все спасенные были доставлены в Медео и отправлены в город.

— Все альпинисты выведены с гор, — через два часа сообщил Ахметжанов в Москву, — помогли наши добровольцы.

— Скажите им, что они герои, — сказал Светлов. — А как дела с плотиной?

А с плотиной все еще неясно.

Ни на одну секунду наблюдательный пункт на гребне плотины не покидали члены правительства и ответственные работники ЦК. На второй же день прибыли и ученые — вице-президент Академии наук М.А. Лаврентьев, директор института физики земли академик М.А. Садовский, начальник экспериментального отдела Горстроя СССР Смирнов и ряд других специалистов. К концу четвертых суток заработали первые установки: двенадцать мощных насосов и три трубопровода.

Каждый почти полтора метра в диаметре.

Их привезли, смонтировали и установили в кратчайший срок, и только после этого люди перевели дыхание и может в первый раз взглянули на озеро, расстилающееся перед ними.

А оно было широкое, глинистое и совершенно спокойное. Даже не верилось, что это и есть тот бурлящий поток, что только что ломал скалы и комкал стальные перекрытия. На мутно-желтой глади озера отражались вершины Тяньшаньских елей, и отражения эти были совершенно неподвижны. Акылбек вместе со всеми стоял и смотрел на эту мирную воду. В ней горели огни на плотине и фары машин. В горах клубился густой туман — это с вертолетов сбрасывали дымовые шашки, чтоб хоть немного

смирить силу беспощадного солнца. Здесь в горах, оно светит ярче и па-лит сильнее, чем в долинах. К Акылбеку подошел председатель комиссии.

— Все насосы работают вовсю,— сказал он, уровень воды спал на 11 сантиметров, но дело в том, что...

Они стояли рядом, а приходилось почти кричать, так ревели над этим тихим озером моторы и тракторы.

—... что ил и камни забили водосбросные трубы, сейчас спускаем водолазов и устанавливаем на понтонах мощные пульпа насосы. Слышите? Они уже работают.

Грохот все усиливался, теперь к ним прибавилось какое-то шипение и звонкий голос работающих — Бригада Василия Сухоносова... — уже по-настоящему кричал председатель, — шум съел начало следующей фразы. — Через два часа будет еще пущен 16-тонный насос с тридцатитонным двигателем. Подведен шестикилометровый бронированный силовой кабель. — Он прокричал еще что-то, махнул рукой и убежал.

Акылбек продолжал смотреть.

Внезапно на озере всплыло несколько понтонных плотов.

Люди в военных формах с воспаленными от пыли и дыма глазами де-лали что-то странное и непонятное даже для него, инженера.

Он только знал, что это собирают насосы.

С другой стороны озера работали водолазы.

Им надо было во что бы то ни стало пробиться к водоприемнику, за-валенному камнями и наносами.

Но за сутки ил сделался таким плотным и твердым, что его приходи-лось размывать из пожарного шланга. Струя была острая как резец, и все-таки пришлось погрузится несколько раз, прежде чем стена поддалась и в ней проделали ход к водоприемнику. Расчистили его от камня и стали гнать грязевую массу в заранее подготовленное русло, но сель вдруг снова пока-зал свой звериный характер — он отказался ложиться в приготовленное для него русло — повернул к высокогорному катку Медео и стал упорно пробиваться к нему, рыча, расчищая дорогу и сминая встречные скалы. Тут в дело вступили подрывники, и был произведен еще один взрыв, четко и умно рассчитанный и хорошо направленный. И стихия смирилась. Ей больше некуда было деваться. Все ходы для нее были преграждены, кроме одного — и она послушно поползла по нему.

Человек победил.

Из записок писателя Айбола.

“Ну что поделаешь с этим человеком, он совсем не щадит себя и не хочет никого слушать. Врачи в первый же день категорически запретили ему подниматься на гребень плотины, сердце у него оказалось в очень не-важном состоянии. Так он сделал вид, что страшно обеспокоился. “Да, да! Конечно! Ни в коем случае! Да что мне жизнь не дорога, что ли? Да кля-

нусь вам, доктор...” А когда врач ушел, выждал двадцать минут — ровно столько, сколько нужно, чтобы он уехал, подошел к телефону, вызвал машину и помчался прямо к “Ласточке”.

Шофер, здоровый молодой парень, влюбленный в Акылбека, сказал ему недовольно:

— Ака, вам же нельзя туда, врач категорически запретил. Ведь 800 метров, а у вас сердце...

А у тебя что? — спросил Акылбек, — вместо сердца пламенный мотор, что ли? Как в песне? Есть оно у тебя или нет? А?

Шофер никогда не чувствовал свое сердце и наверное не задумывался над тем, есть ли оно у него или нет, и поэтому на этот неожиданный вопрос ответил весьма неуверенно:

— Оно у меня есть, конечно, но оно у меня не больное...

— Ну, а у меня больное, — сообщил Акылбек, — оно у меня больное и поэтому болит и за тех, кто наверху, и за тех, кто внизу, и за тебя, между прочим, тоже! Ты где живешь-то? У арыка? Вот и дома твоего нет. И жены твоей нет! И ребенка тоже нет! Приедешь, а там одна рыжая лужа глины. Ну заболит тогда у тебя сердце или нет?

— И что же вы ему ответили, — спросил я шофера, когда он мне передал этот разговор.

Тот руками развел.

— Ну, а что тут ответишь?

Видимо, логика Акылбека показалась ему неопровержимой. Да, что-то, а уговорить этот товарищ всегда умел.

Все кончилось тем, что его чуть не насильно увезли и уложили в постель.

В первый же день я позвонил Зине и спросил как состояние ее шефа.

— Пока ничего не знаю, — ответила она. — Сейчас туда никого не пускают и не подходят к телефону. Врач сам дежурит около него, а потом приходит сестра. С ней-то много не поговоришь. Строгая дама.

Я позвонил на другой день.

— А, — обрадовалась секретарша. — Это ты? Я сказала, что ты справлялся о его здоровье, и знаешь что он ответил? “Скажите ему, что лежу на спине и читаю его последнюю книгу. Встану будем говорить, тут мне разное в голову приходит...”

Ну что с ним поделаешь? Ему велели лежать на спине, и не двигаться, а он книги читает... Значит, и на бок поворачивается, и сидит, наверное, еще...”

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Из записок писателя Айбола.

“Сегодня я первый раз у Акылбека так сказать строго официально. От имени подготовительного комитета по устройству пятой конференции

писателей стран Азии и Африки — такое у нас длинное и официальное название, которое никак не сократишь и не убавишь. Я пришел к нему в кабинет вместе с нашим парторгом и вручил ему торжественно портфель с пригласительным билетом, программой и сувениром. Это был прекрасный портфель, дорогой, сделанный из настоящей кожи, такой, что его и держать в руках было приятно. Как и полагается в таких случаях, мы обменялись короткими речами. Он сказал, что очень высоко ценит наши усилия, знает, какие трудности нам приходилось преодолеть, ведь не так-то просто устроить такую конференцию. Что он бесконечно рад, что эта конференция писателей бывших колониальных стран собирается именно в столице Казахстана. Нам есть что показать гостям, чем их удивить и обрадовать.

Мы ответили ему, что страшно благодарны ему прежде всего за саму эту идею — устроить конференцию в нашей столице, а больше всего за ту помощь, которую он нам оказывал повсеместно. Без его бы доброго участия просто ничего бы не удалось. И он, и мы говорили правду. Голову нам поломать пришлось, конечно, изрядно. Одни хозяйственные дела чего стоили! Остро стояли вопросы — помещения, надо было спешно заканчивать строительство, разработать маршруты экскурсий и посещений театров и музеев, согласовать число желающих (его тоже приходилось высчитывать), разбить их мысленно на группы... Нет, нет, это было совсем не просто и похвалы мы от него, как от руководителя правительства, действительно заслужили.

Но и он от нас заслужил этот дорогой портфель с сувенирами. Ведь первая мысль об этой писательской конференции пришла именно ему — Акылбеку Ахметжановичу. Именно тогда, два года тому назад, в Алма-Ате проходило собрание участников за мир в странах Азии и Африки, предложил председателю бюро этой организации Юсефуэс-Сибай провести у нас очередную конференцию писателей Востока. И так как этот Юсефуэс-Сибай одновременно являлся и председателем ассоциаций писателей, решение было принято тут же.

— Думаю, и мы, и вы заслужили эти похвалы, Акылбек Ахметжанович, и в самом деле, — сказал я улыбаясь.

— Да, конечно, заслужили, — серьезно кивнул головой Акылбек. — Вот мы часто говорим об экономических и производственных показателях республики, на столько-то перевыполнили план производства, столько-то дано хлеба и метала сверх плана. Иногда, больше мимоходом, упоминаем и культурные мероприятия — новые дворцы культуры — вон один дворец имени Ленина что стоит? Новые кинотеатры на несколько залов, цирк какой-то необычайный за Головным арыком, вот об этом говорим, а то, что Казахстан — передовая литературная страна, этого я никогда не слышал. Даже от вас, писателей, и то никогда не слышал.

И сами никогда не говорили, — улыбнулся я.

— Правильно. Тебе никогда не говорил, но делая предложение Юсефу собраться у нас, я сказал именно это. Ведь мы же страна древних литературных традиций,— сказал я,— мы родина Мухаммеда аль Фараби, Дуглата Кашкари, Махамбета, Абая. Наш Мухтар Ауэзов — один из лучших прозаиков современности. Наши книги давно перешагнули рубежи, мы, казахи, издаемся во Франции, Индии, Китае. Наша Академия издала даже особую монографию о казахской литературе на языках мира. Мы имеем все права, дорогой председатель, пригласить вас, писателя, и ваших коллег, к себе. А хозяева как и видите, мы радушные. Хорошим гостям всегда рады. Так что приезжайте к нам, не раскаетесь, вот что я сказал тогда Юсефуэс-Сибай.

— Трудно придумать более убедительную и аргументированную речь,— сказал парторг,— недаром в газетах промелькнули слова “лаборатория интернациональной дружбы”. Это о нас.

— Ну вот,— сказал Акылбек,— я очень рад, что все хорошо у вас получается,— он привстал.— Еще раз спасибо за приглашение и за этот чудесный подарок,— он похлопал по портфелю.— Кажется, у меня еще такого не было! У меня, видите, все больше папки, а портфель старый, потрепанный. Вы как будто угадали мое желание, я ведь к портфелям питаю нежность еще со студенческих лет! Ну спасибо! Увидимся завтра вечером. Надеюсь, зрелище будет красочным.

И действительно, в этом огромном зале на три тысячи мест, было на что посмотреть. Я видел, как не сиделось на местах художникам, как они вертелись, выхватывали блокноты и быстро заносили в них-то курчавую голову негра из Нигерии-то тонкую гибкую фигуру бородатого йеменца, известного всему миру лирика,— он был в белом тюрбане и с большим кинжалом за поясом,— то грациозную и медлительную индианку с красным пятнышком на лбу,— она была одета в сари, а мне казалось, что я вижу древнюю римлянку в тунике-то, наконец, молодую французскую поэтессу в мини-юбке. Ее окружили сразу несколько художников и фотографов, а она, тонко улыбаясь, поворачивалась то так, то этак, давая себя запечатлеть со всех сторон.

Собрание открыл Ашимов. Ахметжанов сказал краткое приветственное слово и сел. За ним на трибуну вышел председатель Союза писателей - Ануар Алимжанов, невысокий худощавый человек с блестящими черными волосами на зачес и в роговых очках. Этот сделал уже обстоятельный доклад. Начал он с самых древних времен — от появления первых казахских городов-крепостей на Сырдарье, потом рассказал о культуре казахских степей во времена позднего средневековья, особо остановился на знаменитой Отрарской библиотеке, второй по количеству рукописей после Александрийской. Затем долго говорил о борьбе казахского народа за свою самостоятельность и, наконец, рассказал о расцвете национальной куль-

туры государства казахов при Советской власти. После доклада был концерт. Акылбек уехал почти последним. Уезжая он говорил секретарю по идеологии: “Ну, поеду к себе в горы. Что-то неважно себя чувствую. Ты извинись перед гостями. С удовольствием поднял бы с ними рюмку армянского коньяка, да не хочу гневить Всевышнего...” — и пожал его руку.

А около входа он вдруг остановился, увидел меня и спросил:

— Слушай, ты ведь тоже бываешь в горах? Знаешь, когда кончится конференция, зайди-ка, хочется мне рассказать тебе одну презабавную историю. Случилась она давно, а вот сегодня я присутствовал при ее окончании. Будешь благодарен за нее. Не каждый день писателю приходится услышать такое, может, верно вставишь ее куда-нибудь...

А история и верно была замечательная, однако, самое главное в ней было то, что ее мог мне рассказать только сам Акылбек — он сидел чуть согнувшись, разговор происходил на террасе его дачи, — отпивал чай с молоком и рассказывал.

— Это случилось сразу же после окончания института. Меня назначили сменным инженером на Коунрадский рудник. Это была вообще моя первая самостоятельная работа. Дело было новое, огромное, мы снабжали медной рудой Балхашский завод-гигант. Жил я тогда в здании управления, в отдельной комнатке, не особенно большой, но мне больше и не требовалось. Ведь мне только что исполнилось двадцать пять лет.

Тут он вдруг засмеялся и покачал головой.

— С ума сойти! Подумай-ка! Двадцать пять лет! А я считал себя тогда стариком. Ну как же — четверть века! Огромная цифра! А вот мне сейчас шестьдесят, и все равно что-то замышляю, планирую, а может... Он не окончил.

— Ну так вот, иду я утром мимо нашей столовой на работу, были тогда длинные бараки турксибовского типа, — их и в Алма-Ате было много, — иду и вижу: стоит небольшая толпа, человек десять. Все русские, тогда нам Кострома поставляла рабочую силу, местных кадров почти не было. Это потом мы их вырастили. Так вот, стоят эти десять человек и что-то горячо обсуждают. А в середине пожилой казах в рваном чекпене, в бараньей шапке, ну типичный степняк откуда-то из Северного Казахстана. Рядом с ним женщина, конечно, жена. Одета бедно, но с претензией — на голове белый платок, длиннополое с оборками платье из дешевенького ситца, его у нас называли “косетек”, а сверху донельзя истертый камзол, но из настоящего черного бархата. Она стоит и держит за руку карапуза лет трех — он все жмет к матери, а глазенки у него испуганные, губы дрожат, ну вот-вот разревется. Рядом же на земле лежит двугорбый верблюд, ни на что не смотрит и спокойно жует жвачку. Стоят эти люди, смотрят друг на друга и никак не возьмут в толк, что же им сейчас надлежит делать. Казах что-то хочет объяснить, но по-русски ни слова не знает,

прижимает руки к груди, бормочет что-то, а вот что — никто понять не может. В это время я и подошел. Как меня увидели — так сразу все ко мне и бросились. Один бородатый даже за руку меня схватил.

— Вот, товарищ начальник, поговорите с ним, что ему надо? Зачем приехал? Говорит что-то, а мы не понимаем.

И казах тоже ринулся ко мне. Оказывается, он из Павлодара. Приехал сюда к брату. Брат этот уехал из родных мест в голодный тридцать второй год, и с тех пор тут где-то живет и работает. Вот они и надумали разыскать его — он, жена и Булат — этот самый трехлетний карапуз.

Спрашиваю рабочих, может кто слышал что о его брате, имени сейчас не помню, но тогда казах назвал его. Тут меня один молодой парень и спрашивает вдруг:

— А далеко этот Павлодар?

Говорю: “Отсюда километров семьсот”.

Покачал головой.

— И вот на этой животине они за столько верст и приехали?

А животное себе жует да жует и на нас никакого внимания не обращает. И все тут зашумели. Действительно, семьсот верст втроем с поклажей на таком одре. Ведь летом верблюды очень неказисты — шерсть у них кло-чьями, сами все в колючках, горбы опадают.

— Что семьсот верст проехали, этому, — говорю, — удивляться нечего. Эта животное и три, и четыре тысячи километров пройдет и ничего с ней не случится. Казахи на таких верблюдах до Афганистана и Индии раньше доезжали.

И ничего ему?

— А что ж, — говорю, — ему делается? Идет в караване по степи, да позванивает колокольчиками. Дойдут до какого-нибудь колодца, тут распустят ему сбрую, напоят из ведра, переночуют и дальше поехали.

Сильное на всех это впечатление произвело. Вот такое же, наверное, как на нас все эти тюрбаны, сари и кинжалы во Дворце Ленина. Ведь эти простые русские парни из Костромы, может быть, первый раз тогда встретились с Востоком. Покачали головами, подивились, кто-то верблюда по голове погладил, по бокам похлопал, а он все жует и жует.

Но ведь делать что-то надо. Спрашиваю: ну, может, кто-нибудь знает брата этого человека? Тогда опять заговорили между собой. Послали одного что-то выяснить, он привел другого. Оказывается, действительно, есть тут такой, даже каким-то начальником стал — сменой руководит. Не женат, в общежитии у него отдельная комната, а сейчас он уехал в Караганду, начальство послало за чем-то — видишь, как он обтесался! — вернуться должен через неделю.

Стали рабочие обсуждать, как же этих троих устроить. Главное, ведь семья, значит, всех вместе и поместить надо. Горячо все заговорили, заспорили. Я послушал, послушал и говорю:

— Ну, товарищи, этот вопрос как раз решается очень просто. Я живу один. Целый день дома не бываю, прихожу только ночевать, вот я своих земляков и заберу к себе. А вам спасибо за добрые чувства.

— Ну, если бы ты видел, как они все засияли!

Подняли мы верблюда и пошли. Идем, а за нами ребята бегут — верблюдолюды! “Дяденька, а как его зовут? Дяденька, а что он кушает? А сколько ему лет?”. Казах посмотрел на них, покачал головой и даже вздохнул.

— Что вы,— спрашиваю,— аке?

— Велик,— говорит он,— русский народ! Воистину велик! Смотри, этому карапузу лет не больше, чем моему Булату, а уж как по-русски болтает!

— Так ведь и ваш Булат по-казахски говорит, наверное, чисто.

— Ну что это! — говорит казах.— Наш язык — он легкий! И я его знаю, и жена знает, а она совсем неученая, и Булат знает, а ему четыре года.... Казахскому учиться не надо, он сам в голову укладывается, а вот русский, русский...— и опять вздохнул.

Я засмеялся.

— Так ваш Булат,— говорю,— годик здесь поживет, и тоже будет болтать по-русски не хуже этих ребят.

Тут отец только рукой махнул.

— Да нет, где ж ему! Никогда он русскому не научится!

Акылбек засмеялся, допил пиалу до конца и отставил ее.

— Да, прекрасная история,— сказал я.

— Стой, она еще не окончена. Вот этот самый Булат и был нашим переводчиком. Помнишь того молодого круглолицего парня, который переводил нам с арабского, английского, испанского и французского. Видел какой он мастер?! Говорит почти синхронно, с оратором, ни на секунду не задерживаясь. Вот тебе и рассказ о двух наших встречах.

— Да,— сказал я,— почти как у О Генри. Рассказ с неожиданным концом. Сюжет для небольшой повести. Впрочем, таких сюжетов в этом зале набралось бы много, ведь съехались представители ста народов — семьдесят зарубежных и тридцать наших. Надо посмотреть в справочниках были ли когда форум более представительный.

— И не трудитесь. Не было,— сказал Акылбек,— когда я был в Иране...

Я засмеялся.

Вы как будто читаете мои мысли, я вот только сейчас тоже думаю про Иран и вспомнил слова Горького. Он сказал о Сулеймане Стальском так: “Есть великие народы, которые могут сделать своих маленьких сыновей великими, и есть великие сыновья малых народов, которые могут сделать свой маленький народ великим...” Вот я и подумал, что иранцы смотрели на вас как на великого сына маленького казахского народа. А ведь Ирану мы, казахи, очень многим обязаны. Правда, до этого были у нас с ним свои счеты. Кипчакские захватчики в седьмом веке, как туча нависли над этой страной. Они и думают: варвары! Кочевники! Дикари! И вдруг пол-

номочным представителем великого Советского Союза приезжает дальний потомок этих самых кипчаков — казах! Вы представляете, что это значит для нас, ваших соплеменников и современников.

Акылбек засмеялся.

— Ах, националист, националист! — сказал он. — Недаром тебя так и прозвали. И напустили на тебя всех цепных собак. Ты никогда не упустишь случая, чтоб хоть как-то, хоть чем-то возвысить свой народ. Подчеркнуть, что он тоже что-то внес в мировую культуру и историю. Помнишь, ты мне говорил, что нельзя понять историю человечества, если не знать того, что происходило в седьмом веке в Сырдарьинских степях. Смотри! Опасные эти слова!

Тут я полез в карман.

— А разрешите, я прочту вам одну выписку!? — и вынул блокнот.

Акылбек покачал головой. — Значит, раньше я угощал тебя цитатами, а теперь ты меня: Ну, давай, давай! — сказал он.

“Пусть, космополиты,— прочитал я,— мечтают о будущем отдельном слиянии всех племен и национальностей в одну человеческую семью, пусть этому суждено когда-нибудь исполниться, но даже для этой самой цели — если бы такая была в самом деле конечная цель человеческого бытия,— необходимо каждому народу перерабатывать все соки своей жизни, извлечь из нее все силы, весь смысл, все качества и дары, какими он наделен, и принести эти национальные дары в общечеловеческий капитал! Чем сильнее народ, тем богаче будет этот вклад и тем глубже и заметнее будет та черта, которую он прибавит к всемирному образу человеческого бытия”. Вот,— сказал я,— закрывая блокнот,— И. А. Гончаров.

— Дай-ка посмотреть,— воскликнул Акылбек,— сентябрь 1877 года. Да! Замечательные слова! “До тех пор и даже для этой самой цели...” Гениально! Пока-то мы, конечно, маленький народ и не во всех уголках мира нас даже знают, я это хорошо прочувствовал во время своих поездок. Но вклад свой мы сделали, Я ведь много поездил, был в Индии, в Китае, Иране, во всех арабских странах, в Испании, в Латинской Америке, и вот однажды в Аргентине у меня случилось такое: сидим мы с моим переводчиком в ресторане и обедаем, а рядом какой-то иностранец, не аргентинец, но русский понимает. Вот когда я вышел куда-то, он и спрашивает переводчика: “Это русский?”. “Нет, казах”, — отвечает переводчик. — “Казах? Это какой же? Донской?” “Нет казах, а не казак, с “х”, а не с “к”; это целый народ, он живет в нашей стране с древнейших времен”. “Чудеса! Никогда не слышал! Каза-хх! Каза-ххх! И что же, они все такие рослые, красивые, культурные?”

Вот как смотрят на нас на Западе.

— На диком Западе,— поправил я его,— Есть и такое выражение в Америке.

Акылбек покачал головой и ничего не ответил.

— Да, вклад внесли, а хранить его не умеем,— сказал я, разбрасываемся им. Байтурсунова прочь, Магжана Джумабаева на свалку, а кто о нем упомянет — тому голову долой! Эх, бездарные трепачи!

Акылбек встал, взял поднос, чайник, пиалы и вышел из комнаты. А когда вернулся с новой заваркой, лицо у него было задумчивое.

— Я вот что вспомнил,— сказал он, разливая чай и пододвигая мне молочник,— недавно был юбилей одного старого писателя, мы его, конечно, поздравили, подарки поднесли — ведь семьдесят лет! Это не шутка! Полный жизненный путь! А через месяц он ко мне и явился. Я его усадил, еще раз позддравил, а он мне и говорит:

— Видите, ли, Акылбек Ахметжанович, что случилось, дошел я видимо до самого своего предела. И явился к вам, чтобы вы мне помогли в одном деле. Несколько десятков лет я таскаю на себе одну великую тяжесть. Почему и как я ее на себя принял и понес — говорить долго да и не к чему. Так вот сейчас мне и хочется, если не сбросить ее совсем, то хоть облегчить немного. Слушайте, подумайте, хорошенько, нельзя ли возвратить нашему народу высоко талантливых людей — Ахмета Байтурсунова, Магжана Джумабаева, Жусупбека Аймаутова, Шакарима. Грехов у них, конечно, немало, но ведь они давно умерли, и без их творчества наша история неполна.

— Ну и что вы? — спросил я.

Он пригубил пиалу.

— А что я? Дело это большое. Решение наше однажды было. Но посоветоваться, подумать — не мешает. Мое слово здесь хотя и самое первое, но и самое последнее. Это же не геология, я же инженер, а не литератор и историк. Тут слово за вами. Я ведь произведений Магжана не читал, влияние его на злое, так и доброе оценить не могу. Значит и вмешиваться ни во что не вправе. Это было бы голое администрирование. Нет уж, не сваливайте на меня ни дел своих, ни грехов. Сами подумайте. Имейте мужество держать ответ перед своей совестью и историей.

— Пятидесятилетие Байтурсунова в двадцать третьем году отмечали в Турции, Афганистане и других странах, где говорят по-тюркски, а в Баку было специальное юбилейное торжество,— сказал старый писатель,— без него никакой тюркской лингвистики не построишь. Надо же учесть хотя бы одну его заслугу: девяносто процентов нынешних казахов моего поколения учились грамоте по его учебникам. О его заслугах в том юбилейном году в газете “Акжол” наш великий Ауэзов поместил две подвальных статьи. Помню, статья заканчивалась примерно такими словами: все мы учились у Байтурсунова. Мы перед ним в долгу как перед молоком матери...

Акылбек задумался.

— Это одна сторона, ну а ошибки, стоящие на грани преступления? Ведь о них и говорят те, кого ты возможно, и не любишь. Да и как говорят? Помнишь собрание в университете? Нет, тут может быть, разумный

подход один — вот как сказал о Гамсуне норвежский коммунист: “Его грехи принадлежат ему самому, а сам он всему народу”. Но... Ты помнишь, когда-то обиделся на меня за это, что я не поддержал кандидатуру твоего друга. Тогда я сказал тебе, что есть грехи отпускаемые и не отпускаемые. Так вот эти грехи — погубить целое направление человеческой мысли — не отпускаемые!

— А восстановить в своих правах погибшего, разве это не какой-то шаг реабилитации его гонителей? Если в особенности они сами молят об этом.

Акылбек слегка пожал плечами.

— Да, именно на это они и рассчитывают. Согрешили — покались. Но вслушайся в это слово: “Погубленный поэт, погибший философ!” Страшно делается от них, дорогой. Да, “жалок тот, в коем совесть не чиста!”

— У вас-то чиста,— сказал я.

Он посмотрел на меня.

— Надеюсь,— сказал он серьезно.— Я больше тебе скажу. Настоящий грех — это такой груз, который вплотную гнет человека к земле, вот как колодка на шее китайского узника! Было у них не так давно и такое наказание. Четырехугольная доска и человек не может ни лечь, ни заснуть,— так вот я-то сплю спокойно. Если не переработаю, конечно, тогда действительно беда, никакими порошочками тут не поможешь.

Тут я наконец решился спросить, ведь этот вопрос давно стоял передо мною.

— Акылбек Ахметжанович,— сказал я,— ведь я в некотором смысле ваш историограф, то есть собираюсь писать о вас что-то вроде диалогии.

— Нет, нет. Обо мне, прошу, ничего не надо,— испугался он.

— Да нет, не о вас лично, конечно. Но о человеке вашего ранга, вашего типа, вашего мироощущения. О некотором литературном двойнике, что ли? Отчасти на вас похожего, отчасти нет,— я был серьезно расстроен тем, что он так категорически сказал это “не надо”.

Но он уже понял и сам, что я хотел сказать.

— Ну, ну,— мирно улыбнулся он,— конечно, ты писатель, твое дело хватать и запечатлять, так что ты хотел спросить?

— Так вот мне было бы очень интересно знать, как вы себя чувствовали тогда, когда Кусепов спустил на вас всех собак.

Ведь если бы не Москва...

Он аккуратно отставил пиалу и встал.

— Идем-ка, походим по саду. Ночь-то какая! Знаешь, раньше, в молодости я мог сосчитать все звездочки в плеяде — вон они, сейчас уже не могу, конечно, но люблю, люблю звезды. Эх, физиком бы мне быть!

Мы сошли по широким ступенькам и вошли в сад.

— Так как я себя тогда чувствовал? Нельзя сказать, чтобы очень уютно. Знаешь, чувство незаслуженной обиды — это очень мерзкое чувство. Работал, работал, себя не помнил, и вот что получил! Конечно, обидно!

— Да,— сказал я,— понимаю, один старый русский писатель как-то написал, что неблагодарность — самый нечеловечный из всех пороков. Все остальные тоже плохи, но они присущи человечеству, этот же просто противопоставлен человеку. И это он, между прочим, написал о незаслуженно забытых писателях.

Акылбек опять улыбнулся.

— Вижу, дорогой, к чему ты опять клонишь, но об этом разговор потом... Так вот я чувствовал себя весьма неуютно. Но никакой разбитости, разочарования, сожаления у меня не было. Нет, я делал все, что мог, и что по совести считал необходимым, а там уж не мое дело. Так я считал, ну а что такое Кусепов, я хорошо знал.

— Ну, а если бы это повторилось снова. Ну не сейчас, конечно. Сейчас вас поняли и понимают, а когда-нибудь после.

Акылбек подумал.

— Ну что же, обидно было бы конечно. Но ведь это зависело бы от конкретных обстоятельств, если бы это сделал какой-нибудь новый Кусепов, то я бы, пожалуй, даже не огорчился особенно,— он замолчал и молчал долго, обдумывая добросовестно представившуюся ему ситуацию,— нет, все равно бы огорчился. Но и тогда бы у меня был бы отличный выход — я бы занялся наукой. Ведь я стремлюсь к ней всю жизнь, со школьной скамьи, и вот видишь — ничего не получается.— он посмотрел на меня и вдруг рассмеялся,— не получается и все! Неудачником себя не назову, конечно, просто права такого не имею, а...— он вдруг остро взглянул, - а что ты вдруг затуманился?

А у меня на глазах уже были слезы. Они редко приходят ко мне, но сейчас этот разговор почему-то меня особенно растрогал.

— Да нет, ничего,— ответил я.— Просто именно такого ответа я и ждал от вас.— А потом чуть позже сказал,— все же я напишу книгу, а может быть, даже книги о человеке, переплывшем океан.

“Надо, твердо решил я внутренне, тем более жизнь его была схожа с океаном, со всеми бурями, штурмами и подводными рифами...”

Айбол уехал. Акылбек проводил его до калитки и еще долго ходил по саду. Небо было темное, безлунное, но звезды горели так ясно и холодно, как это бывает только в ясную летнюю ночь. “Вот говорят ученые,— подумал Акылбек,— миллионы, десятки миллионов лет горят эти звезды. Многих из них уже нет, а они все светят, и светят, горят и горят, и люди смотрят на них, может уже давно умерших, и говорят: “А какая сегодня хорошая светлая выдалась ночь. Какие ясные звезды”. А они уже мертвы!

Подул ветер.

В доме зазвенела посуда. Потом его тихонько назвали по имени.

Это вышла жена из спальни, убрала чайник, пиалы, поднос и окликнула его.

— Да, да,— сказал он,— иду, иду! Сегодня ляжем пораньше. У меня с утра столько дел.

— Так ведь завтра воскресенье.

Он подошел к ней. Она стояла на ступеньках и улыбаясь смотрела на него.

— Ну что ж, что воскресенье. Это самая рабочая пора, моя дорогая! Ведь столько надо сделать, а у меня так всегда не хватает времени на самое важное. Но ты посмотри, звезды-то, звезды-то какие сегодня! А?

ЭПИЛОГ

Это был, конечно, вполне бесполезный разговор. Бесполезный и по самой своей сути, и потому, что от него вообще ничего не зависело, никто из нас двух разговаривающих ничего не мог, да и не собирался другому доказывать. Да и не разговор это даже был, а просто декларация. Он сидел, этот цензор — хозяин кабинета, как тогда, прямой, несгибаемый, худой, и совершенно ясно объявлял мне свою волю. А воля его была такова — моя книга (первая из задуманной дилогии) не должна быть напечатана. Он этого не хочет и не допустит. И самое для меня будет лучшее, если я сразу это пойму и перестану рыпаться. Именно этого слова он, конечно не сказал. В его словаре, наверное, таких слов и вообще не было, он был очень деликатный и культурный человек.

— Лучше всего,— сказал он мне,— если вы соберете все экземпляры, их ведь не может быть больше четырех, накрепко запрете в ящик стола, и не будете их больше доставать оттуда. Честное слово — это самое умное, что я вам могу сегодня посоветовать. Не надо давать повод для обвинения в клевете.

— Даже в клевете? — спросил я, — это на кого же клевета?

— Он посмотрел на меня и покачал головой.

— Слушайте,— сказал он очень серьезно.— Я же разговариваю с умным человеком. Так я полагаю, иначе весь наш разговор совершенно бесцелен. Зачем же нам наводить тень на плетень, правда?

— Правда,— ответил я,— незачем наводить нам тень на плетень. Но все-таки, что вы имеете в виду, когда говорите о клевете?

Он вздохнул, лицо его стало желчным.

— За время советской власти было осуществлено два грандиозных дела — коллективизация и поднятие целины, так? — спросил он.

— Так,— подтвердил я.

Оба вы показываете их в своем романе, и оба они оканчиваются смертями. Только один раз эта смерть убийство молодого парня — сына старой учительницы, а другой раз — гибель целого селенья. Сцены, что и говорить, сильные, но знаете... поменьше бы нам таких сильных красочных сцен.

Я понимал для чего все это говорится, и ответил медленно и наверно чересчур уж спокойно, потому что внутри меня все дрожало.

— О целине в моей книге сказано ясно и прямо: “Это был один из величайших подвигов человека и человечества”. Но во всякой армии — за какое бы великое дело она не воевала — есть и преступники и дезертиры, и просто мародеры. Для этого, между прочим, и существуют военные трибуналы. На целину в начальный период помимо рабочего люда хлынул целый поток хапуг, воров, хулиганов и просто бандитов. Народ объявил им смертельную борьбу и, конечно, раздавил их. Вот эту высокую сознательность народа я и показываю. Аксакал говорит одному обывателю: “Не вали все в одну кучу: целина — одно, а бандитский нож — совсем другое”, и “целина еще многим принесет счастье”. Разве это не ясно? Но великие народные достижения сами по себе в руки не даются. За них нужно бороться, иногда даже рисковать жизнью — вот обо всем этом я и пишу. И показываю всю работу нашего руководства. Вот для чего мне понадобились фигуры Андрея Ивановича и Акылбека Ахметжановича. Вот почему они приходят к телу убитого юноши. Разве это не ясно? Так что ваши слова о тени и плетне, мне кажется, тут совершенно не к чему. Со злом надо бороться всеми средствами. В числе их слову принадлежит далеко не последнее место. Вот поэтому я и не обхожу зло стороной, а вытаскиваю его на свет,— как говорится, за ушко, да на солнышко. Преступник — это человек, тоже идущий в строю, но шагающий не в ногу с ним. Не заметь и не одерни его — и строя нет. Впрочем, зачем я вам это говорю? Ведь вы и сами, могу поручиться головой, не раз и не два высказывали эти же самые мысли. Теперь о коллективизации. Дело это великое и светлое. Своей победой мы обязаны именно коллективизации. Строи собственников на западе рушились один за другим под фашистским кулаком, пока в войну не вступили мы. Тогда рухнул сам фашист. Но разве можно забыть о перегибах? Да и как их замолчишь, когда они всенародно заклеены нашей партией, в ее постановлениях и документах. Я знаю, вы сейчас скажите: “А зачем нам сейчас об этом вспоминать?”. Ах, это бессмертное “А зачем”. А зачем это нам надо? Отвечу: чтоб показать героизм народа. Его стойкость, его глубокую сознательность. Чтоб наши дети не думали, что все что они имеют это досталось задаром. Чтоб они знали, что счастье плывет в руки иванушкам — дурачкам, только в сказках, а в жизни за него надо бороться. Смерть Алексея Ивановича, называемого Алкеем, была символом великой дружбы двух народов — в этом и смысл ее. Ему-то ведь голодная смерть не угрожала, так из-за чего ему было беспокоиться? А он убил себя. Что было бы, если бы из гроба он услышал вот этот ваш вопрос “Зачем это надо вспомнить?” Надо! Трижды надо, дорогой товарищ! Декларациям-то никто не поверит, а вот художественный документ, то есть наша проза и поэзия — это совсем другое дело. В них верят, и они дей-

ствительно воспитывают. А вы заладили одно — “очернить! Оклеветать! Зачем! Не надо! Не трогайте!”.

Он сухо усмехнулся и покраснел, но он был выдержанный человек, и даже голос его не изменился, когда он сказал:

— Ну, если вам угодно так понимать мои слова... не знаю! Вот вы показываете Акылбека Ахметжановича каким-то болельщиком за такие дела...—Он остановился, чтобы подобрать выражение. Я понял, что он хотел сказать, но он так и не подобрал его. И ему пришлось продолжать,— вот, например, добивается возвращения двух районов, отданных соседней республике. Одной рукой подписывает документ, осуждающий алашординцев, а другой как бы зачеркивает свое же решение, хоть, мол, и алашординцы, т.е. враги, но люди великие. Разве так поступают истинные борцы? Так поступают люди мелкие, половинчатые, какие-то созерцатели, рефлекслирующие интеллигентшишки доброго старого времени. Наши руководители не таковы. Я думаю, что вы согласитесь хоть с этим.

— Нет, не соглашусь и с этим,— ответил я,— и потому не соглашусь, что к моему герою все это не подходит. За какие дела вы хотели назвать его болельщиком, я не знаю. Но вы сразу делаете из этого все нужные вам выводы. Два наших казахских района были отданы соседней республике. Отданы по соображениям ничего общего с нашей политикой и даже здравым смыслом не имеющими. Акылбек Ахметжанович, понятно, не мог — просто не имел права с этим согласиться. И он не согласился, и что же? Теперь оба этих района опять входят в состав нашей республики. Это что, поступок и поведенье созерцателя? Вы помните такое место романа: — Ахметжанов сидит один и думает: “А что? Если восстать против них и послать письмо в Москву? Там ведь меня хорошо знают! Борются как борются в этих случаях люди?.. Нет, не годится, будет очередная мышьяная возня. А Москве и без меня дел хватит! Лучшая форма борьбы — это работа, работа, работа! Так и поступают коммунисты. А те пусть себе возьмется! Плохое все равно вылезет наружу. И им тоже придется познать на себе эту народную мудрость!” Вот в чем суть натуры Ахметжанова! Не просто бороться, а бороться как коммунист. Это для него главное. Теперь об этих двух. Тут вы просто передергиваете карты. Если бы Акылбек Ахметжанович хотел их восстановить, то сделал бы очень просто, одним росчерком пера даже, а вы умилились бы и сказали: “Ах, как это мудро!” Да, да, вы обязательно сказали бы именно так. Но Ахметжанов не считает себя аллахом всезнающим и всемогущим. С творчеством Магжана и Ахмета он знаком недостаточно. Поэтому он и обращается к компетентным людям. “Пусть изучают,— говорит он,— спорят, доказывают и тогда время все покажет”. Вот это действительно государственное мышление, которого нет ни у меня, ни у вас. Мы часто слишком поспешно что-то решаем, пото-

му что так нам этого хочется. Как люди, мы может и правы, но человек иного масштаба и иной ответственности так поступать не может. И это не интеллигентное колебание, а политический подход к очень сложному и далеко еще не ясному вопросу. Неужели вы этого не понимаете?

— Он поморщился. У него явно начали сдавать нервы.

— А вы подумали, в какое скользкое положение вы ставите Акылбека Ахметжановича, когда пишете о нем так, как будто никого другого в республике больше и не существует. И, между прочем, те, которых вы выставляете на показ, живы, некоторые из них занимают немалые посты, — и вряд ли стоит на них так резко замахиваться литературной дубинкой.

Тут я вдруг понял: “Э, так вот в чем дело!” И вот почему он сегодня такой непривычно смутной, ларчик-то, оказывается, просто открывается.

— Вот это и есть, конечно, ваше самое главное обвинение, — сказал я спокойно, — ну что ж, если я где-то что-то пережал или выразился неточно от себя ли, от лица моих героев, скажите, я исправлю. Кроме бога никто не безгрешен. Сократ, впрочем, считал, что боги тоже могут грешить, за это его казнили. Теперь его потомки сомневаются: правильно ли? Пожалуй, что и неправильно. Когда Аристофан полемизировал с ним в своей комедии — это было если не правильно, то во всяком случае вполне правомерно, а когда к спору подключили палача — это уже стало и неправильно и неправомечно. Да вы, конечно, читали Платона “Смерть Сократа” и сами знаете, может, даже лучше, чем я, что там к чему.

Он подозрительно посмотрел на меня.

— Платона-то я знаю, только причем тут Платон? И почему вы мне все это говорите, вот что я не совсем понимаю.

— А потому говорю, что вы поднимаете вопрос трехтысячелетней давности — можно или нельзя писать о ныне здравствующих больших людях. Ведь для древних афинян боги были современниками и жили рядом с ними. Как бы не отвечать на этот вопрос — запрещать или разрешать — люди пишут. Кто хорошо, кто плохо — смотря по талантам, но пишут. Таково уж свойство человечества и литературы. Я понимаю, почему о мертвых, как говорится, “хорошо или ничего”, но вот почему живых нельзя трогать — вот это мне никак уж не понять. Ведь они даже не боги, а люди и люди, живущие со мной рядом. Мои соседи. И пишу я о них потому что не могу иначе.

Он усмехнулся и покачал головой.

— Не можете не сводить своих старых счетов? Да разве это дело писателя?

— Да какие там счета, аллах с вами. Я пишу о них потому, что я их всех люблю. Люблю плохих, люблю хороших, люблю людей так себе — даже тех, кто в свое время пожелал или сделал мне зло, и то люблю. Я давно пережил это чувство. И превращаются эти люди у меня из моих со-

седей в художественные образы. Так что тут ни для какой обиды места нет.

— Но люди узнают себя и обидятся.

— Ну это уж их личное дело — узнавать. Еще Гоголь взял к своей комедии эпиграфом старую русскую поговорку: “На зеркало неча пенять, коль рожа крива”. Важно, что для читателей они не его знакомые, Ахметы или Ильяссы, а образы. Я-то, положим, знаю, кто положен в основу образа (хотя чаще всего это не один человек, а целое множество), но читателю на это наплевать. Его интересует совсем иное - какая идея стоит за этим образом, что она обозначает.

Он помолчал, подумал и сказал:

— Есть к вам и еще одна претензия,— и я вдруг увидел, что он не то что колеблется или смущается, но как будто подыскивает выражения, обдумывает, как эту самую претензию мне преподнести. Это меня удивило и даже тронуло: не знаю как с другими, но со мной он никогда не церемонился.

— Да,— сказал я,— слушаю вас.

Он поднял со стола ручку и заиграл ею.

— Я только хочу, чтобы вы меня правильно поняли,— сказал он спадая с тона.

— Пойму! — заверил я его.

— Я убежден, понимаете, у-бе-жден! Что вы не националист, и когда возникают где-то в кулуарах такие вот разговорчики, всегда резко пресекаю их.

— Спасибо,— я слегка наклонил голову (ах, вот она где собака зарыта — “национализм”! - ну, конечно, культурному человеку сейчас высказать такую вот “претензию” нелегко. По нынешним временам, это просто даже неприлично — вот он и намекает, и вертится).

— Но ведь в литературе,— продолжал он неторопливо,— важно не то, что вы хотели написать, а то, что фактически написалось. И тут, надо сказать, вы основания для нападков даете. Да, даете! Вот я дважды очень внимательно прочел те главы, где вы говорите о прошлом казахского народа — послушайте, у вас же получается так, что если бы не казахи, то и никакой всемирной истории не было бы. Опять-таки прошу понять меня правильно, я тоже казах и...

— Ну и что из этого?

Это просто так сорвалось у меня с языка, уж слишком я был взвинчен,— но он сразу же налился кровью.

— То есть, позвольте, как же это так “что из этого”? — спросил он зло.— Я казах и...

— Слушайте,— отмахнулся я.— Давайте не будем цепляться к словам. Так мы никогда не договоримся. Начнем с основ. У каждого человека есть

Родина, и почти каждый человек ею гордится. Ему дорога земля, которая его породила. Ему бесконечно дороги те великие ценности, моральные особенно, которые его народ создал и внес, так сказать, в фонд человечества. Я казах и горжусь этим. Если вы это называете национализмом — ну что ж... дело ваше.

— Я так не называю, но...

— Да, я горжусь, что мой народ один из древнейших нашей родины, что он создал поэтов и философов, героев и мудрецов. Но больше всего я безмерно горд тем, что из моего не столь уж многочисленного народа вышли и Маншук Маметова, и Алия Молдагулова, и Тулеген Тохтаров — я горжусь героизмом наших юношей и девушек.

— Да! — сказал он важно, — этим можно и должно гордиться. Но при этом не надо забывать, что кроме них были еще и Гастелло, и Александр Матросов, и Зоя Космодемьянская.

— Я ими тоже горжусь, — сказал я. — Но не меньше горжусь и тем, что все их подвиги повторены, и даже неоднократно, нашими соотечественниками. Да и не только в войне дело! Подвиги в мирное время стоят не меньше. Мы строили Турксиб, мы осваивали Голодную степь, поднимали целину, строили металлургические комбинаты. Мы, казахи, сделали свою родину могучей индустриальной державой.

—... с помощью... — напомнил он и предостерегающе занес ручку.

— ... ну безусловно, с помощью! И даже под руководством. Безусловно! Но ведь я и не говорю, что мы лучше и талантливее всех! Аллах меня избави от этого! Но то, что мы — основная база цветной металлургии — этого от нас никак не отнимешь, и что мы — третья кочегарка страны — тоже! Мы житница нашей Родины. Каждое четвертое зерно — наше. Все это даем мы — бывшие пастухи и скотоводы! И произошло это за кратчайший исторический срок прямо на моих глазах. Разве я могу не гордиться способностями моего народа так расти и так все быстро осваивать? — На лице моего собеседника был уж не только гнев, но и растерянность. Такого потока красноречия и такого запала он от меня не ждал.

— Но вы ж мне не даете сказать слово, — пробормотал он.

— Извините, сейчас кончаю. И, наконец, я горд и счастлив тем, что мой народ породил и выдвинул такого государственного деятеля общесоюзного, а может быть и всемирного масштаба — вспомните-ка Иран и Египет! — как Акылбек Ахметжанович. Вот это и является темой моего романа. И опять-таки, если вы это считаете национализмом...

— Опять я считаю! — он отбросил ручку. — Да ничего я не считаю, ничего! Кроме одного — вас заносит! Вы часто не точны в своих изображениях и выражениях. И слишком много берете на себя! Касаетесь таких событий, о которых знаете... может быть понаслышке. Описываете людей, с которыми не были близко знакомы. Поэтому и изображения у вас по-

лучаются неверные и однобокие. А Акылбека Ахметжановича вы ставите прямо-таки в невозможное положение. Все он, он! Ну, а другие что? Да и вообще: ну почему на вас напала охота писать роман о наших крупных государственных деятелях? Они же живы и работают! Как вы не понимаете, что это попросту бестактно. Вы умный человек, талантливый, исследователь, и вот вместо того, чтобы заниматься своим прямым делом, разрабатывать историю нашего народа, — что у вас получается прекрасно, — вы вдруг полезли в то, что вы не знаете и не видели. Нет, тут я совсем не понимаю вас! Совсем!

— Значит, с национализмом мы покончили, — подытожил я, — хорошо, теперь вот насчет вашего второго замечания. Тут вы, пожалуй, формально правы, но подчеркиваю: только формально, ведь я не мемуарист, и также не историк, а писатель, и правда у меня иная, чем у них. Она у меня художественная, обобщенная из множества, но сведенная в органическое, художественное единство. Когда Станиславский присутствовал на репетициях, и актер играл не так, он кричал ему из зрительного зала: “Не верю! или “Верю” и это “Верю” у него было высшей оценкой. Так вот мне важно, чтобы читатель мне сказал “Верю”. Был ли я или не был на таком-то собрании, говорил или не говорил с таким-то товарищем, просто ли говорил или чай с ним пил — поверьте, это совсем неважно! И не думайте, ради аллаха, что я кому-то хочу зла. Мне скоро стукнет шестьдесят. Я как-то говорил, что Эйнштейн уже начал дорожить своим временем, мне важно сейчас проявить себя до конца, а не напакостить.

— Ах вы, все-таки помните, что вам скоро шестьдесят! — негромко воскликнул мой собеседник и как-то особенно остро и значительно поглядел на меня, — это хорошо. Так дорожите этой датой. Ну, ладно, это все общее замечание, а сейчас давайте-ка пройдемся по полям рукописи.. Вот смотрите-ка...

Тут надо отдать ему полную справедливость, литературный правщик из него бы, вероятно, вышел неплохой, и он верно подмечал то неудачный оборот, то нечеткое выражение мысли, которая могла быть понятна и так и этак. Но вот беда-то! Все то представление о моей рукописи сводилось именно к таким замечаниям. Он вырывал фразу из контекста, и все толкование романа основывал именно на ней. Переходя от частного к общему, он начисто придумывал это общее и совал мне его в лицо. Вот что, мол, ты создал. Но поистине это скорее создал он сам, чем я. И окончательный вывод его был таков:

— Ваше произведение антигуманистично. У вас не люди, а волки. Все друг друга подстерегают, хватают за горло, грызутся за кресло, за литературную славу! Какое понятие о нашем обществе и времени составят наши потомки, читая такие произведения, как ваши.

Ах ты, вот о чем заговорил, подумал я, о потомках! Не бойся, они поймут меня правильно. Так же, как вероятно, и тебя, потому что потомки не

будут людьми, ослепленные личной неприязнью: “не желающий смотреть и верблюда не заметит”.

— Боже ты мой,— сказал я,— весь мой роман говорит о гуманизме. На нем построено все. Не о злобе и подсиживании пишу я, а о добре и благе. И тут вы уж ничего с моим произведением поделывать не можете. Правда-то одна! Еще древние говорили, что можно подделывать деньги, но не истину! Да, есть в романе люди, которые и сами не жили, и другим мешали жить. Есть и такие, которые сами жили, а другим жить не давали. Есть! Есть! Хотели перекроить мир на свой лад! Но ведь не удалось же это им, не удалось! Так как же мне было не писать о них. Ведь это значит не показывать силу и торжество добра! Да что я — сторонник бесконфликтной драматургии, что ли? Конфликты есть и будут, и возникают они также от узости мышления, от корыстного понимания истины,— на которую они смотрят как на свою служанку: хорошо то, что улучшает мою личную жизнь. Истинно то, что мне выгодно. Все служит мне. Вот как Вареная Башка сказал: “Худсовет находится при мне и существует для того, чтобы выполнять мои указания”. Ну и что? Где он сейчас? Где те, кто выполняли его указания? Все живы, конечно, все ходят по городу, но что-то мало слышно о них. Очень мало.

И вдруг мне как-то разом стало неинтересно толковать со своим собеседником. Что-то видно во мне перегорело, я с трудом даже сдержал зевоту. Он сразу же почувствовал это и нахмурился.

— Так вот давайте закругляться,— сказал он.— Я к вашей книге отношусь отрицательно,— и он даже вздохнул,— неприятно, мол, конечно, но что поделаешь.

— Вся штука в том,— кротко ответил я,— что сам то я отношусь к ней положительно.

— Ну да! — как-то снисходительно улыбнулся он,— вы автор и это ваше право, но...— он не окончил и сделал какой-то неясный жест рукой, и я понял, что это значит: — судьбу-то ее решаю я, а не ты.

— Понятно,— сказал я.

— И вот повторяю мой совет. Соберите все экземпляры вашей рукописи и больше не давайте ее никому,— он как-то по особому взглянул мне в глаза,— и не забывайте, что вы мне сами сказали — вам скоро исполнится шестьдесят. Юбилейный возраст!

“Ах, вот где собака зарыта!” — понял я, и это меня так ошеломило, что я не сразу даже нашелся, что ему возразить. Такая немота иногда находит на меня, когда я сталкиваюсь с заведомой неправдой, обращенной на меня лично.

Он встал. Встал и я.

— Хорошо,— сказал я.— Наш разговор тоже в духе моего романа. Учту!

— Это как же понять? — спросил он подозрительно.

— А так, что я учту ваши замечания, подумаю и потом представлю окончательный вариант. А то ваша правда — в романе чувствуется некая незаконченность.

Именно в эту минуту я и понял, как я должен закончить мою книгу — вот этим разговором в кабинете. То я прикидывал и так, и этак, думал рассказать об Академии наук (мой герой когда-то был ее президентом), написать специальную главу о последних стройках — но это было все не то, не то! А этот разговор как раз был тем, что нужно. Точкой, поставленной в конце. Потому что мой роман был построен больше на драматизме мысли, чем на трагедийности жизни. События были для него только фоном, главное — мысль. Вот мыслью я и закончу его”.

И когда Айбол записал эту беседу, ничего не убавляя и не придумывая, у него как бы целая гора свалилась с плеч. Наконец-то он вздохнул свободно! И первый раз за эти полгода спокойно уснул, не принимая снотворного. Он знал — книгу напечатают.

К о н е ц .

СОДЕРЖАНИЯ

Предисловие	5
Пролог	6
Глава первая	10
Глава вторая	31
Глава третья	64
Глава четвертая	78
Глава пятая	107
Глава шестая	139
Глава седьмая	162
Глава восьмая	186
Глава девятая	216
Глава десятая	232
Глава одиннадцатая	238
Глава двенадцатая	249
Глава тринадцатая	262
Эпилог	272

Перевод с казахского Ю. О. Дембровского

Сдано в набор 10.03.2000 г. Подписано в печать 10.08.2000 г. Формат 70×100¹/₁₆.
Печать офсетная. Гарнитура «Times New Roman» Объем 17,5. Тираж 10.000 Заказ № 606
ТОО «Типография оперативной печати». 480016, г. Алматы, ул. Кунаева, 15/1,

